

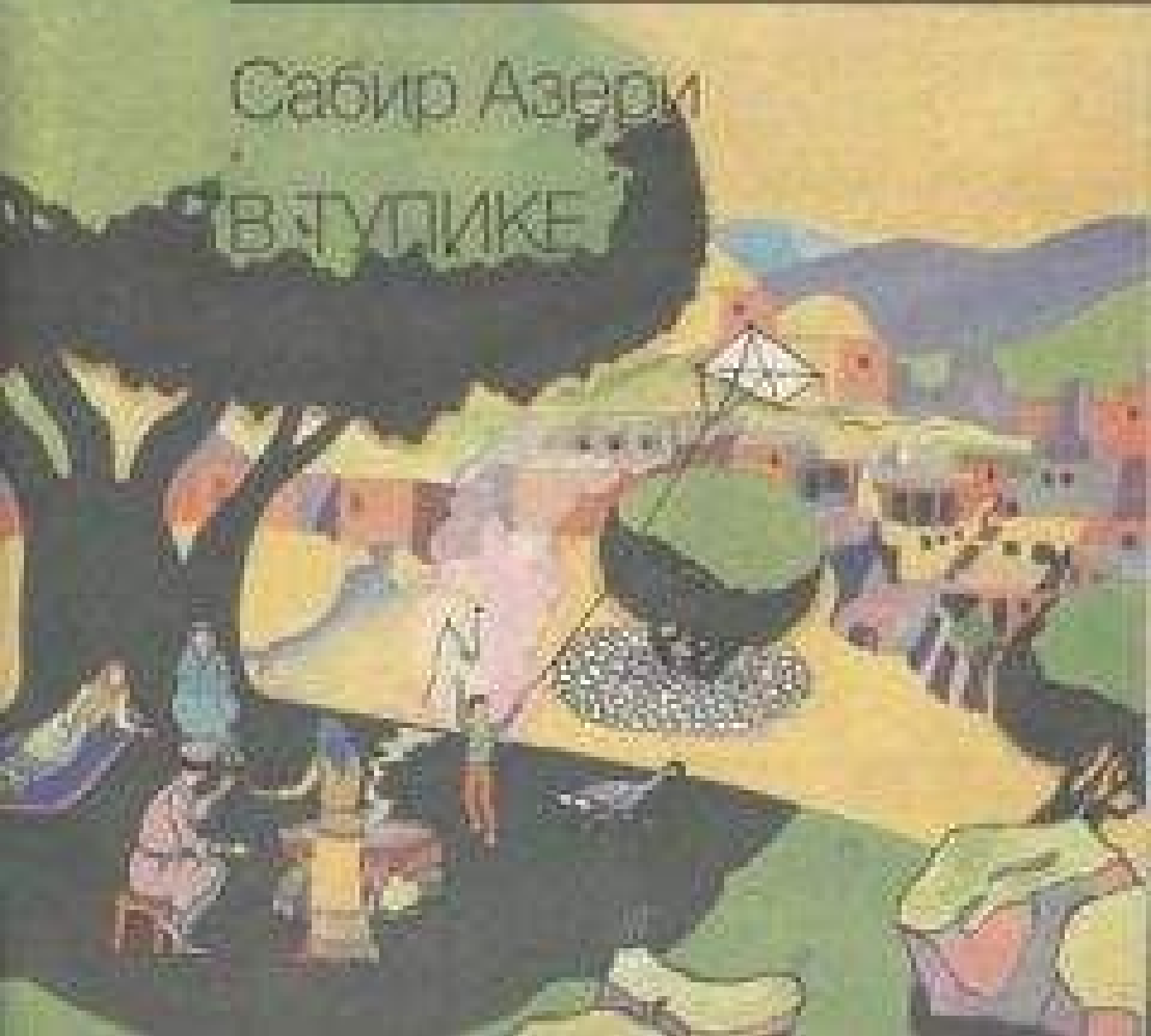
# РОМАН-24

# ГАЗЕТА

TRIKU 1030

Сабир Азери

ВЛУДИКЕ



Сабир Азери

## В ТУПИКЕ

В тот вечер по берегу моря прогуливался без всякой видимой цели худощавый мужчина лет пятидесяти пяти со старенькой черной папкой под мышкой. Наконец мужчине надоело и бесцельное это шатание, и крики испугнутых ям чаек. Пора было идти домой, тем более, что начали уже опускаться сумерки, на набережной зажглись фонари, и лица прохожих, освещенные их светом, сделались желты, как у покойников. Этот мертвый свет подействовал на мужчину угнетающе.

А может, дело было вовсе не в свете, а в том вопросе, который он задавал себе сегодня весь день. Вопрос мучил, занимал все его мысли: «Кого мы в конце концов обманываем? Разве непонятно, что обманываем мы только самих себя? Но для чего, для чего это? Во имя чего?»

Он медленно побрел прочь, ощущая собственное бессилие, вечную усталость, болезненную ломоту во всем теле...

Настроение у него испортилось совсем, одни и те же мучившие его с самого утра вопросы возникали неотвязно в воспаленном мозгу...

И с каждым вопросом он все ускорял и ускорял шаг, перейдя в конце концов чуть ли не на бег...

Он свернул на узкие улочки Ичери шехер,[1] задыхаясь, вбежал в свой тупик, и тут же в уши ему ворвался раздирающий душу скрежет тормозов. Перед тем, как потерять сознание, он успел только понять, что из родного тупика летят прямо на него темно-красные «Жигули»...

Парень и девушка, что были в машине, сидели, как в столбняке, не в силах пошевелиться.

Девушка, очевидно, ударилась лицом о ветровое стекло, когда машина тормозила — лоб ее был весь в крови, а в стекле змеилась тонкая трещина. Наконец, почувствовав, как по лбу стекает что-то теплое, девушка прикоснулась к лицу и вскрикнула. От этого ее крика очнулся и парень, достал платок, вытер кровь на лице, выдавил дрожащим голосом:

— Не ори, ничего страшного.

Эти слова на какое-то время успокоили девушку. Но ненадолго — вскоре ее начало трясти.

— Он умер, да? Парень пожал плечами.

— Если б жив был — наверное, уже встал бы... А, черт, что же теперь делать-то? Может, смыться?

На этот раз пожала плечами девушка.

— Если узнают еще и об этом, все пропало.

Все еще сотрясаясь от дрожи, она смотрела на парня.

— Ты понимаешь или нет? Если мы сейчас попадемся, то все — накрылась наша загранка. На всех мечтах сразу крест придется ставить. Хоть это-то ты понимаешь?

Девушка сидела, съежившись, и ничего не отвечала.

Наконец парень решился, включил зажигание, и тут в тупике появилась женщина. Увидела человека, распростертого перед машиной, кровь, залившую асфальт вокруг него, она медленно отступила на шаг-другой и вдруг закричала:

— На помощь, люди! Кафара нашего убили!

И тут же кинулась к машине, махая обеими руками, показывая, чтобы парень подал назад. От неожиданности тот даже выронил ключ, с трудом нашарил его под ногами и кое-как отъехал от тела. Глаза его застилала какая-то пелена; и этот тупик, из которого он выезжал по меньшей мере раз десять в день, казался теперь невозможно узким.

Кафар Велизаде еле разбирал, о чем говорилось в соседней комнате. Собственно, слышен ему был только низкий мужской голос. Постой, постой, да это же их сосед, академик Муршудов. Да-да, точно, он. «Что же делать, сестра, что делать, раз такое несчастье приключилось, — басил академик. — Несчастный случай, клянусь аллахом, я думаю, надо простить парню... Даже Маркс говорил как-то, что жизнь полна такими вот случайностями. Типичный несчастный случай, клянусь аллахом. С кем угодно такое может случиться. Хорошо еще, слава аллаху, что без смертельного исхода обошлось, страшно даже подумать... Я думаю, вы найдете силы по-соседски все простить. Ведь не случайно же у нас говорится, что сосед — ближе родственника».

В ответ раздались всхлипывания Фариды.

Потом в соседней комнате наступила относительная тишина. Не слышно было больше Кафару ни баса соседа, ни плача жены.

Но разговор в соседней комнате продолжался, просто Фарида прикрыла дверь в комнату. Академик Муршудов говорил ей:

— Я об одном только прошу вас: никому пока не сообщайте, хорошо? О враче не беспокойтесь — я его уже вызвал. Самый талантливый профессор в Баку, нейрохирург, золотые руки, честное слово! За каких-нибудь пять-шесть дней поставит вашего супруга на ноги. А не понравится почему-нибудь этот — найдем другого. Вы же знаете, я академик, при моих-то знакомствах никаких проблем... Поверьте, все будет отлично.

Он все говорил и говорил, а Фарида смотрела куда-то мимо него застывшим взглядом; казалось, она вообще не слышит того, что говорит ей академик а если и слышит, слова не доходят до ее сознания. И лишь когда Муршудов чему-то улыбнулся (а может, ей просто показалось, что он улыбается, что он уже начал успокаиваться), она вдруг очнулась и крикнула ему в лицо:

— А ну, убирайтесь отсюда! Выкатывайтесь, и чтобы глаза мои вас больше не видели!

Академик так и застыл с раскрытым ртом, стоял, не зная, как ему поступить: и уйти нельзя, и оставаться — тоже, тем более, что Фарида уже выталкивала его за дверь.

— Да убирайтесь же, кому сказано! Катитесь прочь!

И в этот самый момент в тупике притормозила «Волга», из которой вышел мужчина средних лет с чемоданчиком-«дипломатом» в руках. Поднял голову, увидел Муршудова в окне второго этажа, кивнул ему и начал торопливо подниматься вверх.

— Не волнуйтесь, сестра, — сказал Муршудов с облегчением, — зачем волноваться? Вот приехал профессор, о котором я вам говорил. Клянусь, другого такого хирурга нет во всем Баку.

Но Фарида решительно заслонила дверь в комнату, где лежал муж.

— Не нужен мне ваш профессор, — отрезала она, — врача я уже и сама вызвала!

— Вызвали? — спросили в один голос Муршудов и запыхавшийся профессор.

— Вызвала, да.

— Когда вызвали? — приехавший профессор с тревогой посмотрел на академика Муршудова; по выражению лиц обоих Фарида поняла, что слова ее пришлись им почему-то не по душе. Однако академик быстро взял себя в руки, согнал с лица тень беспокойства и даже попробовал улыбнуться.

— Ну что ж, сестра, ну что ж, — бодро сказал он, — вы все правильно сделали, просто отлично. Но я думаю, вы ведь не откажетесь, чтобы вашего супруга осмотрел и профессор, верно? Нет-нет, просто так, по-братски.

— Если врач видит перед собой больного, он обязан оказать ему помощь, сестра, даже если это его враг. — Профессор раскрыл свой «дипломат». — Обязан. А тем более наш советский врач.

Фарида осторожно тронула дверь в комнату мужа, заглянула туда. Черты лица Кафара заострились, рука бессильно свесилась вниз.

— Умер! — истошно закричала она, кинувшись к постели.

Мужчины встревожено переглянулись.

— Никак нельзя допускать, чтобы приехала «скорая», — зашептал академик.

— Да иди же ты скорей, — подтолкнул его профессор — а это был младший брат академика, — перекрой въезд в тупик, а я пока здесь...

Старший Муршудов исчез. Младший решительно шагнул в комнату, чуть ли не силком вырвал у Фарида запястье потерпевшего, нащупал пульс.

— Не надо волноваться, — с облегчением сказал он наконец, — пульс прощупывается. Все в порядке, наполнение нормальное.

— Правда? — Фарида с надеждой посмотрела на профессора снизу вверх. — Он не умер, не умер?

Она прильнула к груди мужа, но сколько ни вслушивалась, стука его сердца так и не услышала. Тогда она снова схватила мужа за руку, зачем-то приложила его запястье к уху, зарыдала в отчаянии.

— Ты лжешь! Ты обманываешь, он уже умер! Профессор смочил нашатырным спиртом кусок ваты и поднес к носу Кафара. Лицо больного вдруг сморщилось, он чихнул и приоткрыл глаза.

Фарида приникла к груди мужа. Кафар с трудом улыбнулся, вернее, в его глазах промелькнуло что-то похожее на искорки улыбки, а лицо по-прежнему хранило выражение муки и боли.

— Вот видишь, тебя профессор пришел посмотреть, — сказала Фарида, утирая слезы. — Это самый лучший в городе профессор. Он говорит: пять-шесть дней, и ты будешь совершенно здоров.

Профессор Муршудов кипятил в соседней комнате шприц, готовил лекарства. Когда все было

готово, он со шприцем в руках вернулся к постели Кафара.

— После этого укола вы будете чувствовать себя совсем хорошо.

Фарида отодвинулась от кровати, а когда шприц вошел в вену, даже отвернулась к стене.

— Та-ак, а теперь мы спокойненько уснем. Фарида торопливо повернулась к мужу. Grimаса боли на его лице постепенно разглаживалась, глаза были устремлены на нее и профессора. Не в силах вынести тоскливой тревоги, стоявшей в этих глазах, Фарида жалобно спросила:

— Как ты себя чувствуешь, Кафар? Проходит боль?

Кафар ничего не ответил, только чуть дрогнули его ресницы. Профессор Муршудов поправил на нем одеяло.

— Пока больному нельзя много разговаривать, пусть отдыхает. Его тошнило?

— Да. Сначала очень сильно тошнило.

— Ясно, ясно...

— Дай вам аллах всего самого хорошего, братец.

— Я только исполнил свой долг, сестра, самый обычный врачебный долг.

Когда младший Муршудов спустился во двор, старший торопливо спросил у него:

— Ну, как он?

— Перелом ноги.

— Ну, это не страшно. Нога — это полбеды. Я думал, хуже...

— Перелом и еще сотрясение мозга.

— Сотрясение? И сильное?

— Если верно все, что говорит его жена, не очень. Хотя это дело такое... Может, и сильное, да пока не дало о себе знать...

— Что, и кровоизлияние в мозг Может быть?

— Кто это сейчас скажет? Всякое случается.

— Ах, черт!

— Приезжала «скорая»?

— Была. Я их завернул, сказал, что сам отвез пострадавшего в больницу. Вот не было печали! Да-а, если вся эта история выплывет — не видать ребенку заграницы, как своих ушей.

Профессор Муршудов с каким-то недоуменным огорчением посмотрел на брата, вздохнул, достал из машины лед, вату, бинты и снова поднялся в дом. Теперь он делал холодный компресс — бинтовал, обкладывал голову Кафара льдом, снова бинтовал ее.

Фарида внимательно следила за каждым его движением, и только один раз не выдержала, спросила со страхом:

— Доктор, ради бога, не скрывайте от меня: он очень плох?

Профессор Муршудов заставил себя улыбнуться и бодро ответил:

— Ничего опасного. Мы, бывает, людей чуть ли не с того света вытаскиваем — вот это да А вам еще повезло, можно сказать... Ваш муж совсем легкими травмами отделался. Так что с вас, можно сказать, еще и причитается.

— Ах, лишь бы он выздоровел, ничего не пожалею!

— Если вы действительно хотите, чтобы ваш муж поправился как можно быстрее, имейте в виду, что самое главное для него сейчас — это покой и полная тишина.

— Да, доктор, да, все сделаю!

Профессор Муршудов вымыл руки, сложил все хозяйство в «дипломат».

— Я вас навещу часа через два. Никаких других врачей пока к нему не пускать. Не подумай чего другого, сестра, но придет какой-нибудь коновал, дров наломает... — Он не договорил, только посмотрел со значением на побледневшую Фариду.

Профессор спустился вниз, сел в свою «Волгу», но отъезжать не спешил, говорил о чем-то с нагнувшимся к окну академиком. Потом оба вдруг посмотрели вверх, увидели стоящую у окна Фариду, разом отвернулись, и только тогда машина профессора Муршудова тронулась.

Какая-то непонятная тревога охватила Фариду; в панике бросилась она к мужу. Грудь Кафара медленно вздымалась, и, успокоившись, Фаридка прикрыла дверь.

Кафар проснулся. Ему мучительно хотелось пить, надо было бы позвать Фариду, но даже на это не осталось сил. Он провел языком по пересохшим губам, стараясь сообразить, что же с ним такое приключилось. Почему горит, как в огне, все тело? Отчего так разламывается голова, мозжат ноги, а левой и вовсе нельзя пошевелить? Ох, да он и шею повернуть не может! Как странно — тело горит, а уши, лоб, голова словно ледяные. Даже мозг, кажется, — и тот замерзает. Господи, отчего это?

И вдруг он все вспомнил: как свернул в тупик, как вылетела вдруг ярко-красная машина... А потом? Что было потом? Нет, этого он уже не помнил... Что-то еще было — до машины, до того, как он свернул в свой тупик. Помнится, он очень торопился. Почему? Ах, да, ведь он был раздражен, зол Да-да-да, он помнит это, помнит, почему... отлично помнит...

...Кафар изумился, когда начальник участка вызвал его к себе: «Готовься — завтра будет комиссия».

— Какая комиссия?

— Государственная комиссия! Завтра будут принимать дом, который мы построили.

— Ты что, серьезно, Ягуб? Да ведь он же еще не готов!

Похоже было, другого ответа Ягуб от него и не ожидал — на какое-то мгновение он помрачнел, по губам его скользнула пренебрежительная ухмылка.

— Ты, я смотрю, так и не поумнел, Кафар, нет, не поумнел. Весь мир давным-давно уже очнулся, а он все спит, как медведь в своей берлоге, сладкие сны смотрит.

— Да совесть-то у нас есть или нету? Как дом сдавать, если он еще не готов?!

Кафар ждал, что начальник участка разозлится на него, начнет кричать, но Ягуб вдруг весело

рассмеялся, и это окончательно вывело Кафара из себя.

— Я, как прораб, не могу сдавать объект, который не завершен даже наполовину. Это преступление — сдавать дом в таком виде...

— Что за шум, прораб, что случилось?

Кафар обрадовался, увидев каменщика Садыга — может, хоть старый мастер поможет пристыдить Ягуба, вразумить его... Кипя от праведного гнева, он пересказал все каменщику. Но Садыг, вместо того, чтобы прийти в негодование, совершенно спокойно сказал:

— Слушай, когда, интересно, ты прекратишь свое вредительство?

— Что-о?! — опешил Кафар и почувствовал, что задыхается. — О каком это вредительстве ты говоришь тут, дядя Садыг? И кому же я, по-твоему, навредил?

— Кому навредил? Да всем нам. Кафар горько усмехнулся.

— Ну да, я и забыл, что вы премии получаете... — Не мы одни, не мы одни. И ты тоже, прораб Кафар Велизаде! Что, может, я неправду говорю? Может, ты свою премию не берешь, жертвуешь ее на детский дом? Как бы не так, сынок, как бы не так, ха-ха-ха! Я каменщик, понял? Мои, руки... — Садыг протянул свои громадные, задубевшие ладони. — Мои руки трудились, строили дом, а теперь они требуют того, что им положено, сынок.

— Да кто ж будет спорить, что ты честно работал, дядя Садыг. Но ведь в доме недоделка на недоделке. Сантехника наполовину не укомплектована, канализация не подсоединена, в некоторых блоках вообще смонтирована неправильно, переделывать надо...

— А при чем тут я? Я свою работу сделал в срок? Сделал. Качественно?

— И в срок, и качественно.

— Тогда, будь добр, заплати мне мою премию. Ягуб расхохотался.

— Ну что, прораб? Утихомирился? Вот что значит рабочий класс — да он из тебя печень вытащит, нанижет ее на шампур, а потом тебе, же самому и скормит.

— Ну и пусть нанизывают. А совесть из меня все равно никто не вытрясет!

— Ладно, хватит говорить глупости, завтра все станет на свои места...

— Да, ты прав, отложим окончание нашего разговора на завтра. Все в присутствии комиссии и выясним... Мы все...

Не прошло и получаса, как Кафара вызвал начальник строительного управления. Едва Кафар вошел в кабинет, начальник, опираясь ладонями о стол, начал медленно подниматься со своего кресла с таким выражением лица, словно к нему приближается опасный хищник, и он, начальник, собирается всерьез защищать свою жизнь. Кафар растерянно остановился в дверях.

— Что ты обвился вокруг нашей шеи, как удавка? — закричал начальник. — Что мы тебе плохого сделали, а? Подобрали на улице, кусок хлеба дали, а он все наглеет и наглеет! Ты что, хочешь, чтобы я тебя посадил, да? Ты, может, не понимаешь, что мне тебя посадить — легче, чем стакан воды выпить, а?! — Как бы в доказательство он залпом выпил стакан уже остывшего чая, что стоял перед ним на столе. — Вот как легко. Понял теперь, нет?

— Но, товарищ Исламов...

— Чтоб сдох и товарищ Исламов, и ты, и тот, кто привел тебя к нам!

— Но ведь не готов пока дом...

— Готов — не готов! Что там не готово? Стены есть? Есть. Пол, потолок, двери, окна — все это есть? Есть. Что, по-твоему, людям еще нужно?

— Стены — да... но внутри... Внутри еще не все готово, товарищ Исламов, люди как поселятся — сразу должны будут ремонт делать...

— И хорошо! Замечательно! Пусть ремонтируют. А для чего, по-твоему, государство создало жилищно-эксплуатационные конторы, всякие там управления бытового обслуживания, кучу денег выделило? А? Они что-то должны делать или нет? У них ведь тоже свой план, они должны его выполнять!

— Но это... это же бессмыслица, товарищ Исламов, разбазаривание государственных средств!..

Исламов тяжело вздохнул и опустил в кресло. Он теперь казался таким же усталым, как Кафар. Он помассировал левую половину груди — видимо, заболело сердце, достал из ящика стола какое-то лекарство, положил его в рот.

— Ты можешь, наконец, понять, что меня абсолютно не интересуют никакие другие организации, не волнует, кто и чем занимается, разбазаривает или не разбазаривает деньги. Меня волнует только план моего управления. Ясно?

— Это я понимаю, но...

— Знаешь, что? С меня хватит и того, что ты уже понял, а это самое «но» — оставь его себе. Иди и не делай глупостей! Все, у меня на пустую болтовню кет времени, меня сегодня по вашему объекту министр вызывает...

Кафар шел по городу, совершенно не думая о том, куда идет. Только много позже, когда он остановился перед солидным трехэтажным зданием, он сообразил, что с самого начала стремился именно сюда, в районный комитет партии. Поначалу он испытал было некоторую неуверенность — зачем пришел, к кому? Но тут же вспомнил, что шел сюда отнюдь не случайно — к первому секретарю, школьному своему товарищу Фараджу Мурадову.

Отчего-то в приемной никого не было, даже секретарши. Кафар робко приоткрыл дверь кабинета и увидел Фараджа Мурадова, сидевшего за столом и что-то писавшего.

Кафар однажды уже был в этом кабинете, и снова, как и в прошлый раз, он подумал: «Вот если бы всегда строили такие высокие, светлые комнаты, радующие глаз; в такой комнате просто душа расцветает, хочется смеяться, веселиться, создавать что-то прекрасное...»

Фарадж наконец обнаружил чье-то присутствие в кабинете — он поднял голову и снял очки.

— Кафар! Какими судьбами? И давно ты здесь?

— Только что вошел.

— Давай, проходи, — он встал навстречу, обнял Кафара.

— Ты извини, я, кажется, оторвал тебя от работы.

— Ничего, ничего! Эта работа из таких, которые никогда не кончаются. Сейчас чайку выпьем...



— Нет-нет, спасибо, я не хочу.

— Ну, смотри. Чем могу служить?

И Кафар рассказал старому другу обо всем. И чем дальше рассказывал, тем сильнее нервничал; голос его начал дрожать. Фарадж уже не смотрел на него — казалось, он уставился в лежащие перед ним бумаги, на самом же деле он просто прикрыл лицо ладонями и опустил голову, чтобы не было видно его глаз.

Но Кафар, словно не понимая этого, трижды повторил последние слова:

— Фарадж, дорогой, скажи хоть ты — ну что мы выигрываем от такого липового перевыполнения? Кого мы обманываем-то? Зачем, во имя чего? Я у тебя спрашиваю, Фарадж.

Фарадж Мурадов убрал руки от лица и спокойно ответил:

— Себя обманываем. Только себя.

— Но, Фарадж, не мне же тебе объяснять, к чему может привести такой самообман.

— Да, это, пожалуй, лишнее...

— Но почему бы тогда тебе не вызвать на ковер наше начальство и не втолковать ему все, что нужно, а?

Фарадж Мурадов ничего не ответил, закурил. Заговорил после того, как докурил до конца.

— Ты совсем не изменился, Кафар, — улыбнулся он школьному приятелю. — Все такой же, как в деревне был. Я, конечно, характер имею в виду, характер, а не внешность. Про внешность-то что говорить — совсем поседел.

— Да и ты поседел, ни одного черного волоска на голове.

— Правда? — Фарадж с улыбкой провел рукой по голове и поднес ладонь, как зеркало, к лицу. — Ни одного седого волоска не вижу!

Оба от души рассмеялись.

— Как дети? — спросил Фарадж. — Растут?

— Да выросли уже, Махмуд на последнем курсе народнохозяйственного.

— Да что ты? Молодец!

— Чимназ в прошлом году школу кончила, поступала в медицинский, да не прошла, баллов не хватило.

— Ну ничего, в прошлом году не поступила — бог даст, в этом поступит.

— Посмотрим. Она теперь на факультет английского языка готовится, раздумала врачом быть.

— Квартирой доволен?

— Доволен, большое спасибо.

— Ты, кажется, три комнаты получил?

— Три. В центре города. И веранда есть.

— Это, если не ошибаюсь, в старых домах?

— Не ошибаешься.

— Эти старые дома просто прелесть: комнаты высокие, просторные...

Затрезвонил на столе один из телефонов. Фарадж снял трубку.

— Заходи минут через десять, — говоря это, Фарадж Мурадов посмотрел на Кафара, и Кафар встал, едва дождавшись, пока друг положит трубку.

— Ну, так как же, Фарадж? Побеседуешь с моим начальством? — спросил на прощание.

— Посмотрим, что можно будет сделать, — ответил Фарадж, стараясь не встречаться с ним глазами.

Кафар выговорился, излил душу, и теперь ему полегчало — он шел, насвистывая, как всегда, когда у него бывало хорошее настроение. Свистел он, надо сказать, мастерски.

Вернувшись на участок, он не удержался, торжествуя рассказал Ягубу о своей беседе с секретарем райкома. Ягуб мрачно смотрел на него, но не сказал ни слова. Потом исчез куда-то минут на десять — пятнадцать и, вернувшись, беспричинно засмеялся Кафару в лицо. Смеялся и ничего не говорил, только тыкал в его сторону пальцем: ой, мол, не могу без смеха смотреть на этого простака. Удгел он, так ничего и не сказав Кафару.

Его поведение поразило Кафара. Он ничего не понял, но в конце концов опять расстроился и такой вот — огорченный, растерянный, отправился после рабочего дня домой.

Он шел по Приморскому бульвару, вновь перебирая в памяти свои разговоры с Ягубом, с каменщиком Садыгом, с управляющим Исламовым, с Фараджем Мурадовым, — и вдруг странная мысль пришла ему в голову: интересно, пойдет сегодня Фарадж на могилу матери или нет?

Мать Фараджа Лейла-ханум умерла в Баку, и похоронили ее на старом кладбище, расположенном в черте города. Два раза в год — в день ее кончины и накануне Новрузбайрама — Кафар обязательно приходил на могилу Лейлы-ханум, потому что при жизни Лейла-ханум очень его любила, не делала никаких различий между ним и своим сыном и очень переживала за них обоих, пока они учились.

Но однажды Кафара потянуло на могилу Лейлы-ханум в «неурочный» день — стояла зима, было холодно, снежно, и когда он собрался уходить, Фарида удивилась: «Куда-то ты в такую погоду?» — «Я сегодня ночью Лейлу-ханум видел... Знаешь, очень уж она жаловалась, корила меня за то, что я, неблагодарный, совсем забыл ее».

Фарида поморщилась:

— Пусть детей своих призывает, ты-то при чем! Кафар нахмурился.

— Не говори так...

Фарида снова хотела что-то возразить, но Кафар знал, чем ее припугнуть:

— Если тебе приснился покойник, да если к тому же он тебя зовет и ты не помолишься над его могилой или хотя бы не помянешь — плохо может для тебя все кончиться...

— Ну да, плохо! Что там может случиться-то!

— А помнишь, в тот день, на поминках, что молла говорил? Если покойник рассердится — он может прибраться к себе и еще кого-нибудь.

— Это правда? — побледнела Фарида.

— Не знаю, — пожал плечами Кафар. — Молла так говорил... Молла зря говорить не будет...

Фарида взволнованно сказала:

— Иди, конечно, проведай... тебе виднее. — Но не успела дверь за Кафаром закрыться, она в сердцах махнула рукой. — Как же, оценят тебя эти покойники! Ты бы лучше к живым подлизываться научился — хоть какая-то польза была бы...

Он слышал слова жены, но связываться с ней не стал. Что толку отвечать, если Фарида до сих пор не поняла, почему он не забывает Лейлу-ханум, и вряд ли поймет это когда-нибудь...

...Когда он добрался до могилы Лейлы-ханум, то обнаружил, что у изголовья, рядом с бюстом из черного мрамора, уже кто-то сидит. Человек очищал памятник от снега. Кажется, он услышал Кафаровы шаги, потому что вздрогнул и резко обернулся; на какое-то время оба замерли, пристально вглядываясь друг в друга.

Первым не выдержал Фарадж:

— Это ты, Кафар?

Кафар хотел ответить, но сил, чтобы заговорить, у него не нашлось.

— Кафар, — повторил Фарадж, — это ты?

— Да, я, — выговорил наконец Кафар и подошел поближе к могиле.

— Что это ты... здесь, да еще в такую погоду?.. А закурить у тебя не найдется?

— Да ты забыл разве — я ведь бросил.

— Ах да, верно. Черт, проклятое это курево... Я ведь тоже бросил, а вот сегодня, после бюро, опять закурил... Оставил сигареты в кабинете.

Они грустно посмотрели друг другу в глаза. Кафар вздохнул.

— Я вчера видел Лейлу-ханум во сне... Ты что, тоже?..

— Да нет, не в этом дело... Просто... как бы тебе это объяснить... Знаешь, с тех пор, как меня избрали секретарем райкома, у меня как-то незаметно образовалась такая, знаешь, привычка: если что-то очень серьезное случилось, я обязательно прихожу сюда, к маме, чтобы поговорить с ней, посоветоваться... Тебе не кажется это странным, нет? Я знал, что ты меня поймешь. Если я чувствую, что мама согласилась бы со мной — у меня гора с плеч, я себя в десять раз сильнее чувствую, честное слово! Вот и сегодня... Удалось мне вырвать одно... ну, скажем так — прогнившее дерево. Насквозь уже изнутри все иструхлявело, все жучками источено, однако ж стояло... Ветвей у него было много, вот оно и душило ими молодые деревца. Думаю, теперь эти самые отростки ко мне начнут тянуться, попробуют и меня задавить... Ну, да ничего, посмотрим, кто кого? Да нет, я уверен, в худшем случае — смогут только тень на меня бросить, а раздавить — нет, не смогут... Так вот, это гнилое дерево обязательно надо было корчевать, с корнями, брат, выковыривать... И даже если б я знал, что его отростки совсем меня раздавят, все равно должен был эту гнилушку с корнем рвать, чтобы спокойно могло дышать деревце, которое я спас... Понимаешь, ни за что, ни про что хотели впутать в черное дело ни в чем не повинного парня... Вот потому-то я и пришел

сюда, Кафар, вот потому-то меня и потянуло к маме...

— Да, покойная Лейла-ханум была очень доброй и справедливой...

Фарадж, словно застыдившись своей откровенности, повернулся к памятнику, снова начал стяхивать с него снег. Думая над словами друга, Кафар зашел с другой стороны, провел ладонью по заснеженным плечам, по волосам мраморной Лейлы-ханум.

И вдруг Фарадж остановился и посмотрел на Кафара. Кафар замер и тоже посмотрел на него... Словно какая-то сила подтолкнула их — они сжали друг друга в объятиях!

Сердца их были полны, и чувствовалось по крепости этого объятия, что сейчас не надо ничего говорить, что слова не нужны — каждый из них не только чувствовал, но даже слышал то, что творилось в сердце другого... И вот теперь Кафар размышлял: придет в этот раз Фарадж на могилу? Будет ли он опять советоваться с матерью?

«Обязательно придет, — старался уверить себя Кафар. — Ведь это же Фарадж! Вызовет к себе Исламова, отчитает его как следует! Это, скажет, серьезное преступление — сдавать недостроенный дом. Получать ни за что, ни про что звания передовиков, премии, обманывать и самих себя, и народ, и государство — это серьезное преступление!»

Да, тот Фарадж, которого он знает с детских лет, не может не сказать этого, а как секретарь райкома — он еще и накажет Исламова. Пусть и для других это будет уроком!

Фарадж поступит только так!

Кафар закрыл глаза, и ему показалось, что Фарадж здесь, рядом с ним, что он слышит, как тогда, биение сердца друга...

А тем временем Махмуд возвращался со дня рождения товарища. Настроение у него — было отличное, в ресторане, где отмечали день рождения, его познакомили с красивой девушкой; видно было, что и он ей нравится — весь вечер они смотрели друг на друга.

Махмуду страшно хотелось запеть от счастья, и он бы запел, если бы сейчас был на улице один, если бы не стеснялся людей.

От мыслей о девушке Махмуд отвлекся только возле дома. У въезда в их тупик стояла молочно-белая «Волга-», а из нее выходил человек, в котором удивленный Махмуд узнал руководителя своей дипломной работы, заведующего кафедрой экономики профессора Касумзаде.

— Это вы, профессор? — спросил Махмуд, не веря своим глазам. — Здесь?..

И тут из машины вышел еще один человек, и профессор Касумзаде, широко улыбаясь, не замедлил представить его Махмуду:

— Знакомься, это академик Муршудов. Мой близкий друг. Ну, что же ты, знакомься, знакомься, — сказал профессор растерявшемуся Махмуду.

— Мы знакомы, — наконец откликнулся он. — Мы соседи.

— Соседи? Ну что ж, пригласил бы нас в гости, что ли, Махмуд. — В голосе профессора Касумзаде Махмуду послышались какие-то странные игривые нотки.

То ли от неожиданности, то ли от радости Махмуд на какой-то момент лишился дара речи.

— С радостью, с большой радостью, — наконец спохватился он. — Я сейчас... — Махмуд

хотел бежать домой, предупредить родителей о том, какие гости хотят осчастливить их, но профессор Касумзаде придержал его.

— А что ж ты даже не спросишь, с чего это вдруг профессор с академиком пожаловали к вам в гости?

— Да разве об этом спрашивают?

— Молодец! Вижу, на пользу тебе пошли мои уроки! — Профессор похлопал его по плечу и повернулся лицом к академику Муршудову. — Я же говорил, что мой студент — отличный, воспитанный парень.

— Да, не могу не согласиться — сразу видно, что молодой человек хорошо воспитан. Думаю, его ждет блестящее будущее. Не жаль будет трудов, потраченных на такого парня. — Академик Муршудов потрепал Махмуда по голове.

Махмуд почувствовал, что аж покрывается потом от всех этих похвал, от этого расположения: шутка ли, с ним ведь так тепло разговаривает не только профессор Касумзаде, одно имя которого приводит студентов в трепет, но и сам академик Муршудов.

А профессор Касумзаде все продолжал нахваливать его.

— Знаете, Микаил-муаллим, наш Махмуд исключительно способный и трудолюбивый парень. А уж как он любит науку, как ей предан — и описать невозможно. Такую дипломную работу написал — чуть-чуть дополнить, расширить — и готова кандидатская диссертация.

— Ну что ж, отлично, отлично, берусь оставить его у себя в аспирантуре.

— Дай вам бог здоровья, Микаил-муаллим, удивительный вы человек! Снова всю тяжесть взваливаете на свои плечи!

— Больше того — я берусь издать его научный труд.

— Спасибо. Большое спасибо, — сказал ошеломленный Махмуд. Он понимал, что его слова — ничто перед грандиозностью будущих благодеяний, но как он ни думал, ничего лучшего не приходило ему сейчас в голову.

Выручил его профессор Касумзаде.

— Микаил-муаллим уже стольким людям помог! Да и мне самому как отец родной был. Мы должны ценить таких людей, всячески оберегать их... Я не прав, Махмуд?

— Вы безусловно правы, профессор.

— Умница. Однако... — профессор Касумзаде замолчал и так испытующе, так пристально посмотрел на Махмуда, что тот вынужден был опустить голову. — Однако, что поделаешь, жизнь есть жизнь, и столько в ней еще неожиданных, запутанных тропинок... Одна из таких тропинок увлечет тебя, уведет, поверишь ей, и глядь — увидишь вдруг, что стоишь на краю обрыва... И попробуй перепрыгни его... Бывает так или нет, Махмуд?

— Очевидно... — пробормотал Махмуд. На сердце стало совсем тревожно, совсем смутно от этих неприятных речей. «Нет, тут что-то не так, — подумал он. — Но что именно?»

Слова профессора Касумзаде только еще больше усилили его смятение.

— Я же говорю, что таких людей, как Микаил-муаллим, надо всячески оберегать... А с ним недавно произошел трагический случай, Махмуд.

— Что же такое могло случиться?

— Его сын на машине сбил человека.

— И он, этот человек... он что — умер? — У Махмуда испуганно расширились глаза.

— Да нет, легкая травма. Кажется, перелом ноги. Но ты же знаешь, что такое перелом для современной медицины. Суший пустяк! Или я не прав, Махмуд?

Махмуд только молча сглотнул слюну — его так и подмывало теперь спросить, кто же он, этот человек? Какое отношение все это имеет к нему, Махмуду?

— Знаешь, наш Малик... Сын нашего уважаемого академика. — Махмуду показалось, что между этими словами и теми, что последовали дальше, пролегли ровно сутки. — Он сбил на машине... твоего отца..

— Моего отца?!

Махмуд рванулся и побежал. Профессор Касумзаде побежал следом, сделал два-три шага за ними и академик Муршудов, но потом остановился, нажал кнопку звонка своей двери.

Махмуд ворвался к себе, увидел плачущих мать и сестру, распахнул дверь в соседнюю комнату.

— Отец!

Весь перебинтованный Кафар открыл глаза и улыбнулся.

— Что с тобой, отец? Как ты себя чувствуешь? — Махмуд опустился на колени, осторожно провел рукой по лицу, по ногам отца, почувствовал под одеялом гипс.

— Не бойся... теперь хорошо, — с трудом прошептал Кафар.

Махмуд обнял отцовы ноги и заплакал. Кафар бессильной рукой погладил сына по голове.

— Ну-ну, не плачь, — сказал он, — ничего страшного.

Профессор Касумзаде вошел вслед за Махмудом и, стоя на пороге, поздоровался с Кафаром.

— Это действительно так, — включился он в разговор. — Уже все выяснилось, особой опасности нет.

Махмуд встал с колен.

— Познакомься, отец. Это руководитель моей дипломной работы профессор Касумзаде. Заведующий кафедрой. Он услышал о том, что у нас тут случилось, вот и пришел тебя проведать.

Кафар напряженно улыбнулся, снова с трудом поднял веки и посмотрел на профессора:

— Большое спасибо, — прошептал он.

— Благослови вас аллах, — вмешалась в разговор Фарида, — вы причинили себе такое беспокойство!

— Ну какое там беспокойство, сестра! Это мой долг. Человек должен приходиться на помощь ближнему. Не тревожьтесь, сестра, скоро ваш муж встанет на ноги. Если уж человека взялся

лечить профессор Муршудов...

Фарида вспыхнула:

— Как Муршудов?! Он что, этот профессор — родственник тем подлым Муршудовым?

Профессор Касумзаде понял, что допустил оплошность, и поспешил исправить свою ошибку.

— Нет, нет, они только однофамильцы. — И тут же сменил тему. — А вашим сыном я очень доволен. Умница, работающий, молодец. Вы знаете, что я собираюсь оставить его в аспирантуре? Но аспирантура — полдела, главное — что будет с ним потом. Так вот, академик Муршудов обещает устроить Махмуда преподавателем в наш институт... На этот раз Фарида промолчала, услышав фамилию Муршудова. Касумзаде тем временем повернулся к Чимназ.

— Ну, а эту красавицу, как я понимаю, зовут Чимназ, да? Махмуд говорил мне о сестре. Бог даст, поможем и ей поступить в этом году в институт. Наш Мур... Словом, один очень уважаемый, очень авторитетный товарищ готов взяться за это дело... А если возьмется — точно быть девочке в институте!

Фарида лишь вздохнула, промолчав и на этот раз, и посмотрела на дочь.

Глаза Чимназ заблестели каким-то странным лихорадочным блеском. Она сама почувствовала это и постаралась спрятать глаза от матери. Опустив голову, быстро прошла на веранду, умылась там, причесалась и, убедившись, что все в порядке, подала профессору Касумзаде чай.

— Одну минутку, я сейчас, — пробормотал профессор.

Он спустился во двор, достал из багажника машины какую-то корзину и вернулся обратно; Фарида, Чимназ и Махмуд в некотором изумлении наблюдали, как профессор ставит корзину в углу веранды.

— Это, так сказать, братский подарок. Я тут по базару немного прошелся... — Он повернулся к Чимназ, по лицу которой скользнула улыбка. — А теперь, красавица, я с удовольствием выпью твоего чаю. Если ты, конечно, не имеешь ничего против!

— Как вы могли такое подумать! — Не поднимая глаз, она сняла со стола старую скатерть, постлала свежую.

Профессор Касумзаде поднес стакан к губам.

— Пах-пах-пах, какой аромат! Ты его с чабрецом заваривала, верно, красавица?

— Да, — густо покраснела Чимназ.

— Обожаю чабрец. Давно мечтаю и дома с чабрецом пить, да все никак найти не могу.

Тут неожиданно для всех подал голос из задней комнаты Кафар:

— Дайте профессору чабреца с собой. Мать мне прислала недавно, так что, наверно, у нас еще есть.

— Да, у нас есть, — подтвердила Фарида.

— Ну вот и подари профессору, если он без чабреца жить не может. — Кафар устало умолк.

— Да нет, нет, что вы, я пошутил — Профессор залпом допил свой чай. — Спасибо тебе,

дочка, замечательный чай.

И снова рассыпался в благодарностях, когда Фарида поставила перед ним на стол целлофановый пакет с чабрецом.

Когда красноречие профессора иссякло, наступило молчание. Никто не знал, чем поддержать разговор. Профессор Касумзаде еще раз похвалил чай Чимназ, а потом и ее самое:

— Наша Чимназ, похоже, будет очень домовитой. Чимназ, застеснявшись, схватила со стола стакан, из которого пил профессор, и сбежала на кухню — якобы мыть посуду.

Мало-помалу от всех этих благодарностей, этих похвал дочке Фариды растаяла; она с осуждением подумала о недоброжелательстве Кафара; в какой-то момент она даже забыла о трагедии, случившейся сегодня, и уже мысленно браниться начала. Он, Кафар, ленив еще с рождения — вместо того, чтобы зарабатывать деньги, как другие мужчины, занимается черт знает чем... Сам профессор Касумзаде, такой уважаемый, такой всемогущий человек, выбился из сил, расхваливая его дочку — а он и ухом не ведет... А между прочим, профессор вряд ли станет расхваливать Чимназ просто так. Может, присматривает невесту для сына? Или для какого-нибудь очень близкого родственника? Пусть присматривается, пусть! Разве может их Чимназ кому-нибудь не приглянуться? Вон она какая, как цветочек... А хорошо бы, если б профессор старался для своего сына...

И додумавшись до этого, Фарида сама принялась нахваливать дочку.

— Да-да, профессор, вы правы. Чимназ у нас такая работящая, такая работящая — на все руки мастерица. А знали бы вы, какие обеды она готовит. Так приготовит, что ешь, и наешься никак не можешь! Вот как я ее воспитала!..

— Честь вам и хвала, сестра, очень мудро поступили, очень мудро. Да сейчас домовитую девушку найти труднее, чем в Каспии лосося поймать!

Чем дальше, тем больше в Фариде крепла радостная уверенность в том, что она не ошиблась, что у профессора своя цель... Радовался и профессор — беседа потекла совсем в ином, чем вначале, направлении... Махмуд послушал, послушал, не выдержал и ушел к сестре на кухню, сделал вид, что занят там чем-то неотложным... Чимназ стояла подле раковины с посудой, делая вид, что моет ее, но зря текла вода: Чимназ застыла с блюдцем в руке и прислушивалась к разговору... Кафар же, стиснув зубы, наоборот — отвернулся к степе, лишь бы только не слышать елейного голоса профессора. А тот продолжал заливаться:

— Не могу я понять, о чем только думают матери таких девушек? Неужели же они не понимают, что не сегодня завтра их дочери придется жить в другом доме, нести заботы о семье, а кому-то, может, выпадет на долю заботиться еще и о свекре со свекровью? — Профессор пристально посмотрел на Фариду, и Фарида окончательно уверилась, что не ошиблась в своем предположении.

И таким же елейным голосом ответила ему:

— Если бы все матери думали об этом заранее — теперешние семьи не разваливались бы от малейшего дуновения, как карточные домики. Матери во всем виноваты, матери...

— Ах, как вы правильно изволили это заметить, сестра. Не зря ведь говорят: выбирая девушку, посмотри, какая у нее мать.

— Да, да, это и впрямь так. Только что поделаешь, если некоторым девицам, которые и вовсе ничего не умеют, везет, а нашей Чимназ словно черная кошка дорогу перебежала... Мне,



знаете, уже все родственники, все знакомые уши прожужжали — отдавай да отдавай ее замуж. Нет-нет, я ничего такого особенного не имею в виду, ни о чем не беспокоюсь, но я всегда говорю: даже и не приставайте — не выдам ее, пока институт не окончит.

— И прекрасно мыслите, как настоящая мать. Девушке в наше время высшее образование еще нужнее, чем парню.

— Да что же делать, если именно тут кошка и перебежала девочке дорогу? Уж как она в прошлом году намучилась! Экзамены сдавала, оценки получила хорошие, и вот тебе, пожалуйста, осталась в конце концов ни с чем.

— Ну, на этот счет не беспокойтесь. Бог даст, теперь и этот вопрос у вас решится.

— Не знаю, не знаю... Я уже больше никому и ничему не верю. Многие так — сначала обещают, а как подходит время экзаменов, — глядишь, никого рядом и нет.

Теперь уже Фарида пристально посмотрела на профессора. Касумзаде понял значение этого взгляда и веско сказал:

— Нельзя всех одним аршином мерить, сестра. Если я говорю — значит, на что-то рассчитываю. Вот увидите, все будет просто замечательно.

— Если б аллах услышал ваши слова! — Фарида вдруг прислушалась к чему-то. — Ох, извините, я сейчас. — И выбежала на кухню.

Все это время, пока они с хозяйкой обменивались любезностями, профессора Касумзаде беспокоила мысль о том, почему не участвует в их разговоре Махмуд — как ушел на кухню, так больше и не появился... А он бы очень не помешал сейчас, Махмуд. Сам профессор не решался заговорить с парнем, боялся, что если они опять вернуться к происшествию с Кафаром, настроение у семейства резко переменится. Самого этого... Кафара бояться, кажется, — не стоит, он, похоже, человек скромный. Тут, по всему судя, жена командует. А у нее мы слабую струнку уже нащупали... Да, не обижайся на меня, Кафаркиши, за то, что я о тебе так думаю. Смотри, сколько полезного ты сделал, сломав всего лишь одну ногу: дочка в институт поступит, сын — в аспирантуру и молниеносно защитится, ну, а жена при этом еще и Муршудовых оберет как следует. Да, но почему все-таки прячется Махмуд? Что случилось?

Тишина вокруг начала не на шутку беспокоить профессора. Он встал, прошелся из угла в угол, заглянул в заднюю комнату, где лежал Кафар. Услышав звук чьих-то шагов, Кафар повернулся к двери и — посмотрел на профессора с такой злобой, что тот совсем растерялся и забормотал:

— Доброе утро, Кафар-киши, братец.

То ли от боли, то ли от гнева лицо Кафара исказила гримаса.

— Хорошо ли ты спал?

Кафар опять ничего не ответил профессору, больше того, снова отвернулся к стене.

— Извини, что потревожил, я вижу, ты хочешь спать... Спи, отдыхай, дорогой, не буду тебе больше мешать. — И профессор Касумзаде осторожно прикрыл за собой дверь.

— Куда ж вы, профессор? — С ложкой в руке выглянула из кухни Фарида. — Вот-вот обед будет готов...

— Нет-нет, благодарю вас, я не голоден. У меня еще одно важное дело. Если не возражаете, я пойду, а потом, попозже, загляну к вам еще раз.

Фарида крикнула Махмуду, чтобы он проводил гостя. Махмуд спустился вместе с профессором во двор и долго не возвращался. А когда вернулся, мать ни о чем не стала его расспрашивать, потому что пришел он таким расстроенным, что даже не заглянул к отцу.

Кафар проснулся среди ночи. Голова по-прежнему гудела, но все это можно было терпеть; сильнее всего донимал зуд в больной ноге — он был просто нестерпимым. Кафар царапнул ногу поверх гипса, но зуд от этого, казалось, становился только сильнее.

Фарида спала у окна на диване и, как всегда, всхрапывала во сне. Кафар негромко окликнул, жену, но она, конечно же, не проснулась.

Кафар вспомнил те далекие годы, когда они еще не были женаты, когда он был квартирантом у Фарида.

...Он обошел тогда вдоль и поперек все улицы в Баку, входил в сотни дворов и застенчиво спрашивал: «У вас никто не берет квартирантов?», пока не попал на Нагорную.

Был здесь маленький дворик, посреди которого росло старое тутовое дерево. Ствол дерева покосился, и ветви его тянулись к лестнице дома, стоящего напротив, словно дерево хотело подняться вверх по ступеням и войти внутрь через окно.

Какая-то полная женщина, со смуглым и очень красивым лицом, гладила белье на столе, что стоял под этим самым деревом. Не увидев во дворе никого, кроме нее, Кафар смутился еще больше, застенчиво потупился и поздоровался. От неожиданности, от звука чужого голоса женщина даже вздрогнула, чуть не выронив утюг, и вместо того, чтобы ответить на приветствие, сказала сердито:

— Ну что тебе? Чего хочешь? Кафар спросил еле слышно:

— Простите, сестра, у вас во дворе никто не берет квартирантов?

Смуглая женщина (а это и была Фарида) оглядела Кафара с головы до ног — он хоть и не поднимал глаз, но чувствовал, как пристально разглядывает она его. Был конец августа, самые жаркие дни в Баку, город был похож на раскаленную жаровню, зной заливал и этот маленький дворик; правда, в тени тутового дерева было немного прохладнее, но все равно, дышать было нечем и в этой тени. Асфальт так раскалился, что Кафар чувствовал его жар даже сквозь подошву. Тень только укрыла дворик, асфальт был еще мягким от жары, и Кафару казалось, что его ноги мало-помалу увязают в нем.

А молодая женщина по-прежнему молчала, смущая его своим пристальным взглядом. «А ведь симпатичный парень, черт бы его побрал, — думала она про себя. — Худой, правда, но, судя по всему, жилистый... А застенчивый — прямо чище девушки. Сдать, что ли, ему комнату?!»

Кафар, так и не дождавшись, когда она заговорит, пробормотал наконец:

— Значит, никто? Тогда извините.

Он повернулся, чтобы покинуть этот дворик, но женщина вдруг остановила его:

— Эй, куда же ты? Разве не ты сказал, что ищешь квартиру?

— «Ищешь» — не то слово, у меня уже мозоль от расспросов на языке, ноги отваливаются. Куда ни зайдешь, везде одно и то же говорят: берем девушек... А до начала занятий всего четыре дня осталось... Прямо уже и не знаю, что делать...

— Ты что — студент?

— Да, сестра, уже студент.

— А из каких краев?

— Из Гянджебасара.

— В первый раз слышу. Ну, и кто у тебя там — мать-отец, братья-сестры, да?

— Отца нет, только мама.

— А братьев-сестер много?

— Много. — Кафар улыбнулся. — Нас восемь человек.

— Молодцы... И что они, часто в Баку ездят?

— Да нет...

— И правильно делают. Что тут, в Баку, хорошего? Смотреть не на что.

— Никуда не ездят. Разве только раз в два-три года сестру навестят...

— Сестру? А сестра где?..

— Сестра? Сестра в Сумгаите живет, замужем. И брат еще один — в Гобустане инженером на карьере работает. Раньше и его иногда навещали...

— Раньше навещали, а теперь что ж?

— Теперь нет... У жены его характер тяжелый, не любит она гостей.

— Что ж ей, бедной, делать, видно, довели вы ее!

— Никому мы не надоедаем! — Кафар обиделся и повернулся, чтобы уйти, но Фаридка придержала его за руку.

— Ишь ты, какой обидчивый. Выходит, ты еще и гордец? Что-то ты мне все больше нравишься. Ну, и что будет, если я тебя возьму квартирантом?

— Вы? — Кафар снова поднял голову, но на этот раз взгляда не отводил — молодая женщина смотрела на него совершенно серьезно.

— Я. У меня две комнаты, одну тебе сдам. Но с условием.

— На любые условия согласен.

— Значит, так: предупреждаю тебя заранее, чтобы к тебе никто не ходил. Ясно? А то знаю я вас, деревенских: стоит одному хоть чуть-чуть зацепиться — как тут же все и стекаются. И не подумают даже, что ему, несчастному, самому спать негде. И чтобы никаких друзей-товарищей сюда не водил! Ясно?

— Ясно...

— А не то...

Но что должно было последовать за этим «не то», выяснилось позже, уже после того, как Кафар посмотрел комнату. Комната была прекрасная, просторная, с высоким потолком, светлая — окно на веранду, аккуратная, с обстановкой: железная никелированная кровать, старый комод, стол, маленькая этажерка для книг, два стула.

По другую сторону была еще одна комната, тоже с окном на веранду, но Фарида не стала ее показывать. Сказала только: «Там мы спим, я и сын».

Комната Кафара имела выход прямо на лестницу. Это было удобно: можно ходить свободно, никого не тревожа...

Они договорились, что Кафар переедет к ней послезавтра, двадцать девятого августа, а пока перекантуется у брата в Гобустане.

И вот когда Кафар уже попрощался, Фарида и объяснила ему, что должно было последовать за этим ее «не то...»

— И запомни: чтобы все было, как договаривались, не то... Не то мой брат Балага на куски тебя изрубит!

Он пожалел о том, что перебрался к Фариде, в самую же первую ночь. И пожалел не из-за брата-драчуна, нет, совсем из-за другого.

Вернулся он в тот день с занятий усталый, утомленный.

В соседней комнате еще горел свет, слышались голоса Фариды и ее сына.

Кафар уснул почти сразу, но спать ему удалось недолго — разбудили голоса, по-прежнему доносившиеся из соседней комнаты; иногда там слышались какие-то крики. Окончательно проснувшись, Кафар посмотрел в окно — на веранде темно, свет у Фариды погашен. Но если там не было света, если там спали — что за голоса он слышал?

Сквозь стену между комнатами ему явственно слышался чей-то разговор, но как ни напрягался Кафар разобрать, о чем же там говорят, ему не удавалось. И вдруг он совершенно отчетливо услышал, как кто-то закричал: «Вон отсюда! Убирайся, негодяй!»

Похоже было, что кричит Фарида, но голос был каким-то сдавленным, хриплым. Неужели это действительно она? Но почему Фарида кричит? Что случилось? В дом забрался вор?

Дрожа всем телом, Кафар на цыпочках подкрался к стене и приложил к ней ухо. Странно — теперь не было слышно ни звука. Паническое возбуждение еще сильнее овладело им — неужели Фариду задушили?

Ноги еле держали его. Если это и вправду вор, что же теперь он, Кафар, должен делать? Ведь вор, наверное, вооружен! Скорее всего, наверняка вооружен — не полезет же человек в чужую квартиру с голыми руками! Кафар постоял еще немного, прислушиваясь, но так ничего и не услышав, решился — на цыпочках подошел к своей двери, осторожно приоткрыл ее и, уже выходя из комнаты, спохватился, что он в одном нижнем белье. Кафар вернулся назад и, надевая брюки, вспомнил, что вечером, когда ужинал, видел на столе большой нож. Он вышел на веранду и нашел этот нож. Стояла звездная ночь, ярко светил месяц; он подождал, пока глаза привыкнут к свету; сквозь окно луна освещала и комнату, где спала Фарида. Как ни страшно ему было заглядывать туда, он прижался лицом к стеклу и тут же, вздрогнув, отпрянул, потому что снова раздался сдавленный крик Фариды: «Почему ты не отстанешь от меня? Уберешься ты или нет?»

Кафар сжался, ожидая, что ответит тот, с кем разговаривает Фарида. Но ответа не последовало. Крепко сжимая нож, Кафар еще раз заглянул в комнату, обернулся из предосторожности. Пусто и по-ночному тихо было во дворе.

Дрожь понемногу отпускала Кафара, мало-помалу он взял себя в руки и, все так же поглядывая назад, тихонько позвал:

— Фарида-баджи,[2] а Фарида... — и отпрянул от двери, весь обратившись в слух, прижался к стене. Фарида молчала, не было слышно и звука чьих-нибудь шагов. А ведь если бы в комнате был кто-то посторонний — обязательно зашевелился бы... А что, если этот посторонний тоже затаился? Подождав, Кафар снова позвал тихонько:

— Фарида-баджи!

Снова она не ответила, не произнесла ни слова, только захрипела вдруг так, словно ее и впрямь душили. Кафар постучался в дверь.

На этот раз он добился своего — разбуженная Фарида медленно, как лунатичка, шла к двери. На ней была светлая ночная сорочка с пуговицами на вороте; сейчас пуговицы были расстегнуты, лунный свет падал прямо на нее, и потому Кафару с его места ясно были видны полные белые груди Фариды, просвечивающие сквозь ткань темные пятна сосков.

— Кто там? — крикнула Фарида. — Эй, ты, кто это там? Гасанага, Гасанага! — и тут же поправилась, закричала еще громче: — Кафар, эй, Кафар!

Кафар тут же отозвался, но она, видно, не услышала его, стояла, пытаясь через дверь понять, что за человек таится по ту сторону. Кафар горячо зашептал ей:

— Не бойся, Фарида-баджи, это я, Кафар.

— Ты? — недоверчиво переспросила Фарида.

— Да, да, я. Не бойся.

— Зажги свет, выключатель рядом с дверью, справа.

Кафар протянул руку, и яркий свет лампочки залил веранду.

— Ну, и что с тобой случилось, что ты среди ночи разблеялся? — набросилась на него Фарида, накидывая халат. — «Баджи, баджи»!

Она только теперь вспомнила, что сорочка у нее распахнута на груди, и медленно, будто и не обращая на Кафара никакого внимания, принялась застегивать ворот. При этом ее движении полы халата разошлись, и взгляду Кафара открылись ее бедра — такие же полные и белые, как груди...

Не зная, куда девать глаза, Кафар сглотнул слюну и выдавил с трудом:

— Я... Мне... Вы очень меня напугали, Фарида-баджи.

— Вот это да! Слушай, кто кого напугал, я тебя или ты меня?

— Вы так меня напугали...

— Ну и ну! Каков гусь, а! Сначала посреди ночи ломится с ножом в руке к женщине, а потом на нее же все сваливает! И даже не провалится от стыда сквозь землю!

— Честное слово, отцом клянусь, я правду говорю! Совсем не за тем вас разбудил, о чем вы подумали...

— Интересно, а зачем же еще приходят среди ночи к одинокой женщине? А? Скажи на милость? Молчишь! А ведь, небось, и не подумал даже, что будет, если старая Сона увидит или Гасанага проснется! Да ведь после этого Балага и тебя, и меня на шашлык пустит. Подумал ты об этом своей пустой башкой? А?

Кафар наконец улучил момент, избавился от ножа, положил его на стол.

— Я спал уже, и вдруг меня будит крик... Слышу, ты с кем-то ругаешься... Гонишь кого-то: «Убирайся отсюда, подлец!» — так ты кричала... А потом, слышу, ты задыхаешься, хрипишь... Я сначала и не знал, что думать, а потом думаю, может, воры к ней забрались — душат, убивают...

Губы Фариды тронула улыбка; она опустила на диван, прикрыла колени полами халата. Но улыбка тут же и сбежала с ее лица.

— Не придавай особенного значения, — тяжело вздохнула она. — Будешь теперь слышать вроде бы и драки, и крики... Не обращай внимания — это я во сне... Бывает... Ладно, иди, давай, спать, иди. — И тихо, словно сама с собой говорила, добавила: — Правильно сделал, что разбудил... Такой плохой сон снился...

Кафар вернулся в свою комнату, снова улегся в постель, но заснуть ему не удавалось очень долго...

Не могла уснуть и Фарида, все ворочалась с боку на бок; на Кафара она уже не сердилась, даже посмеялась про себя: «Черт бы этих мужиков побрал, надо же, с какой жадностью смотрел на меня». Она откинула одеяло, снова расстегнула пуговицы рубашки, сладко потянулась и легла ничком, прижимая подушку к груди. «Проклятый, весь сон разогнал!» Она снова повернулась на спину, огладила себя ладонями. Грудь горела, как в огне; она отбросила одеяло, но и это не принесло облегчения — жар охватил все ее тело. Она спустила ноги, прошлась, чтобы успокоиться, по комнате. Но жар, охвативший ее тело, становился все сильнее. «Сукин ты сын! Откуда только ты свалился на мою голову!» Но потом вдруг задумалась: а с чего же она так злится-то на Кафара, за что его-то ругает? И сердце ее наполнилось такой мучительной, такой безысходной печалью, что сразу перехватило горло и, не в силах сдерживаться, она горько разрыдалась. Чтобы ни Гасанага, ни Кафар за стеной не слышали ее рыданий, Фарида, сотрясаясь от слез, снова бросилась на постель, зарылась лицом в подушку. «А все этот негодяй Джабар! Не захотел стать мужем, как полагается, вот и страдаю я теперь одна-одинешенька в расцвете лет», — подумала она и зарыдала еще сильнее...

...Фарида готовила обед, когда Кафар вернулся с занятий. Заслышав его шаги, она вышла из кухни, и они столкнулись на лестнице. На Фариде было новое ситцевое платье — белое в черный горошек, она только-только сшила его. Платье плотно обтягивало ее полноватую фигуру и очень шло ей — даже подруги на работе в один голос сказали об этом, а уж от них-то похвалы не очень дождешься. Да она и сама чувствовала, что платье удачное, — на улице все мужчины, даже совсем сопливые молокососы не могли оторвать от нее глаз... Сейчас Фариде удалось как-то так лихо повернуться на лестнице, что встрепенулась под ситцем ее туго обтянутая грудь. Кафар замер на мгновение, смутился, хотел молча прошмыгнуть к себе, но Фарида кокетливо остановила его:

— А что, в ваших краях здороваться при встрече не принято?

Кафар смутился еще больше.

— Д-добрый вечер, Фарида-баджи. Фарида расхохоталась.

— «Добрый вечер»! Да какой же сейчас вечер, когда еще день в разгаре!

— Извините, Фарида-баджи, добрый день.

Она в ответ тряхнула головой, преграждая путь к двери Кафаровой комнаты.

— Кажется, я тебя больше не пугаю по ночам?

— Нет, не пугаешь. — Кафар отвел глаза: его словно ожег странный блеск в глазах Фарида; он решительно обошел ее и сказал, уже стоя в дверях:

— А где у нас Гасанага? — Но Фарида не ответила.

Кафар сел за стол, разложил книжки и вдруг затосковал. Ему страшно хотелось поговорить с Фари-дой еще а чем-нибудь, все равно о чем. Переодевшись, он вышел на веранду.

— Почему же все-таки не видно Гасанаги?

— Да спит он. Нездоровится что-то, утром еле подняла, даже опоздала по его милости на работу. Ладно еще начальник цеха у нас человек хороший, всегда в таких случаях в положение входит.

Тут Фарида заметила, что Кафар снова исподтишка разглядывает ее, и опять повернулась перед ним так, чтобы пошла ходуном грудь.

— Как, по-твоему, идет мне новое платье? — спросила его Фарида.

Кафар опешил от этого неожиданного вопроса.

— Не понял...

— Я спрашиваю, идет мне платье, нет? — Фарида вдруг повернулась перед ним, да так резко, что Кафар почувствовал на лице приятную свежесть поднятого ею ветерка, а с этим ветерком — и аромат ее тела.

— Идет, — улыбнулся Кафар.

— Только правду говори!

— Не просто идет, а очень идет! Ты в этом платье на бабочку похожа.

— Что-о?! На что похожа? На бабочку? Да разве бабочки такие бывают? — Она махнула рукой где-то возле своих полных, но очень стройных бедер. — Ты только посмотри, какая я громадная!

— Во-первых, ты не такая уж и громадная. Во-вторых...

— Ну-ну, договаривай!

— А во-вторых, твоя полнота нисколько тебя не портит, потому что. — Тут Кафар покраснел.

— Потому что что?

— Потому что у тебя очень красивая фигура. Фарида посмотрела на него и, видно, сжалившись, заговорила совсем о другом.

— Ты, помнится, рассказывал, что у тебя сестра в Сумгаите живет?.. Сестра старше тебя?

— Нет, моложе.

— Моло-оже? А что ж так быстро вылупилась из скорлупки?

— Да ее умыкнули... А так — она всего на полтора года младше меня. Только я после школы еще и в армии служил...

— И что — вправду прямо так и умыкнули? Похитили?

— Ну... если девушку добром не отдадут... или начинают парню всякие невозможные условия предъявлять, ну, там, выкуп большой, денег много требуют, вещей, — тогда не то что украдешь.

— Ты тоже свою любимую красть будешь?

— Если добром не отдадут — да. — Кафар улыбнулся. — Но я постараюсь такую полюбить, чтобы все по-хорошему вышло.

Вдруг Фарида задала неожиданный вопрос:

— Ну, а если... а меня ты смог бы украсть, а, Кафар?

— Что?

— Не расслышал, что ли? Я спрашиваю — меня бы ты мог похитить? А?

— Нет. — Кафар опять залился краской и стоял, нервно облизывая губы.

— Почему? — спросила она, как-то уж слишком серьезно глядя на Кафара. Но тут же, не дожидаясь его ответа, поторопилась обернуть все в шутку. — А, ну да! Конечно, как бы ты украл такую громадную женщину? Я рядом с тобой — как верблюд против цыпленка. У тебя и сил-то на такую, как я, не хватит. Ну, скажи честно, хватит силы?

— На то, чтобы тебя украсть? Нет, не хватит, пожалуй.

— Я это и без тебя знала. — Как ни показалось ему это странным, настроение у Фариды заметно испортилось, дальше уже накрывала она на стол молча, не глядя на него.

На обед у нее была курица, судя по всему, не инкубаторская — кости белые-белые.

Фарида наполнила две тарелки, одну поставила перед Кафаром, другую — перед собой; он отодвинул свою.

— Спасибо, я не голоден.

— Ишь ты, не голоден! Можно подумать, вас там, в университете, вместо занятий пловом угощают! Или, может, там есть девушка, которая тебя подкармливает?

Кафар улыбнулся.

— Где они, такие девушки?

Фарида ела без особого аппетита, Кафар так и не притронулся к своей тарелке. Он пил чай, исподтишка наблюдая за Фаридой. Верхние пуговицы ее платья были расстегнуты, в вырезе виднелась ее пышная белая грудь.

— Ты купила это платье? — спросил он для того только, чтобы нарушить молчание.

Фарида удивленно посмотрела на него. — А что такое?

— Красивое очень.

— Сама сшила. Никогда готовых платьев не покупаю.

— Надо же, как ты хорошо умеешь шить! Настроение Фариды улучшилось.



— Зря я, что ли, на швейной фабрике работаю? Они там, на фабрике, тоже моей работой довольны.

Фарида, не доев, собрала со стола и налила себе чаю.

Кафар встал.

— Большое спасибо. Если ты позволишь, я пойду теперь позанимаюсь.

— Иди, — пожала плечами Фарида, — можно подумать, что его здесь насильно удерживают... Ну и недотрога же ты, — вдруг улыбнулась она, глядя на Кафара, — слова ему не скажи — тут же обижается. — Кафар тоже улыбнулся. — Ладно, давай договоримся: если по ночам буду храпеть, мешать тебе — буди, разрешаю. Жалко мне тебя только — не выспишься еще, а потом на лекциях ничего не поймешь...

— И ругаться не будешь, если разбужу?

— Нет, не буду. Только буди по-человечески, тихо, осторожно. Чтоб ни старая Сона, ни Гасанага не услышали. Договорились?

— Договорились.

Они разошлись по своим комнатам. Кафар смотрел в книгу, а думал совсем о другом: «Интересно, что она теперь делает? Отдыхает или занята чем-то?» Кафар не удержался, подошел к двери, приоткрыл ее — Фарида все еще была на кухне. Занятия совсем не лезли в голову, но Кафар все же заставил себя вернуться за стол.

...Он оторвался от книг, когда на улице начало смеркаться. В комнате Фарида горел свет, проснувшийся Гасанага возился на веранде с игрушечной машиной — он гудел, свистел, кричал:

— Посторонись! Люди, уходите с дороги, а не то вас машина задавит!

Фарида прикрикнула на него:

— Да замолчишь ты или нет! Голова уже трещит от твоего крика.

Гасанага на минутку умолк, но потом снова загудел, засвистел, закричал: «Уходите с дороги! Разбегайтесь!»

Дверь во флигеле старой Соны была раскрыта настежь, а сама она поливала двор, чтобы хоть немного стало прохладней. Вечерний сумрак только-только еще начал приглушать зной, и вода тут же испарялась — от асфальта поднимался пар, и чувствовалось, что старая Сона задыхается от этого пара; лицо ее стало совсем морщинистым, свободной рукой она держалась за сердце Губы старухи шевелились — судя по всему, она ворчала, но голоса ее не было слышно.

Он зажег свет, и все во дворе утонуло в полумраке. А Гасанага все гудел, свистел и кричал: «Посторонитесь!»

Кафар лежал в постели и никак не мог заснуть, мысли его снова и снова возвращались к Фариде. «Странно, почему она сегодня не храпит? — думал он. — Такое ощущение, будто там, за стенкой, вообще никого нет. Может, она еще не ложилась? Да нет, вряд ли засидится так поздно... Днем выматывается... Женщина одинокая, все сама, сама — и на работу ходит, и по дому. Да еще и заказы на шитье берет... А что же делать, нужда заставит... Интересно, где ее муж? Разошлись, что ли? А может, не разошлись, может, он умер? Странно, она отчего-то никогда не говорит о нем».

Кафара уже не раз подмывало спросить ее о муже, но что-то в последний момент останавливало — боялся, что Фарида истолкует этот разговор превратно и обидится.

Он не выдержал, встал, зажег свет. Потом достал из нагрудного кармана фотографию, нашел на ней Гюльназ и вдруг подумал, что до сих пор ошибался — вовсе не улыбалась Гюльназ на фотографии, она была грустной! Интересно, чему она печалится? И настроение у нее в тот день, когда они фотографировались, было отличное, девчонки все тогда чему-то смеялись — так, безо всякой причины. Эту идею — сфотографироваться всем вместе на память — подал Кафар. «Я, например, — говорил он своим товарищам по классу, — уже покидаю вас, буду в стройтехникум поступать. И еще кто-то из школы уйдет. Так пусть у нас у всех будет память...»

...Кафар и Гюльназ оказались рядом, очень тесно стояли, ее волосы растрепались, легли на Кафарово плечо. Именно так все и запечатлелось на фотографии...

Кафару вдруг страстно захотелось, чтобы вернулись те дни, снова раздались бы рядом голоса ребят и чтобы среди них он обязательно услышал и голос Гюльназ... Но почему все-таки теперь лицо Гюльназ кажется ему грустным? Может, он сам смотрит на нее какими-то другими глазами? Или эта печаль была в ее улыбке еще тогда, а он просто ничего не заметил?

Кафар ощутил вдруг такую тоску по Гюльназ, что, казалось, еще мгновение — и он не выдержит, побежит на вокзал, поедет к ней в Кировабад. Он даже посмотрел на часы, лежащие на столе, — было уже далеко за полночь, давным-давно отправлен последний поезд в ту сторону.

Он погасил свет, и только собрался было снова улечься в постель, как до него долетел скрип чьей-то двери. По знакомому уже кашлю Кафар понял, что это вышла во двор старая Сона. Она долго и надсадно кашляла, потом стихла. Кафар подошел к темному окну. Кашля Соны больше не было слышно, но по ее согнутой спине, по тому, как она сотрясается, Кафар догадался, что старуха пытается сдержать свой кашель. Потом он увидел, как она опустилась на колени под тутовым деревом и принялась что-то еле слышно бормотать, то и дело воздевая руки к небу... Не в первый раз видел Кафар такую картину, и каждый раз ему казалось, что старая Сона спрашивает у бога о своем сыне. Бог, похоже, ничего не говорил ей в ответ, потому, наверное, спина старой Соны сгибалась еще больше; потом каждый раз она с трудом, чуть ли не на четвереньках добиралась до своей лестницы, обессилевшая настолько, что не в состоянии была закрыть за собой дверь. Вот и сейчас старая Сона вернулась в дом, оставив дверь приоткрытой...

А Кафар стоял у окна, и ему казалось, что он все еще видит старую Сону, и Сона теперь не одна, рядом с ней все, что с детства укладывалось в его сознании в слово «война». Он был тогда совсем маленьким, мало что понимал, но при слове «война» ему неизменно представлялись мужчины на костылях, его приятели — ребята, оставшиеся без отцов, и обязательно их соседка Хурма. Страшнее всего война ему казалась именно тогда, когда он видел Хурму. Каждую ночь, когда все укладывались спать, Хурма уходила за дом и там плакала — сначала тихо, а потом все громче, с криком, с рыданиями.

«А ну, сейчас же убирайся, подлец! Убирайся, кому говорю!»

Эти слова так явственно донеслись из соседней комнаты, что на мгновение Кафар опять, как прошлой ночью, перепугался. Но тут же опомнился и постучал в стену.

Но оттуда, из комнаты Фариды, до него по-прежнему доносились ее вскрики; вдруг она начинала хрипеть, временами всхлипывала, и тогда голос ее становился тихим, жалобным. «Ну, оставь же меня в покое! Чего ты от меня хочешь?» — еле слышно доносилось до Кафара.

Поняв наконец, что стук не дает никаких результатов, Кафар натянул брюки, гютушил свет и на цыпочках вышел на веранду.

Стояла светлая лунная ночь, и ему хорошо было видно все, что делается в ее комнате. Гасанага разметался в своей кровати, раскрылся. Кафар осторожно подошел к нему, поднял с пола одеяло и укрыл мальчика. Тот даже не пошевелинулся — значит, спал крепко, и крики матери его не тревожили.

Темно было и у старой Соны, но дверь ее все еще оставалась приоткрытой.

Кафар в раздумье стоял между мальчиком и его матерью.

— Фарида-баджи, а Фарида-баджи...

Фарида в ответ начала громко всхлипывать. Кафар решился. Он подошел к постели, посмотрел ей в лицо. Оно было страдальческим, беспокойным, фарида лежала так плотно укутавшись одеялом, словно мерзла в эту теплую сентябрьскую ночь. Вдруг она снова вскрикнула, сбросила с себя одеяло и села в кровати. Решив, что она проснулась, Кафар отвел взгляд и сказал смущенно:

— Ты прости, Фарида-баджи...

Но тут же понял, что Фарида не слышит его. Она снова легла. Теперь глаза ее были закрыты, лицо осветилось спокойной улыбкой; ночная рубашка опять была расстегнута. Стараясь не смотреть в ту сторону, Кафар поправил на ней одеяло. Как ни старался он быть осторожным, Фарида вдруг встрепенулась, вскрикнула от испуга и села.

— Кто ты? — закричала она, вглядываясь в него расширившимися от страха глазами.

— Это я, Фарида-баджи, не бойся...

— Кто это — «я»? — Фарида в ужасе вжалась в стену.

— Да я же, Фарида! Я, Кафар...

— Что случилось? — начала она понемногу приходить в себя. — Что тебе надо?

— Ничего, Фарида-баджи, ничего. Просто слышу, ты опять...

Фарида долго смотрела на него тяжелым испытующим взглядом, наконец сказала:

— Хорошо, что разбудил... Сон опять страшный...

— Извини, я хотел как лучше, — пробормотал Кафар и все так же осторожно пошел к двери.

— Если тебе не трудно, — окликнула его Фарида, когда он уже был в дверях, — принеси мне воды... Что-то сердце никак не успокоится...

Кафар принес воды, протянул ей, да так и остался стоять, потому что Фарида стакана не взяла, а снова села в постели, опершись на его протянутую руку.

— А ты-то чего дрожишь? — со смешком спросила она. — Что, тоже дурной сон приснился?

— Какие там сны! Я вообще не спал...

— Интересно... А чего дрожишь? — и вдруг вскрикнула: — Ох, что же ты делаешь!

Стакан неожиданно выскользнул из рук Кафара. И хоть Фарида успела отодвинуться, все

равно вода выплеснулась и на ее ночную рубашку, и на постель. Она отбросила одеяло и, сверкнув коленями, спустила ноги. Попробовала натянуть подол — рубашка никак не хотела прикрывать ее заголившиеся ноги. Наконец она догадалась перевернуть одеяло и прикрылась его сухой стороной.

Кафар поднял стакан и снова направился к двери.

— Ты куда?

— Воды принесу.

— Я вижу, с тобой каши не сварить... Хватит воды.

Кафар замер посреди комнаты.

Фарида устроилась в постели поудобнее — он слышал, как застонала сетка кровати, — и ласково позвала его:

— Кафар!

— Слушаю, Фарида-ба.

— Да что ты опять заблеял свое «сестра» да «сестра»?

— А как же мне еще называть тебя? Растерянность, какое-то детское простодушие, прозвучавшие в его вопросе, растрогали Фариду.

— Ой, мамочки! — продолжала она подшучивать над Кафаром, но голос был таким же ласковым, как минуту назад. — Неужели ты даже таких вещей не знаешь? Вам что же там, в университете, не объясняют, как надо держать себя с женщиной? Нет? И не объясняют, кого как надо называть?

Кафар понимал, что она издевается над ним, его, при всем добродушии, мало-помалу начали выводить из себя насмешки Фариды. Так и подмывало ответить резкостью, задеть ее хоть чем-то, и в то же время он боялся это сделать — боялся, что она снова рассердится, раскричится, а то еще, не дай бог, и выгонит среди ночи из дому. И он счел за лучшее ничего не отвечать ей, а молча, в который уже раз, направился к двери.

— А ну, стой, — приказала Фарида, я повелительные нотки, прозвучавшие в ее голосе, странным образом подействовали на Кафара. Он послушно остановился, ожидая, что она скажет еще.

— Подожди, Кафар, — совсем другим, молящим голосом, в котором слышалась дрожь, попросила она. — Не уходи. Знаешь, мне страшно. Боюсь, и сама не знаю, чего. Особенно когда внезапно просыпаюсь. Бывает, вся просто дрожу от страха. — Фариду и в самом деле снова била дрожь. — Ну, посиди, ради бога, со мной, не обижайся...

Он никак не мог понять, искренне она теперь говорит или же опять иронизирует, но все же нерешительно, медленно приблизился к ее кровати, сел в ногах.

— Нет-нет, сюда садись, поближе, — Фарида сказала это так жалобно, так задушевно, что Кафар, который уже не в силах был отвести свои горящие глаза от ее обнаженной, белеющей груди, от круглых коленей, сразу откинул все свои сомнения.

— Пожалуйста, Фарида-баджи, — промямлил он и пересел.

— Ради бога, Кафар, не обижайся на меня, если я что не так сказала... Не думай чего другого

— просто я сейчас не могу одна оставаться. Подожди чуть-чуть, приду в себя — и все. Со мной последнее время что-то такое творится. Вдруг приснится, будто появилась стая волков — сейчас набросятся на меня, начнут рвать на части. Первое время кричала, как сумасшедшая. А потом вижу — Гасанагу пугаю: столько раз за ночь мальчик просыпается, плачет. Нервный стал; обнимет меня — мама, мама, я боюсь... Вот с тех пор и взяла я себя в руки, загнала свой страх внутрь... Я тебя когда впускала в дом, думала, что хоть как-то спасусь от этого ужаса...

В комнате воцарилось тягостное, мучительное молчание. И неожиданно для самой себя, она переложила в слова свою самую большую тайну, самое страшное свое горе:

— Ух, как истосковалась я, парень! По мужскому дыханию истосковалась. Ты, поди, черт знаешь что обо мне думаешь, винишь меня, да что же мне делать! Ведь я всего-то два года и сорок дней прожила с ним. И даже не сорок, тридцать девять. А на сороковой день...

— Ты что, выгнала его?

— Если бы! Сам сбежал.

— Сам? Значит, кто-то из вас виноват был, да? Фариды молчала.

— Не надо, Кафар, — сказала она через какое-то время, — не спрашивай сейчас ни о чем. Ни о чем... ни о чем... Что тебе до того, почему он сбежал? И вообще, какое тебе дело до всего этого! Давай-ка, иди лучше отсюда! Ты что, оглох? Вставай и уматывай, не то я людей позову!

— И Фариды вдруг толкнула его в сторону выхода.

Она лежала и по звуку шагов догадывалась: вот он вошел в свою комнату, вот раздевается, ложится в постель. Скрип его кровати долго стоял в ушах; какое-то ознобное возбуждение охватило все ее тело, и в конце концов Фариды, уткнувшись лицом в подушку, зарыдала. «Джабар, Джабар, сукин ты сын, смылся, — плакала она и ругалась. — Выходит, только делал вид, что любишь меня. Конечно, делал вид... Если б действительно любил — все бы вытерпел... Ну и к черту тебя!.. Бог есть, он это так не оставит... Да вел бы ты себя как мужчина — и я бы тебя мужчиной считала. Разве можно с первого же дня заваливаться к молодой жене пьяным, как свинья? Напьется где-то, приползет домой — и спиной ко мне. Да зачем же я замуж-то выходила? Чтобы одной спать? И правильно сделала, когда сказала, что ты не мужчина, правильно... А что я еще, интересно, могла тебе сказать?»

Она встала, приникла к стене. Похоже, Кафар тоже не мог заснуть, время от времени слышался скрип его кровати... «И ему не спится... Значит, обо мне думает. — Фариды провела по стене рукой. — Вот как раз здесь его кровать... Я, кажется, даже дыхание его слышу...» Она прижалась к стене так сильно, что заняло тело.

Гасанага вдруг заворочался в постели, и Фариде показалось на миг, что сын не спит, что он все видит, догадывается о том, что творится у нее на душе.

Отпрянув от стены, она бросилась на постель.

И вдруг до слуха ее донесся какой-то посторонний звук. Она подняла голову и глазам своим не поверила, в дверях стоял Кафар. У нее мелькнула мысль, что она должна крикнуть ему, чтобы он убирался. Но взглядевшись в его лицо, увидев, с какой жалостью он на нее смотрит, она передумала; злость, только что переполнявшая ее сердце, растаяла, точно иней, которого коснулось жаркое дыхание огня; она уже рада была его приходу. И Кафар, почувствовав это, медленно, осторожными шагами приблизился, робко сел у нее в ногах, не произнес ни слова; они молча смотрели друг на друга и оба тяжело и часто дышали. Кафар протянул руку и коснулся ее запястья; она не убрала своей руки; обоим была нервная дрожь. И вдруг Фариды села, прижалась к нему и заплакала еще сильнее, чем раньше. Кафар

целовал ее ставшие солеными щеки, губы и, дрожа, шептал:

— Не плачь, Фарида, не плачь... Ну, успокойся, Гасанагу разбудишь...

— Я вовсе и не плачу, — всхлипнула она. — В-вот, в-видишь, Кафар, совсем не плачу...

Когда Кафар проснулся, в комнате уже было по-утреннему светло. Он хотел было встать, но Фарида, не открывая глаз, притянула его к себе, спросила:

— Куда ты?

— Светает уже. — Ну и дьявол с ним, пусть светает! — Старая Сона проснулась.

— Старая Сона? Откуда ты знаешь? — Фарида решительно села.

— Голос ее во дворе сейчас слышен был.

— Уходи к себе, только как-нибудь так, чтобы она, не дай бог, тебя не увидела.

Кафар, низко пригнувшись, прошмыгнул в свою комнату. Переведя дух, он потянулся за часами, чтобы посмотреть, который час. И первое, что увидел там, на столе — была школьная фотография. Очень печально смотрела с нее Гюльназ, и, не вынеся этой печали, Кафар сунул фотографию в одну из книг.

На этот раз профессор Муршудов даже не распаковывал привезенный с собой лед. Тщательно обследовав Кафара, он заключил наконец с улыбкой:

— Ну вот, братец, ты уже почти здоров. С головой все в порядке, я же не зря сказал, что сотрясение у тебя в самой легкой форме. Теперь осталась нога, но, я думаю, ее мы тоже скоро подлечим... Завтра съездим, сделаем еще один снимок — посмотрим, как перелом срастается... Тут главное что? Перевязка была сделана отлично. Я тебе так скажу: при переломе первая перевязка — это все. Если правильно была сделана, надежно — все кончится хорошо... Так что можешь ни на грамм в этом не сомневаться. А с твоей стороны самое главное сейчас — это питание, ешь как следует, вообще, удели еде самое серьезное внимание. Ну, а с питанием у тебя, слава богу...

Он хотел сказать: «А уж питанием мы тебя обеспечим, доставим все, что только твоя душа пожелает», — но почел за лучшее не договорить. Но и Кафар, и Фарида поняли, что именно хотел сказать профессор. Кафар мрачно насупился, а Фарида, чтобы нарушить тягостное молчание, задала профессору Муршудову вопрос, ответ на который ей был прекрасно известен и без него:

— Я вот уже несколько дней подряд, профессор, варю ему хаш. Это не повредит?

— Что вы, что вы, Фарида-ханум, — оживился профессор. — Хаш при переломе лучшее лекарство. Мой отец в сто три года сломал сустав — у самой поясницы. Все, да и я сам тоже, думали, что такой сложный перелом в этом возрасте уже не срастется. А вот старик заставил нас каждое утро варить ему кялляпачу — бараньи головы и ноги. Не поверите, за два месяца и шестнадцать дней он поднялся. Вот тогда-то я и понял всю силу кялляпачи...

— Интересно, и что это за сила такая в бараньих мослах?

Профессор Муршудов сразу понял, куда клонит Фарида.

— Вообще-то, нет никакой разницы: что кялляпача, что хаш из коровьих ножек — действуют одинаково. А особенно, если в дело идет телка, выращенная дома, не на ферме... Но если душа нашего Кафара желает кялляпачу...

Из соседней комнаты донесся вдруг бойкий женский голос:

— Главное, чтобы братцу Кафару на пользу пошло, а кялляпача для него каждый день будет, Микаил договорится в Маштагах. Оттуда нам через день ножки привозят, закажем — будут вместо ножек кялляпачу возить. Все возможно, когда деньги есть. — Это услышала конец разговора и тут же вступила в него только что подоспевшая Гемер-ханум, жена академика Муршудова.

Фарида вышла с Гемер-ханум на веранду, они о чем-то пошептались там, и Гемер-ханум выложила на стол пухлый заклеенный конверт. Фарида удивленно подняла брови.

— Что это?

— А, ерунда... На мелкие расходы. — И Гемер-ханум заговорщицки подмигнула Фариде.

Кафару слышен был весь этот разговор из его комнаты, он увидел, как усмехнулся вдруг профессор Муршудов, и сразу понял смысл этой ухмылки; чувство стыда, которое он испытывал, обожгло его еще сильнее; Кафар съежился, словно хотел исчезнуть, стать невидимым, прижался к самой стене.

Женщины снова перешли на шепот.

— Это на продукты. Не сердись, это подарок, как сестре. Выйдешь в город, встретится тебе вдруг что-нибудь приличное — ну, там, для себя или для детей... — Гемер-ханум снова заговорила громко, с таким расчетом, чтобы и Кафар ее услышал. Увидев, как смутилась при этом Фарида — ей-то как раз не хотелось, чтобы Кафар знал обо всем этом, все понявшая Гемер-ханум, в душе потешаясь над собеседницей, чуть ли не перешла на крик. — Это все ерунда, сестрица!.. А настоящую услугу мы вам, как родным, окажем месяца через два. Мы с Микаилом уже для себя решили: что бы там ни случилось, а мечта Чимназ в этом году обязательно должна сбыться.

Хоть Фарида и не показывала виду, эти слова ее обрадовали, как раз это-то и Кафару надо было послушать. Она незаметно сунула конверт под скатерть.

— Ну что ж, я, пожалуй, пойду, — объявила наконец Гемер-ханум и встала.

Она поцеловала на прощание Фариду, и той пришлось ответить на этот поцелуй.

— Я об одном только прошу, дорогая, — задержалась Гемер-ханум в дверях. — Все ведь сейчас в ваших руках... Не отдавайте нашего мальчика следователям! Это же такое несчастье, такой позор для нас будет, если нашего мальчика начнут по милициям таскать... К тому же перед самой его поездкой... Как нелепо все... Честное слово, стыдно даже подумать, разве он преступник. Вчера из Москвы звонили, говорят, не сегодня завтра виза будет готова...

«Ну и черт с ней, с вашей визой», — хмуро думала Фарида.

Гемер-ханум наконец замолчала и с надеждой посмотрела на Фариду.

— Н-не знаю... мужа надо бы уговорить... Пока он и слушать ничего не хочет. Они, говорит, сделали меня калекой, заставили в эту летнюю жару валяться в постели, лежу, как в тюрьме. А немного нажмешь на него — сразу нервничает, сразу головная боль начинается — его ведь теперь проклятое давление все время мучает... — Фарида говорила все это почти шепотом.

— Ну что же теперь поделаешь, баджи, что произошло, то произошло; представь, что все это случилось не с моим ребенком, а с твоим... Слава богу еще, что все обошлось благополучно...

— А вы что же, хотели бы, чтобы...

— Да нет, нет, господь с тобой! Что ты такое говоришь, сестра...

Разговор приобрел нежелательный оборот, но тут Гемер-ханум выручил профессор Муршудов, вышедший к ним на веранду.

— Ну что ж, здоровье уважаемого Кафара-киши уже гораздо лучше... Вечером мне надо быть у одного тяжелобольного, поэтому я зайду к вам завтра утром, хорошо?

Он попрощался. Поспешила за ним следом и Гемер-ханум, но во дворе замедлила шаг и посмотрела на их окна с такой тревогой, что Фарида усмехнулась: «Помучайся, помучайся! Ничего с тобой не станется».

Когда гости окончательно скрылись из глаз, Фарида достала из-под скатерти конверт, распечатала его и глазам не поверила: в нем было пять пачек, на каждой из которых стояла цифра «1000». Одни сторублевки.

Да, ровно пять тысяч рублей. Сколько же их у этих сукиных детей, если вот так вот — не вздохнув, не охнув — они могут выложить пять тысяч рублей?! Не грех и содрать с них семь шкур, раз такой случай... Еще их счастье, что все обошлось... Ну да ладно, пусть устроят Чимназ в институт, оставят Махмуда в аспирантуре и доведут дело до защиты. Если это все перевести в деньги — можно считать, что шкуру ола с них сдерет. Вот почему и говорят, что не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Нет, кажется, и впрямь бог послал это маленькое несчастье для нашего же счастья...

Фарида решила спрятать деньги в старом шифоньере между бельем. Но едва вернувшись на кухню, тут же пошла назад, вытащила пачки и затолкала их в старую, разодранную сумку, а сумку забросила за диван... Но не прошло и пяти минут, как деньги из-за дивана были извлечены. Она вспомнила, что диван старый, что Махмуд его уже неоднократно чинил. Станет Махмуд в следующий раз возиться с диваном — обязательно наткнется на деньги. Фарида обвела комнату взглядом и тут ее осенило: печь! Завернув сумку в старую, драную рубашку, она сунула ее в топку голландки. Это была очень старая печь, одно название от нее и осталось — так давно ее не топили. Да, это было надежное место, ни один вор не догадается.

Фарида то подходила к печи, то отходила от нее, наклонялась, заглядывала в топку снизу — нет, свертка с деньгами не было видно. Не то что вору, самому черту не придет в голову, что у Кафара может оказаться пять тысяч и что он засунет их в печь, в золу, в грязь... «Куплю на эти деньги побрякушек для Чимназ, — думала Фарида. — А еще лучше — приодену ее на эти деньги. Если девочка поступит в институт, она должна будет одеваться как следует».

Распахнув дверь, Фарида спросила с улыбкой:

— Ты еще не проголодался, муженек?

Кафар ничего ей не ответил. Фарида, решив, что муж просто не расслышал, подошла к постели и повторила свой вопрос. Кафар пробормотал раздраженно, что есть совсем не хочет, нет никакого аппетита, а вот чаю выпил бы с удовольствием.

Фарида поставила чайник на огонь. Ужин у нее уже был готов, да и еще бы ему не быть готовым: Гемер-ханум принесла сегодня с базара отличные продукты — баранину, двух кур, фрукты, зелень. Оставался еще и хаш, сваренный специально для него. А себе и детям она приготовила курицу.

Первой вернулась с работы Чимназ. Поначалу она даже удивилась, увидев, как сегодня



радостно оживлена мать — последнее время Чимназ видела мать хмурой, озабоченной, улыбка почти не появлялась на ее лице. Было видно, что у матери отличное настроение, что она чему-то очень рада, и даже не очень-то и старается эту свою радость скрыть. Интересно, что это ее так обрадовало?

Фарида, почувствовав, что дочь сейчас пристанет с расспросами, постаралась опередить Чимназ. «Приходила жена этого, кто он там, академик, что ли, чтоб он сдох, — сказала она, будто вскользь, — и дала совершенно твердое слово, что в этом году они обязательно устроят тебя в институт. Да и пусть только попробуют не устроить! Я им такое покажу — свет белый станет не мил. Они в наших руках, дочка, исполнят любой наш каприз...»

Чимназ расцеловала мать — громко, весело; целуясь, они даже подмигнули друг дружке. Потом Чимназ пошла к отцу, поцеловала и его, стараясь не смотреть ему в глаза. Кафар тут же почувствовал, что дочь что-то таит от него.

— Как ты себя чувствуешь, дочка? — спросил он.

— Хорошо, папа. А ты как сегодня? — видно было, Чимназ задала этот вопрос просто так, из вежливости, и как только отец ответил ей: «Хорошо», тут же убежала на кухню. — Ой, мама, я просто умираю с голоду!

Вскоре из кухни послышался звон посуды.

Потом пришел чем-то расстроенный Махмуд. Он первым делом прошел к отцу, хмуро поздоровался с ним, так же хмуро поинтересовался его самочувствием.

— Что случилось? — встревожено спросил у него Кафар.

— Ничего.

— Как это ничего?.. Что-то ты мне не нравишься.

— Что же мне, по-твоему, петь, веселиться? Впервые в жизни Махмуд разговаривал с отцом так грубо; он осекся и надолго замолчал. Молчал и Кафар, тер свою сломанную ногу. Странное дело, пока он занят разговором, зуд вроде бы утихает, а замолчал — и нога под гипсом горит как в огне. И ничего тут не поделаешь — скреби гипс, не скреби, зуд несколько не уменьшается.

И отец, и сын тяготились молчанием; Махмуд даже встал, собираясь выйти, но никак не мог придумать, под каким предлогом это сделать, чтобы снова не обидеть отца.

Выручила его мать:

— Разговаривать с голодным человеком — все равно что зажигать спичку около пороховой бочки. Иди, Махмуд, пообедай. Есть курица, есть голубцы. А ты, Кафар, будешь хаш?

Кафар отрицательно покачал головой.

— Ты был у следователя? — спросила Фарида, когда Чимназ, расправившись с курицей, упорхнула с кухни.

— Нет, не был.

— Почему? Ведь он же велел, чтоб сегодня ты обязательно к нему зашел.

— Ну, зашел бы, и что бы я ему сказал? — Махмуд раздраженно повысил голос, и Фарида прикрыла кухонную дверь. — Следователь хочет раздуть это дело.

— Не верю.

— Как это — не веришь? Почему, интересно, не веришь?

— Потому что сегодня у нас была мать этого ублюдка.

— Кто? Гемер-ханум? — Да, Гемер-ханум.

— Ты знаешь, она ведь тоже, как выяснилось, ученый. Доктор исторических наук!

— Ну, надо же! Да эти проходимцы все ученые! Вот еще бы тебя ученым увидеть.

— Знаешь, мама, дело так оборачивается, что вряд ли ты это увидишь.

— Что такое, что случилось?

— Ну, что тут могло случиться... Сегодня профессор Касумзаде сказал мне: если, мол, впутаеете в это дело сына Муршудова, то об аспирантуре можешь и не мечтать. Даже, мол, если поступишь в аспирантуру — все равно от этого толку не будет никакого.

— Это еще почему? Какое может иметь отношение к твоей научной работе этот кровопийца?!

— А такое, что весь ученый совет в их руках.

— А, чтоб они у них отсохли, эти руки! Чтоб им ни с чем остаться!

Махмуд посмотрел в сторону комнаты, где лежал отец, и вздохнул. Вдруг он ударил кулаком по столу.

— Черт с ней, с аспирантурой! Ни за какое ученое звание отцовскую кровь продавать не собираюсь!

— А что ты из себя-то выходишь? — Фарида заговорила шепотом. — Что ты сразу психовать начинаешь, как твой отец? Человек должен быть расчетливым, сто раз отмерить, один — отрезать. Что ты, один, что ли? Кроме твоей аспирантуры, тут еще и о Чимназ речь идет. Надо ведь и о ней, бедняжке, тоже подумать, ей же в институт поступать...

— Вот я и говорю, что мы здоровьем отца торгуем! Жизнью его!

— Замолчи! — теперь уже Фарида ударила кулаком по столу. — Тоже мне, еще один Кафар выискался. Хочешь под отцову дудочку петь? Хорошенькие деньки тогда тебя ждут в будущем!

— Да меня всю жизнь будет совесть грызть, если я получу ученую степень такой ценой.

— Что-что тебя будет грызть? Совесть? Ах вы, несчастненькие... Да понимаешь ли ты, что, кроме тебя и твоего отца, никто на свете уже это слово и не вспоминает!

Махмуд грустно посмотрел на мать; только теперь начал он понимать, почему отец после каждого спора с матерью становится таким жалким, кажется смертельно усталым, каким-то полусонным. На него и на самого сейчас накатила сонливость. Нетвердым шагом поплелся он в их с Чимназ комнату.

Чимназ принарядилась, собираясь куда-то. На ней теперь было открытое белое платье в мелкий цветочек. Платье очень шло ей, Чимназ выглядела в нем еще красивей, еще стройней. Она распустила волосы, и они свободно легли на ее плечи. Большие карие глаза лучились счастьем, молодостью; в них было столько света, что Махмуд, забывшись,

улыбнулся и остановился перед сестрой.

— Ишь ты! С чего это — наряжаешься, сияешь, а? Глаза Чимназ заблестели еще радостнее.

— Так ты еще не слышал? Решен вопрос о моем поступлении в институт.

— Что-о?! Как это решен, ведь до приема еще... — И вдруг, вспомнив свой разговор с матерью, он все понял. У Махмуда закололо в сердце, захотелось сказать сестре что-то обидное, резкое.

Но так ничего и не сказал ей — радостное сияние, струящееся из глаз сестры, проникло и в его душу, будто разогнало тьму в сердце, боль и горечь, затаившиеся в этой тьме. Губы его сами расплылись в улыбке. Чимназ счастливо подмигнула брату, вдруг чмокнула его в щеку и выбежала из комнаты. А Махмуд все стоял у окна, глядел на двор и думал о том, что мать, наверно, права, что он, как и отец, делает трагедию из любой мелочи. Во-первых, с отцом произошел всего лишь несчастный случай — не нарочно же они его сбили! Точно такая же история могла произойти и с ним самим. «Предположим, у меня есть машина, и я случайно собою кого-нибудь, ну, хотя бы сына того же академика Муршудова или даже самого академика... Что же они должны делать? Стараться во что бы то ни стало посадить меня? Разве я или мои родители обрадовались бы, если бы они меня посадили! Нет, конечно, на всю жизнь сделались бы их врагами... Клянусь богом, мать умная женщина. Эти Муршудовы, бедные, лезут из кожи... А если б не отцово увечье — разве бы они сейчас так лебезили перед нами? Да нет, конечно... Правда, и это тоже не разговор — откуда им, несчастным, было знать нас до этого случая... Можно, конечно, считать их врагами... но что хорошего в такой зловредности, какой прок? К тому же, с отцом, к счастью, ничего опасного, перелом срастется. Человек, между прочим, и на ровном месте ни с того ни с сего споткнуться может... А Муршудовы вот уже сколько времени о покое и не вспоминают. И сестру взяли в институт устроить, и о моем будущем обещали позаботиться... Клянусь богом, они просто очень хорошие люди...»

Махмуд оглянулся — сзади стояла мать. Он посмотрел на нее вопросительно. Фарида опустила голову и еле слышно спросила сына:

— Ну, так что ты решил? Как, по-твоему, вся эта история должна кончиться?

Махмуд сразу понял, о чем спрашивает мать. И так же тихо ответил ей:

— Я подумал... Я думаю, конечно, было бы хорошо, если бы мы смогли уговорить отца... Жалко их, зачем все обострять...

Чувствовалось, с плеч Фариды словно камень свалился, она одобрительно посмотрела на сына.

— Вот и молодец. Что было, то было, а жизнь идет дальше...

— Поговори с папой, объясни ему все... Что ему стоит изменить показания, верно? Ничего ведь страшного, к счастью, с ним не произошло, верно?

Они продолжали говорить полусшепотом, чтобы отец не мог их услышать.

— Я больше всего боялась за его голову... Но теперь-то все в порядке, опасность миновала. А ногу ему профессор лечит очень добросовестно. Очень!

Из спальни послышался вдруг звон бьющегося стекла. Фарида и Махмуд бросились туда и увидели, что Кафар уронил стакан. Он виновато посмотрел на жену. Но Фарида сказала радостно, что все просто замечательно, что посуда, как известно, бьется к счастью.

Вернувшись с работы, Фарида с удивлением обнаружила, что на окне спальни стоит букет гвоздик, а рядом — коробочка орехов в шоколаде.

— Кто это принес? — поинтересовалась она.

Чимназ, которая читала в своей комнате, ничего не ответила.

Отозвался Кафар.

— Товарищи с работы приходили.

— Чего это их, интересно, принесло? Ишь ты, на подарок разорились!

— Там еще и деньги должны быть.

— Деньги?

— Да, под коробочкой, наверно.

— Что за деньги? — Фарида быстро пересчитала — сто рублей.

— Это премия.

— Что за премия? За какие такие успехи?

— Последний дом раньше срока сдали...

— Да? Ну, а что же ты тогда вместо того, чтобы радоваться, говоришь об этом с какой-то грустью?

Кафар не считает нужным отвечать жене. «Да за то, что мы сдали этот недостроенный дом, нас не премировать надо, а наказывать, — подумал он. — Впрочем, те, кто поселятся в нем, и без того будут нас проклинать, Фарадж! Можешь быть в этом уверен! Значит, ты так ничего и не сделал... Другим, значит, стал, не таким, как когда-то... Неужели и тебя, как других, больше стали волновать липовый авторитет, личное благополучие? Лишь бы, мол, хвалили, пока ты секретарь, а что будет потом — тебя совершенно не волнует... Эх, Фарадж, Фарадж!..»

Раздумье его прервал телефонный звонок. Фарида схватила трубку.

— Алло! — резко прокричала она, но тут же голос ее совершенно изменился. — Я слушаю вас, Гемер-ханум...

Оборвались мысли Кафара, разлетелись...

Незаметно подошел конец июля. Тревожно и радостно было на душе у Чимназ. Она подала документы на факультет английского языка. А утром Гемер-ханум сама пришла к ним, взяла ее экзаменационный лист, записала номер группы и повторила несколько раз: «Будь спокойна, считай, что ты уже студентка!» Как бы между прочим Гемер-ханум обронила, что виза ее Малика уже готова, что в первых числах сентября его должны, вызвать в Москву, ну, а уж оттуда, видимо, направят в Иран. Если, конечно...

Тут Гемер-ханум осеклась, тяжело вздохнула и выразительно посмотрела в сторону комнаты, где лежал Кафар. И Фарида, и Чимназ, конечно же, поняли, что хотела сказать Гемер-ханум, чего она не договорила: «Если, мол, будет закрыто дело, прекращено следствие».

— Вы не волнуйтесь, — торопливо начала Чимназ, — папа...

Но Фарида была начеку, не дала, ей договорить, сделала озабоченное, чуть нахмуренное

лицо и сообщила, что хотя им и удалось уговорить Кафара, пока он, мол, ждет, когда срастется нога. Он, мол, хочет сам пойти в милицию, чтобы ни у кого никаких сомнений не возникало, никаких подозрений.

— Як чему это все говорю, — продолжала Фарида. — Если муж откажется от своих показаний прямо сейчас, не вылечившись до конца, то могут начаться разговоры. Непременно сыщется правдолюбец, который напишет куда надо. Не дай бог, если хоть одна такая анонимка пойдет наверх. Тогда все летит прахом — ведь тогда хочешь не хочешь придется рассказывать все, как было на самом деле. Ну, бога ради, разве я не права?

— Ох, да и не говори! И главное, этих проклятых анонимщиков с каждым годом все больше становится... Целыми днями ничего не делают, только и умеют, что доносы писать. — И Гемер-ханум глубоко вздохнула. — Если бы вы знали, сколько из-за этих анонимок перенес мой муж...

— Ну вот видишь, я же говорю, что все знаю... Только дня своей смерти не знаю... Тут как-то ваш деверь... ну, я имею в виду профессора Муршудова... — Она повернулась к Чимназ. — Завари-ка нам крепкого чаю. — Чимназ ушла на кухню, радуясь, что ей больше не надо присутствовать при этом нелегком разговоре, а Фарида сделала вид, что потеряла нить беседы. Она терла лоб, якобы пытаясь вспомнить, о чем говорила, а сама не сводила глаз с Гемер-ханум. — Да, так вот я о чем: ваш деверь сказал однажды, что кто-то как следует нажал на следователя сверху. Дал понять, что это ваши люди нажали. — Фарида улыбнулась. — Я ведь не младенец, верно? Разве я не вижу, что так оно и есть на самом деле... Нет, я ничего не хочу сказать, нажали — ну и отлично... Просто замечательно, что вам удастся нажимать на него сверху. Ну так сделайте, чтобы он еще немного повозился с этим делом. Причина? Да у него всегда найдется для этого масса причин... Расследование не закончено, появились новые данные... Или он не сотрудник милиции? Ведь им заставить человека говорить то, что нужно — проще простого... Пусть пока выясняет новые обстоятельства. А как только гипс снимут — муж тут же пойдет в милицию и откажется от прежних показаний. Сама отведу Кафара к тому самому следователю, можешь быть уверена. Ну что, договорились?

Гемер бросила на нее долгий грустный взгляд и снова вздохнула:

— Ну что ж делать... Лишь бы все вышло, как ты говоришь...

— До сих пор все в этом доме было так, как я захочу. Думаю, и впредь так будет!

На прощанье они снова расцеловались. Довольная собой Фарида поцеловала гостью даже в обе щеки. На этом месте и подросла Чимназ со стаканами, в которых дымился горячий чай.

— Тетя Гемер, а чай? Я, можно сказать, специально для вас заваривала...

— Даст бог, на свадьбе твоей попою, дочка... Когда Гемер-ханум исчезла в тупике, Чимназ спросила у матери:

— Ну что вы все мучаете этих несчастных, мама, взяли бы назад показания, и дело с концом...

— А ну, замолчи! Не твоего ума это дело! — Фарида на всякий случай приоткрыла дверь в спальню, окликнула мужа. Кафар не отозвался, и это обрадовало ее: спит муж, ни о чем не подозревает! Если б она знала, что Кафар вовсе не спал, только притворялся спящим. — Ты вот рассуждаешь, а что они за птицы, вся эта ученая семейка — этого никто не знает. Если они рассчитывают откупиться этими деньгами...

— Какими деньгами, мама?

На мгновение Фарида даже растерялась — надо же было так оплошать! Но тут же взяла себя в руки и закричала:

— Какие деньги, что ты болтаешь! Каждый день продукты с базара приносят — разве они денег не стоят? Вот я про них и говорю, про эти деньги. Может, они этой мелочью и хотят от нас отделаться. Можешь ты быть в них до конца уверена? А?

Чимназ даже в лице переменялась.

— А вдруг они и в самом деле обманут, мама? Вдруг не устроят меня в институт — и что тогда будет?

— Да что ты говоришь! Меня — и обмакнут? Да я им тогда такое устрою! И не посмотрю, что они всякие там академики, узнают тогда, где раки зимуют. Пусть только попробуют — не я буду, если не успокоюсь, пока не посажу их щенка! В порошок всех сотру! — г Бледная Чимназ оторопело слушала мать. Ей хотелось сказать, что надо бы как-то по-другому, что сын Муршудовых совсем еще молодой парень, его тоже жалко, зачем же так безжалостно ломать ему жизнь... Можно ведь как-то с ними по-людски договориться...

Но если б даже Чимназ и очень захотела сказать что-то матери, ей бы все равно это не удалось — слова вылетали из Фариды неиссякаемым потоком. — Ну, поняла теперь, почему наши показания пока должны оставаться в милиции? Поняла? — Чимназ послушно кивнула головой. — Ну иди, пора уже начинать ужин готовить. А я пока спущусь в магазин.

От давешней радостной взволнованности в душе Чимназ теперь не оставалось и следа. На какой-то миг она даже возненавидела и такой притягательный факультет, и свою мечту: черт с ним совсем, с институтом, если приходится становиться студенткой подобным образом, платить такой ценой... Но мгновение это тут же и прошло, потому что Чимназ вспомнила Айдына. Айдын уже в этом году перешел на третий курс. И кто знает, может, он уже нашел себе кого-то среди своих однокурсниц... И что же получится — он будет с высшим образованием, а она так и останется простой швеей со средним образованием?.. Нет, никогда! Но неужели он и вправду нашел себе какую-нибудь другую. Очень похоже — что-то последнее время все реже появляется... Если и придет — каждый раз все жалуется, что много заниматься приходится, что учиться тяжело... Не-ет, он, кажется, в самом деле...

Сердце Чимназ вдруг сжала такая тоска, что она не выдержала — кто-то должен был сейчас же ее успокоить, утешить.

— Мама! — встревожено позвала она.

Но вместо матери отозвался на ее крик отец:

— Что такое, доченька, что случилось?

Пусть хоть отец, все лучше, чем оставаться сейчас на кухне одной, и Чимназ бросилась в спальню. Увидев на лице отца неподдельную тревогу, она, чтобы успокоить его, даже попыталась улыбнуться:

— Да ничего, ничего, просто я у мамы спросить хотела... — Чимназ запнулась, но быстро придумала, как обмануть отца. — Хотела спросить, куда она перец задевала. Понадобился для ужина черный перец, а найти никак не могу...

Решив, что отца она успокоила, Чимназ снова вернулась на кухню. «Господи боже мой, — молила она теперь. — Сделай так, чтобы я в этом году поступила. Сделай так, чтобы Муршудовы сдержали свое слово и помогли...»

Она так была занята своими мыслями, что едва не прозевала, когда вернулась мать. Тяжело

отдуваясь, Фарида выкладывала из сумки покупки.

Чимназ хотела поговорить с ней, но посмотрела на ее лицо и... передумала.

— Пойду, позанимаюсь немного, — сказала она, ставя кастрюлю на плиту.

Все еще обливаясь потом, Фарида кивнула ей. Нет, надо обязательно умыться, может, хоть полегчает. К счастью, вода у них всегда шла прохладная, к тому же это была вкусная шолларская вода, и умываясь, Фарида не удержалась и напилась прямо из-под крана. Никогда бы и не отходила от него — так приятна эта прохлада... Наконец она оторвалась от воды и сквозь мокрые ресницы увидела появившегося на кухне Кафара. Муж неловко опирался на костыль.

Всякий раз, когда Фарида видела мужа на костылях, неудержимое бешенство закипало в ней. «Ах, чтобы и с вами такое случилось», — проклинала она про себя Муршудовых и страстно призывала всевозможные беды на головы тех, кто довел ее мужа до такого состояния...

Кафар тоже подошел к крану и, прислонив костыль к стене, начал пригоршнями хватать воду.

— Жарко тебе?

Кафар вытерся и только после этого ответил:

— Да, совсем запарился. Такая духота, что чуть сознание не теряю.

— Мы тоже все просто погибаем... Дома еще ничего. Дома, по сравнению с улицей, как в раю. А в городе — такое пекло...

— У нас, в Ичери шехер, всегда прохладнее, чем в других районах.

— Да, это так, да упокоит аллах душу отца того, кто этот Ичери шехер построил! И рядом с морем, и дома стоят впритык друг к другу, и высокие они — тень есть. Да еще и стены толстые. Летом прохладнее, зимой теплее...

— Если б я с божьей помощью построил и маме в деревне такой дом, — вздохнул Кафар.

Хорошо, что неугомонная Фарида, перестилавшая в этот момент его постель, не слышала этих слов, не то тут же подняла бы крик: «Ишь, строитель нашелся! Если уж ты такой заботливый, подумай о своих детях! Махмуду не сегодня завтра жениться, построил бы ему хоть, однокомнатный кооператив. Бедный мальчик, когда еще его на учет поставят! Когда-то квартиру получит...»

У матери Кафара был такой обычай: как только приезжали в деревню сыновья, она, тайком от невесток и внучек, собирала их под черным инжиром, что рос за домом. Обязательно под этим деревом. И в этом для нее заключен был особый смысл.

Если в такие вот минуты к ним приближался кто-то из женщин — внучка ли, невестка ли, — мать прогоняла ее: что тебе здесь надо; зачем суете всюду свой нос, идите, идите, не лезьте в мужские дела... Как-то одна из внучек не удержалась, спросила с усмешкой: «А что же ты, бабушка, сама в мужские разговоры лезешь, ты ведь женщина?» И тогда мать погладила постаревшие, покрытые, как и ее лицо, морщинами корни черного инжира и, вздохнув, сказала: «Потому что я теперь тоже мужчина. Твой дедушка, когда скончался, оставил все мужские заботы этого дома на меня... Ты, наверно, думаешь, внученька, что это очень сладко — быть мужчиной? — Никогда до этого не видел Кафар мать такой жалкой, такой подавленной. Он с трудом проглотил комок, застрявший в горле. — Нет, дорогая моя, совсем не хотела бы я становиться мужчиной, да только бог за меня решил, не дал мне другого выхода... И вот я жду не дождусь того дня, когда твой отец или кто-нибудь еще из твоих

дядей возьмет на себя обязанность быть мужчиной в этом доме. Вот тогда я с удовольствием отдохну... Поняла теперь?» — «Поняла», — прошептала девочка. «Ну, тогда иди, поиграй». Внучка, все время оглядываясь, пошла было прочь от инжира, а потом вдруг остановилась, чтобы крикнуть: «Бабушка! Я когда вырасту, тоже мужчиной стану, как ты!» Мать рассердилась: «Прекрати сейчас же молоть глупости! И чтобы я тебя никогда здесь больше не видела!» Внучка обиженно исчезла за домом.

Да, мать всегда собирала их под этим черным инжиром, только здесь могла она вести с сыновьями серьезные разговоры. Она никогда не говорила, почему именно здесь собирает их в ответственные моменты, но сыновья и так знали, сколько у матери связано с этим деревом. Именно под этим черным инжиром обмыла она тело их отца, именно отсюда провожала его к последнему пристанищу. Не знали они только того, что мать была свято уверена: именно здесь покойный муж может услышать все их разговоры...

Прежде, чем начать, мать каждый раз ласково проводила ладонью по истрескавшимся корням черного инжира, срывала его широкий шероховатый лист и долго разглаживала его на своем колене — листья черного инжира казались ей такими похожими на руки мужа... И только после этого начинала она говорить:

— Вы видите, дом наш совсем развалился. — Тут она умолкала, исподлобья обводила сыновей взглядом, чтобы понять, как действуют на них ее слова. — А что поделаешь, ведь построен он давно... Правда, эти старые дома, бывает, держатся и по сто, и по двести лет... Наш же сделала таким война. Если бы не военное время, не танки — он еще стоял бы себе и стоял...

Гюльсафа медленно перевела взгляд на дом. Туда же следом за ней посмотрели и сыновья.

— Вот видите, задняя стена снова дала трещину. Может быть, она только снаружи пошла, а может — и на всю толщину. Боюсь, что как раз на всю толщину, и значит в один прекрасный день дом рухнет и останусь я под его развалинами... Вы что думаете, я за себя боюсь? Смерти? — Гюльсафа пренебрежительно улыбнулась, но все же сквозь эту улыбку явственно проступала печаль. — Не смерти я боюсь, нет! Я за вас боюсь, за вас беспокоюсь. Не хочу, чтобы опозорились вы перед людьми. Ведь будут люди говорить, что сыновья Махмуда дали разрушиться отчему крову, даже избенки жалкой после себя не оставили там, где родились... Земли у нас, слава богу, достаточно, каждый из вас может себе дом поставить, где захочет. Подумали бы от этом... Врагов ведь всегда больше, чем друзей, так не делайте же, чтобы люди смеялись над вами. Будете хоть когда-нибудь приезжать сюда, детей с собой привозить — и вам хорошо, и наши с отцом души порадуются, глядя на вас с того света... А сад? Половину деревьев уже пора вырубать, такие они старые. Разве у меня есть на это силы? Я уже даже и сучья обрезать не могу... Вы только посмотрите — это уже не сад, а лес какой-то дикий — вон как проклятая вишня разрослась, весь угол заполонила... А забор? Весь под копытами скота развалился, давно пора новый ставить, не бывает ведь сада без забора... Привезли бы, посадили бы новые саженцы. Фруктовые деревья — это всегда фруктовые деревья, они вам за заботу воздадут сторицей — хорошие плоды по домам отвезете, падалицу высушите, зимой будете есть... А тень от деревьев — она ведь летом дорого стоит — будут ваши дети в жару отдыхать в этой тени... Позаботьтесь о доме на радость друзьям, назло врагам. Когда жив был ваш покойный отец, наш сад загляденьем был, душа радовалась. Все вокруг нашему саду завидовали... А с другой стороны, сад был нашим кормильцем — сколько фруктов мы продали прямо здесь, у ворот...

Каждый раз, заканчивая разговор, мать весело говорила: «Ну ладно, вставайте, даст бог, все будет в порядке. Пойдемте, пообедаем все вместе. Честное слово, когда я вижу вас всех вместе за столом, у меня аппетит улучшается».

И каждый раз после этого разговора под черным инжиром, мучаясь от бессонницы, Кафар



думал об отце. Он умер внезапно — всю войну прошел, а погиб под поездом... Когда приехали дети, он уже скончался, так и не успев дать сыновьям последнего напутствия.

Не раз казалось Кафару такими ночами, что он видит отца воочию, отец смотрит на него и вот-вот заговорит. Порой Кафару казалось, что если отец заговорит с ним — он ему ответит. А Кафар так много мог бы рассказать ему.

Почему-то отец всегда виделся ему верхом на лошади. Ему казалось, что отец сначала рассматривает дом, объезжает двор, сад, и наконец, подъехав к треснувшей стене, долго стоит там, а потом, не обращая внимания на зов матери: «Ты так давно ушел из дома, голоден — иди, хоть немного перекуси», — исчезает. И казалось, что мать жалуется ему вслед: «Как будто враги его в доме, снова не поел, не попил, уехал, как будто кто-то среди бела дня у него колхозные поля разворует...»

И каждый раз после такой ночи Кафар задавал себе вопрос: а не виделось ли то же самое матери? Ему хотелось спросить у нее об этом, но он не решался, боясь разбередить ее рану.

А однажды получилось так, что утром они остались вдвоем, и Кафар вдруг проговорился, что видел ночью отца.

Мать вздрогнула, словно что-то больно кольнуло ее. Она жалобно посмотрела на сына и спросила:

— Значит, он и тебе сегодня приснился?

— Ну, не то чтобы приснился... Но как живого видел. — А он с тобой говорил о чем-нибудь, о чем-нибудь спрашивал?

— Н-нет...

— Это потому, что он ушел из мира, не дав вам последнего благословения, унес последние слова в сердце.. — Гюльсафа вдруг прижалась к сыну. — Несчастный и ко мне приходит по ночам. Каждый раз, как я делюсь с вами своим грехом под черным инжиром, он непременно мне снится.

— А с тобой что — разговаривает?

— Разговаривает. Как думаешь, что он сказал в этот раз? — Кафар пораженно смотрел на мать. — Тебе, говорит, хорошо — собрала вокруг себя детей, разговариваешь с ними, смеешься, а я так далеко от вас остался... Так иди же, говорю, кто тебя не пускает? Как я ни стараюсь, говорит, не могу Гияса с собой забрать. Он, говорит, человек больной, на кого я его там оставляю... Даже на том свете о других продолжает беспокоиться! Стал жертвой Гияса, и снова переживает за него...

Махмуд, отец Кафара, попал под поезд, когда вез в больницу своего фронтового друга Гияса. Мотор машины заглох на переезде, прямо на рельсах, а тут поезд. Шофер бросил машину и бежать. Отец попытался вытащить Гияса из кабины, но не успел, и оба они оказались под колесами...

На следующий день Гюльсафа собирала всех своих внуков и шла с ними в сад. Там они сгребали в большую кучу опавшие листья, сухие ветви, прочий мусор; все это торжественно сжигалось на костре. Сама Гюльсафа, не удержавшись, брала топор, принималась обрубать запущенную вишню. Из года в год разрасталось огромное дерево, стало уже помехой в саду.

Кафар отнимал у нее топор, и Гюльсафа возвращалась к костру, к внукам. Она разговаривала с ними нарочно громко — чтобы слышно было соседям:

— Вот, мои дорогие, ваш папа поставит дом вон там, в верхней части сада. А дяди ваши — там, один тоже вверху, другой — чуть пониже. А вообще-то, я бы на их месте строила все дома рядом. Слава богу, места столько, что никто никому мешать не будет. Ну, что, права я, мои родные?

И дети хором кричали: «Права, права, пускай будут рядом, мы тогда будем все вместе играть!»

— Вот и молодцы. Где многолюдно, там и весело, вам и скучать некогда будет.

А соседки, слыша эти слова, говорили:

— Поздравляем тебя, Гюльсафа. Опять собрала вокруг себя внуков. О чем это вы там с таким удовольствием советуетесь?

— Дай бог и вам всегда праздников. Дети приехали — надо посоветоваться, где строить новые дома, как их строить...

Сияло в такие минуты лицо Гюльсафы, и даже не вспоминала она ни про давление, ни про сердце.

— Ах, Кафар, — призналась она однажды, — когда вы приезжаете — я совсем забываю, где у меня сердце.

Гюльсафа советовалась и с соседками. «Хочу, — говорила она, — чтобы Кафар себе двухэтажный дом построил. Я бы тогда могла утром или вечером подниматься на второй этаж, пить на веранде чай, рассказывать моим деткам сказки и смотреть оттуда на двор, на сад. Ведь если смотреть сверху — и двор, и сад видны как на ладони... Хочу, чтобы дом был двухэтажный и чтобы не похож был на все другие».

Когда Кафар слышал все это, он еще острее ощущал свое бессилие, свою беспомощность. Он понимал, что при нынешней своей жизни ничего не сможет сделать, чтобы исполнилась мечта матери, и от этого еще сильнее терзалась мукой его душа. И еще сильнее становился его страх, что мать, как и отец, умрет неожиданно, и тогда несбывшаяся ее мечта ляжет на сердце тяжелым камнем, превратится в вечную рану, которая станет жечь его до самого последнего дня...

...Оба, и отец, и сын, смотрели на загипсованную ногу. Она опять так чесалась, что Кафар не находил себе места. Он прекрасно понимал, что царапай, не царапай сверху, хоть все ногти обломай, а все равно это не поможет; но остановиться он уже не мог — так он все-таки хоть что-то предпринимал, чтобы утишить зуд. А зуд, казалось, наоборот, становился еще сильнее.

Махмуд взял в руки его ступню, принялся массировать оставшиеся открытыми пальцы. Они были совсем зелеными, холодными как лед.

— Это все от гипса. Очень сильно сверху стянул профессор, вот кровь в пальцы и не поступает. — Кафар захотел пошевелить ими, но ничего у него из этого не вышло, пальцы были неподвижны. — Не понимаю, почему он не снимает эту гадость! Ведь сам же сказал вчера, что последний рентгеновский снимок очень хороший, кость срослась правильно.

— Ничего, папа, через несколько дней снимут с тебя гипс...

— Вчера профессор Муршудов то же самое мне сказал. Говорил, что пока не решается снимать, рано. Боится, как бы от ходьбы снова кость не разошлась...

— Наверно, он прав. Ему же виднее... — Махмуд, не находя в себе сил посмотреть отцу в

глаза, продолжал осторожно растирать его мертвенно-зеленые пальцы, хотя Кафару этот массаж не приносил никакого облегчения. — Профессор вообще-то хороший человек... Что ты собираешься... — Махмуд запнулся на полуслове, испугался вдруг, что отец может обидеться. Кафар все понял и сам договорил за сына:

— Да, ты прав, они все очень неплохие люди. И профессор, и сам академик, и жена его Гемер-ханум. Ведь они же не нарочно сбили меня, верно? Просто несчастный случай... Честно говоря, мне теперь даже неудобно перед ними. Они столько внимания проявляют, столько заботы, что просто неловко. Я уже сколько раз говорил твоей матери: хватит, не принимай больше от них продуктов. Нет, ничего не хочет слушать. Я уже и профессора несколько раз просил об этом, по секрету тебе скажу. Но и он меня не слушает. Похоже, что и они тоже твоей матери боятся.

Оба усмехнулись.

— Ну что за незадача такая со мной приключилась! Столько лет в городе живу, в самых оживленных местах улицу переходил — и ничего. А тут, в своем тупике, у самых дверей и, пожалуйста, — угодил под машину! Видно, так уж мне суждено было, где-то должен был попасть под колеса! Хорошо еще, что рядом с домом, что травма небольшая. Верно говорят: чему быть, того не миновать. Ни за что не миновать!

Кафар говорил все это, а сам прекрасно понимал, что оба они — и он, и сын — сознательно оттягивают какой-то более важный разговор. Ведь неспроста же Махмуд пришел к нему в такое позднее время, дождавшись, пока уснут мать и сестра; значит, сыну от него что-то нужно.

— Ну что, как твой диплом?

— Да что диплом, защитил уже. Все защищаются, — махнул рукой Махмуд и умолк. Никак он не мог решиться начать разговор, ради которого пришел.

— А какие у тебя планы на будущее?

— Да вот, наверно, в аспирантуру буду поступать...

— Ну что ж, я думаю, это верное решение.

— Может быть, но...

— Что «но»? Насколько я понял, твой профессор сам тебе это предлагает, разве нет?

Махмуд промолчал, стараясь не смотреть отцу в глаза.

— Все ясно... — протянул Кафар. — Значит, и он — тоже из-за меня суетится... Точнее, из-за сына академика. Так ты скажи ему, что отец пока еще окончательно не выздоровел, гипс еще не сняли. А как только снимут — тут же он и пойдет к следователю... Хочешь, в любой день, когда мамы не будет дома, возьмем такси и поедем?..

Махмуд обрадовался:

— Муршудов говорит, что может даже прислать свою служебную, чтобы тебя отвезти.

— Для меня это не имеет никакого значения. Хочешь — можешь даже сам поговорить со следователем. Пусть приходит к нам домой, и я дам ему новые показания, скажу, что совершенно здоров, что ни к кому не имею никаких претензий...

— Что-о?! — услышали вдруг Кафар и Махмуд, и оба вздрогнули от этого неожиданного

вопля. На пороге спальни — в ночной рубашке, с растрепанными волосами — стояла Фарида.

— Имей совесть, Фарида! Я без ноги могу остаться. — Кафар изо всех сил стукнул кулаком по загипсованному колену. — Она уже совсем запарилась в гипсе...

— Не умрешь. Терпел два месяца — и еще каких-то восемь денечков перетерпишь. Если у Чимназ получится все так, как я тебе сказала, — сама своими руками прямо в день последнего экзамена и сниму с тебя гипс.

Проснулась, услышав крики в соседней комнате, и Чимназ. Она тихо лежала в своей постели, плакала и просила: «Да буду я твоей жертвой, папочка, ну потерпи еще немного. Ради меня, ради моего счастья потерпи...»

— Но ведь тут, Фарида, еще речь и об аспирантуре Махмуда идет.

— Столько уже лет мы живем, Кафар, а все никак не научу я тебя не вмешиваться в мои дела. Ну скажи, что вышло бы путного, если бы мы все делали по-твоему? Да ты, наверно, простил бы Муршудовых в первый же день, и ни о дочери твоей сейчас речи бы не было, ни о сыне...

— Вот-еот... Дочь, сын, да еще и деньги с Муршудовых...

— Какие деньги? О каких таких деньгах ты здесь говоришь? — с ходу перешла на крик Фарида, Кафару даже показалось, что у него лопнут сейчас барабанные перепонки. Не дай бог еще услышат соседи — позора потом не оберешься...

— Какие деньги, мама? — тихо спросил Махмуд, удивленно переводя взгляд то на отца, то на мать.

Фарида замахала руками.

— Да слушай ты его, сынок! У твоего отца и без того с головой не все в порядке, а тут еще это сотрясение мозга... И ту малость ума, что у него еще оставалась — и ту вытряхнуло. Какие деньги! Он бредит... И вообще, хватит разговоров, иди спать, иди!

И чтобы не раздражать Фариду, чтобы хоть как-то помочь и без того измученному отцу, Махмуд поспешил покинуть спальню.

Был воскресный день. Кафар сидел у окна с книжкой, прислушиваясь к непривычной тишине дома. Фарида ушла куда-то с самого утра и Гасанагу взяла с собой.

Приближался конец ноября, уже сильно похолодало, то и дело начинал идти снег. Побелела крона тутового дерева, росшего посреди двора, побелел и сам двор. Неизвестно откуда залетевший сюда дрозд отыскивал что-то в мусорном ящике около ворот и теперь там же, около ворот, клевал свою — находку. Держался он настороженно и частенько, вскидывая голову, поглядывал в сторону окон. Вдруг дрозд встрепенулся, прихватив клювом свою добычу, взлетел на тутовое дерево. Это вспугнула его старая Сона, появившаяся в воротах с корзиной в руке. Осторожно семеня, она прошла через двор, но вдруг поскользнулась и осела так неловко, что из корзины посыпались все ее покупки: полбуханки хлеба, пачка чая, кусок сыра. Не раздумывая, Кафар кинулся к старухе, помог ей подняться и, собрав корзину, донес ее до дома. Видно было, что старая Сона вся дрожит от холода.

— Вот зима, — сказала она, раздеваясь. — Слишком уж сурово она началась, проклятая. Дай бог, сынок, чтобы хоть к концу стало лучше.

— А мне говорили, бабушка, что снег в Баку — большая редкость, целое событие...

— Так-то оно так, да только год на год не приходится. Другой раз столько снега выпадет, что и спасения от него нет. Вот после войны... не припомню уж точно, в каком году... — Старая Сона смущенно улыбнулась, прикрывая рукой беззубые десны. — Видишь, сынок, и память не та уже стала, совсем все к старости позабыла... Да, так вот однажды после войны такой снег повалил, такой снег — все думали, конец света пришел, думали, уже до самого лета этот снег не растает. Вот какой был снег...

— А потом все же оказалось, что это еще не конец света?

— Да, клянусь богом! Ко всему, сынок, человек привыкает. Такое стойкое создание — любой холод может выдержать. Вот хоть меня возьми. Был у меня один-единственный сын, и того отняла война, сначала думала, не переживу я этого. А оказалось — смогла. Видишь, сколько лет уже, как она кончилась, а я все живу. — На глаза старухи навернулись слезы, она поспешно утерла их уголком своего черного платка. — Прости ты меня, сынок, ради бога, я и Тебя расстроила. И не стала бы говорить обо всем этом, чтобы и тебя не расстраивать, да уж очень ты, поверь, на моего Кямиля похож. Особенно когда идешь. Вот у моего Кямиля такая же походка была — вроде медленная, а твердая. Ты как мимо моей двери проходишь — у меня сердце каждый раз екает, так и хочется закричать тебе вслед: «Куда же ты, сынок, мимо родного дома проходишь...»

И только теперь Кафар понял, что старой Соке попросту тоскливо одной, что рада она хоть издали взглянуть на человека, напоминающего ей сына..

И вдруг ему пришло в голову, что и его мать сейчас точно так же тоскует одна, точно так же смотрит целыми днями на дорогу. Подчиняясь невольному порыву, он встал и, обняв старую Сону за плечи, поцеловал сначала ее седые волосы, покрытые черным платком, а потом сухие, старческие руки. Это было так неожиданно, что старуха словно окаменела, не в силах ни произнести что-нибудь, ни отнять у него руки. Ее давно уже потерявшие блеск глаза вдруг ожили, стали больше; она сама хотела сейчас крепко, как сына, обнять его, но почему-то боялась обидеть этим своего гостя. А как бы хорошо было обнять его и сказать: «Да будет бабушка Сона твоей жертвой, сынок...» Сказать ему: «Нет, не бабушка, да будет мама твоей жертвой, положи голову мне на колени, чтобы я думала, что это мой Кямиль вернулся. Буду гладить твою головку, гладить, ласкать... Так спокойно сердцу, что умру теперь у тебя на руках, сынок...»

Но ничего этого так и не сказала старая Сона...

Смеркалось, на улице мало-помалу зажигались огни. Снег теперь валил еще сильнее, заметая в занесенном дворе следы Фариды и Кафара. Он стоял у окна, глядя на эти следы, и думал о том, что старой Соне, наверно, холодно по ночам. Конечно, холодно — разве можно одной газовой плитой согреть и веранду, и комнату? Бедная старуха, даже печки путной у нее нет...

Дверь в его комнату вдруг распахнулась, вошла без стука Фарида.

— Ба, да ты никак снова об этой старухе думаешь!

Кафар, с трудом отвлекаясь от своих мыслей, недоуменно посмотрел на нее и спросил, будто и не слышал ее слов:

— А где Гасанага, что-то его не слышать?

— А что тебе Гасанага? Соскучился? У матери я его оставила.

— Да нет, я ничего... просто не видно его, вот и спросил.

— Мама его не отпустила, — смягчилась Фарида и, шагнув из комнаты, поманила его на веранду. — Ладно, иди-ка лучше сюда.

Кафар послушно вышел на веранду и увидел, что Фарида накрыла там стол. Посередине его стояло большое блюдо с пловом.

— Мама прислала. Давай-ка поедим, пока не остыл. Я у нее есть не стала, подумала, лучше мы с тобой здесь поедим. Вместе. — Пристально посмотрев на него, она принялась раскладывать плов по тарелкам. — Так даже лучше, что Гасанага у мамы остался — оттуда до его школы даже ближе Да и, метро у нее под боком, а на метро удобнее всего ездить. Пусть там поживет, пока погода не установится. Или ты предпочел бы, чтобы здесь была толчея? А? — Фарида подмигнула ему и лукаво улыбнулась.

Кафара словно окатило жаром.

— Вовсе я не хочу толчеи, — улыбнулся он ей в ответ и взял Фариду за руку.

Фарида потянулась к нему через стол, но, когда Кафар привстал и наклонил голову для поцелуя, она вдруг резко отпрянула.

— Нельзя быть таким нетерпеливым.

На Фариде сегодня — по погоде — было теплое шерстяное платье. Оно плотно обтягивало ее фигуру — казалось, что широкие бедра Фарида вот-вот разорвут ткань. Кафар долго не мог оторвать от нее глаз, потом перевел взгляд на ее ставшие еще более притягательными, еще более мягкими губы. Фарида улыбнулась.

Взгляд ее был таким говорящим, что Кафар снова не выдержал, встал из за стола и с такой силой поцеловал ее, что Фарида вскрикнула. С трудом вырвавшись из его рук, она воскликнула, махая руками:

— Да ты же совсем как дикарь! — и неизвестно, чего больше было в этом ее восклицании — обиды или наслаждения. — Ну ничего, я тебе отплачу за все. Будь готов к сражению!

— Я готов, — рассмеялся он.

Истинный смысл этих слов Кафар почувствовал гораздо позже, когда они лежали в его кровати. Так захотела сама Фарида, и, как выяснилось позже, в это она тоже вкладывала определенный смысл.

— На этот раз я приду к тебе в гости, — с угрозой сказала она после ужина.

...Он ждал ее, лежа в постели. В комнате было темно, и только когда Фарида легла рядом с ним, Кафар понял, что она совершенно голая.

Обняв Кафара за шею, она вдруг с такой силой прижала его к своей груди, что у Кафара перехватило дыхание. Задыхаясь, Кафар забился в этих объятиях и, с трудом высвободив лицо, чтобы глотнуть воздуха, с минуту лежал, оглоушенный, как человек, долго пробывший под водой.

— Ты же чуть не задушила меня, — наконец смог выдавить он.

— А ты как думал! — торжествующе захохотала Фарида. — Я ведь тебя предупредила!

— Да разве ж так можно...

— Почему же нельзя? Теперь будешь знать, какая я. Ненавижу дохлых мужчин.

Кафар осторожно спросил:

— А меня ты к каким относишь?

— Тебя?.. Поначалу ты тоже былдохлый... — А теперь?

— Теперь? Понемногу оживаешь. Скажи спасибо мне.

Тут Кафар с такой силой сжал ее в объятиях, что она вскрикнула:

— Ой, мамочки!

Теперь захохотал Кафар, и Фарида вроде бы обиделась.

— Слушай, да ты настоящий медведь!

И когда он захотел, теперь уже ласково, обнять ее за талию — Фарида не отстранилась.

...Они молчали, охваченные истомой. На миг Фариде почудилось даже, что ей снится все это — так остры, так сладостны были забытые, казалось бы навсегда, ощущения.

Обессилел и Кафар. Правда, и прошлой ночью, когда Фарида уснула, он чувствовал себя истомленным, но в тот раз усталость его быстро прошла. А теперь он чувствовал опустошенным всего себя — безвольны были его мышцы, кости стали легки, как ветошь. На какое-то мгновение это даже испугало его — а вдруг он теперь останется таким навсегда?

Фарида теперь казалась ему далекой, чужой. Отчего-то пришла на ум Гюльназ, и так вдруг захотелось увидеть ее, что если бы можно было — он прямо сейчас отправился бы в деревню...

— О чем ты думаешь?

Он вздрогнул от ее вопроса, пробормотал:

— Так, ни о чем...

— Зачем обманываешь?

— С чего ты взяла, что обманываю?

— Хочешь, скажу, о чем ты сейчас думал?

— Ну, скажи.

— Но с одним условием.

— С каким еще условием?

— Если угадаю, что у тебя на сердце, — запираяться не станешь. Ладно?

Кафару вдруг стало не по себе.

— Так ты еще и колдунья? — попытался пошутить он.

Фарида прошептала грустно:

— Чтобы это знать — не надо быть колдуньей...

— Ну ладно, говори, что ты там угадала.

— Мужчины, переспав с чужой женщиной, всегда вспоминают женщин, которых любят...

Эти слова так обожгли Кафара, что он почувствовал, как язык его прирастает к гортани. Он чуть-чуть отодвинулся к стене.

— Ну, допустим, что ты права. А женщины? О чем, по-твоему, думают в такие минуты женщины? Они кого вспоминают?

— И они вспоминают мужчин, которых любят.

— Вот оно что... — Он не знал, как ему быть: то ли обратить все в шутку, то ли притвориться рассерженным. Но она опередила его.

— Хочешь, я даже скажу, о ком ты сейчас мечтаешь? Ты мечтаешь о Гюльназ.

На этот раз Кафар струхнул не на шутку. — О ком, о ком?

— О Гюльназ.

— А это еще кто такая? — как можно безразличнее спросил Кафар. «Что она, в самом деле, колдунья, что ли?» — судорожно думал он.

— Ну, так как, угадала?

— А ты о ком думаешь? — Кафар нервничал и прекрасно понимал, что Фарида знает, почему он так нервничает — не зря же она сейчас так спокойна. И это ее спокойствие совсем вывело его из равновесия. — Могу я тоже поинтересоваться, о ком ты думаешь?

— Нет, ты ответь сначала, угадала я? Молчишь? Ну, значит, угадала. Значит, со мной ты тушишь свой огонь, а любишь другую, так, да?

Она вскочила с кровати и кинулась к выключателю. Кафар зажмурил глаза, но даже так, из-под прикрытых век, он видел ее полные бедра, белые груди с похожими на спелые ягоды малины пятнышками сосков.

Она выбежала куда-то, но тут же вернулась снова. Кафар все еще лежал с закрытыми глазами.

— На, читай, — сказала она и стала у изголовья. Кафар открыл глаза и увидел, что в руках у Фариды какое-то письмо. Он нерешительно протянул руку, но Фарида резким движением разорвала вдруг конверт пополам, сложила обрывки и, рванула их еще раз, еще. А потом потушила свет и снова легла рядом.

— Не прочитаешь! — сказала она торжествующе. Кафар почувствовал в темноте, что обрывки письма касаются его лица. — Все, кончилась сказка о Гюльназ! Кончилась раз и навсегда.

— Мы любим друг друга. И родители наши знают об этом. Этим летом мы должны были обручиться.

— А я? — Фарида села в кровати. — Что ж я, просто игрушка для тебя?

— Ты... Я... Но я же ничего тебе не обещал...

— А чего же ты тогда заваливаешься со мной спать?

— Но ведь ты же сама... Тебе ведь самой хотелось... было приятно... вот я и...



— Вот ты и спал со мной, чтобы огонь свой потушить, да? А что дальше со мной будет — ты об этом подумал? Я что, тебя заставляла с собой спать? Ну скажи, скажи. Разве не ты, как кот, крался каждую ночь ко мне в комнату, облизывал меня, словно я медом намазана? Разве не ты, весь дрожа, шептал мне заплетающимся языком: «Фарида, дорогая моя»? Или это был кто-то другой? Что ж, и слова эти я тоже насильно заставляла тебя говорить? Или ты что — принимал меня за уличную девку? Думал, одна, мол, без мужа, с виду красивая. Поживу с ней в свое удовольствие студенческие годы — пусть она меня кормит, обстирывает, а я потом уеду к своей любимой и женюсь на ней. Так ты думал? А подумал ты о том, что затронул мое сердце? Ранил его!..

— Сердце твое давно ранено. Джабар его ранил... Фарида надолго затихла, даже плакать перестала.

Вытерла слезы и повернулась к Кафару.

Он лежал с открытыми глазами. В душе его уже не оставалось и следа от еще недавно сжигавшей страсти, словно рядом лежала не красавица Фарида, а высохший кусок дерева.

Встав с постели, Фарида накинула на себя предусмотрительно захваченный халат, медленно, словно в полусне, начала застегивать на нем пуговицы. Он смотрел на нее, а сам снова и снова вспоминал Гюльназ. «Как же я мог? — проклинал он себя. — Чем теперь все это кончится?»

А Фарида все никак не могла справиться с застежкой. В сердцах она рванула халат так, что одна из пуговиц оторвалась, упала со звонким щелчком, завертелась на полу. А когда угас и этот звук, в комнате повисла томительная тишина. Слышно было лишь их возбужденное дыхание.

Фарида снова зажгла свет, как-то робко пристроилась на краю кровати.

— Ты мне, наверное, не поверишь, но никто не смог так захватить мое сердце, как ты, — сказала она.

Кафар иронически усмехнулся:

— Ну да! А Джабар? Ведь он был твоим мужем, у вас даже ребенок есть...

— Правильно, он был моим мужем. Но разве с ним я жила по-человечески?

— Ты что, не любила его?

— Нет, не любила. С тех пор, как узнала тебя, так и поняла, что его никогда не любила. Просто нравился мне, вот и все. — В голосе Фариды зазвучала неподдельная печаль, и Кафару подумалось, что таким печальным голосом не обманывают. И все же не удержался от того, чтобы снова не ужалить Фариду:

— Скажи еще, что он тебя насильно похитил... Фарида хоть и услышала иронию в его словах, ответила все с той же печалью:

— Да нет, он меня не похищал. Добровольно за него пошла. Нравился мне — высокий, как ты, только красивее. Вот мне и показалось, что я его полюбила. А уж потом, после свадьбы, и поняла, что не любила. Просто нравился он мне... Все наше несчастье в том, что мы часто любовь с простым желанием путаем. Что бы он ни делал, даже, прости... его поцелуй, его ласки — все в последнее время выводило меня из себя. Ты же меня... Ты же... — Фарида всхлипнула и выбежала в свою комнату.

Кафар чувствовал, как сохнет от волнения горло. Да, ему жаль ее по-человечески, но

вообще-то — при чем тут он? Господи, что он натворил, зачем поддался слабости? И что теперь делать? Жениться на женщине с ребенком? Вот этого ему только и не хватало... Хотя она-то, бедняжка, в чем виновата? А вина Гюльназ в чем? Нет, так ей, Фариде, и надо — она не должна была подпускать его к себе.

Он сжал голову руками и тихо застонал. «Если только она вздумает поднять шум — я пропал. Буду опозорен и перед Гюльназ, и перед матерью, и перед братьями, сестрами, перед всеми знакомыми, родственниками... Нет, завтра же перееду отсюда! Только куда? Да мало ли квартир в Баку?.. А не найду свободной квартиры — останусь пока в общежитии... Ведь сейчас в общежитии места должны быть... Нет места — у друзей пока поночую...»

Мало-помалу Кафар успокоился. Даже достал из книги фотографию Гюльназ и поставил ее на стол. На часах было начало шестого, но спать ему совершенно не хотелось. Пытаясь оживить прошлое, он пристально вглядывался в лицо Гюльназ, шептал ее имя, но как ни старался, перед глазами по-прежнему стояла Фариде, ее белая грудь, ее полные, мягкие губы. Тогда он накинута на учебники, схватил первую попавшуюся под руку книгу, открыл ее, но уже через минуту отложил в сторону. Наконец он потушил свет, замотался в одеяло и крепко зажмурил глаза.

В конце концов он все же заснул. А когда проснулся, за окном уже было по-дневному светло. По-прежнему шел снег, и от этого снега день казался еще светлее, как будто вышло наконец из-за туч весеннее солнце. Но солнце даже и не думало появляться...

И тут до слуха его донесся какой-то странный, надрывный кашель. — Кафар насторожился, напряг слух. Нет, ему это не послышалось — кто-то и в самом деле так надсадно кашлял, словно человека выворачивало наизнанку.

Кафар торопливо оделся, вышел на веранду и увидел обессилено склонившуюся в углу Фариду. Он вдруг вспомнил, что не в первый уже раз слышит этот кашель; до сих пор он как-то не придавал этому значения, думал, что Фариде простудилась. А теперь сердце у него ушло в пятки. «Неужели забеременела?» — подумал он и со страхом посмотрел на ее живот. Халат, как все вещи Фариде, плотно облегал ее тело, отчего живот сейчас казался заметнее, выпуклей. Но Фариде выпрямилась, и живот ее снова стал таким, как обычно. Кафар облегченно вздохнул. «Нет, наверно, все же простудилась. Может, даже сегодня ночью. Разгоряченная, прямо из постели, ходила по дому в чем мать родила... Еще бы не простудиться...»

Он так ей и сказал, когда Фариде отправилась умываться на кухню. Лицо ее было совсем бледно, она еле держалась на ногах.

Фариде посмотрела на него с сердитым удивлением.

— Ты что, ослеп, что ли? Разве не видишь что простуда вовсе тут ни при чем?

— Да посмотри на себя — ты ведь заболела! Хочешь, я сбегаю позвонить, вызову «скорую помощь»?

— Господи, да не больна я, не больна!

— Как же не больна, когда...

— Ты что, и впрямь не понимаешь, отчего меня тошнит?

Кафар сглотнул слюну и отвел глаза в сторону. «Господи, пожалей меня, — взмолился он. — Ну сделай так, чтобы не была она беременной. Сделай что-нибудь! Лишь бы не была беременной!» Фариде прекрасно понимала, о чем он думает, почему так горестно скривился,

и потому сказала, усмехнувшись:

— Поздравляю тебя, у нас будет ребенок.

— Зачем ты так шутишь? — Лицо Кафара исказила такая гримаса, что Фарида сначала даже перепугалась; но тут же подавила испуг и весело сказала, с удовольствием выговаривая каждое слово:

— С чего бы мне шутить, если я уже на третьем месяце.

— Но ведь ты же говорила, что тебе сделали какой-то укол, что теперь у тебя детей не может быть. — В отчаянии он схватился за голову.

Фарида громко расхохоталась:

— Слушай, да ты что, и в самом деле такая темная деревенщина? Да если б даже и были такие уколы — что я, с ума, что ли, сошла, чтобы в моем-то возрасте лишать себя материнства?!

— Значит, ты специально хитрила, морочила мне голову — только бы в твоих сетях запутался, да?

— Был бы у тебя ум, была бы воля — никто бы тебя не запутал. Я его, видите ли, в сетях запутала! Ты лучше вспомни, о чем мы с тобой каждую ночь говорили, когда ты лип ко мне, словно я сахарная, когда ты хихикал от радости! Помнишь, что я тебе в эти минуты говорила? Забыл? Ну, так я тебе сейчас все напомним. Когда ты по ночам, вот здесь, лепетал мне: «Фарида, милая, я так скучаю днем в университете без тебя, что сердце готово разорваться...» — разве не говорила я тебе тогда: «Не спеши, не жадничай, я твоя...» А ты закатывал глаза и спрашивал: «Навсегда?» И когда я отвечала: «Да, да, конечно, навсегда», — ты так облизывал меня всю от радости, что, казалось, счастливее тебя и не сыскать человека... Быстро же ты все это позабыл. Правильно я рассказываю или нет? Ну и что же, ты хочешь теперь сказать, что не понимал значения всех этих слов? Ну конечно, откуда тебе их понимать? Ты же, бедняжка, всю жизнь у себя в деревне только и видел красоток, провонявших скотом и навозом, а тут вдруг попал в объятия такого ангела, как я! Я понимаю: разве можно тут не потерять голову от счастья; разве тут можно что-то еще соображать!.. Ты и не соображал... Если б я тогда спросила у тебя: отдашь за меня жизнь? — тут же заревел бы, — что готов умереть прямо сию минуту... Или я опять что-то не так тебе говорю? Ну ладно, хватит. Нечего так хлопать глазами, готовься — скоро будешь отцом...

Пока Фарида говорила, Кафару страстно хотелось ударить ее.

Он сморщился, как от слез, и простонал:

— Фарида, родная моя, милая...

— Ладно, ладно, нечего причитать! Что ты, как нищий! Если так и дальше пойдет — будешь мне противен, как и Джабар.

Кафар был в отчаянии, он готов был сейчас кинуться перед ней на колени, чтобы умолять: можешь считать меня бабой, можешь считать дураком, хоть последним нищим, но только избавь от этой напасти... Может, он и сказал бы все это, но понял, увидев насмешку в глазах Фариды, что лишний раз без толку унижит себя...

— Может, избавимся от него? Я прошу тебя, Фарида...

— Да я скорее не от ребенка, скорее от тебя избавлюсь, ясно тебе? Да и с какой стати я буду «избавляться» — мама моя уже обо всем знает...

— Что? Твоя мать уже знает?

— Да, знает. Но то, что она знает — это еще полбеды. А вот не дай тебе бог дожить до того дня, когда дойдет до брата моего, до Балаги... — Фарида даже побледнела. — Он и тебя, и меня на, куски изрежет.

— Ну, и что же нам теперь делать? — спросил Кафар, запинаясь.

— А что делать? Нам теперь только одно остается...

— Ну что, говори.

— Жениться.

— Что-о?!

— Жениться.

— Ну, конечно, только этого еще и не хватало! Кафар хотел достойно ответить ей, но не было у него слов, которые не унизили бы его самого, успокоили бы сердце, и он не нашел ничего лучшего, как кинуться в свою комнату и запереться.

Фарида подошла к его двери и обидно рассмеялась:

— Ты что думаешь, что меня и защитить некому? Да если я захочу — завтра же будешь ползать передо мной. — Она рванула дверь. — Слышишь, сам за мной бегать будешь, умолять, чтобы пошла в загс.

В возбуждении он стоял у двери, ожидая, что будет дальше. Он услышал, как Фарида одевается. Потом хлопнула входная дверь. Ушла. Еще некоторое время Кафар выжидал — не вернется ли. Но Фарида все не возвращалась, и он осторожно открыл дверь, выглянул во двор — Фарида там не было. Тогда он начал поспешно одеваться — бежать, бежать из этого дома... Нет, не из дома — бежать вообще из Баку. Только вот куда? И как же университет? Ах, да пропади он пропадом, этот университет. Лишь бы спастись, лишь бы избавиться от этой стервы... А что, если Фарида приедет за ним и в село?

До ночи блуждал он по городским улицам, задавая себе этот вопрос. Как сразу переменялась вся его жизнь, в один миг!.. Поднялся ветер, сек по лицу, по глазам острыми, как песок, снежинками. В конце концов, так ничего и не придумав, усталый, выбившийся из сил, он вернулся назад — ему верилось, что он все же как-нибудь сумеет уговорить Фариду. Но увидеться с ней так и не удалось — то ли ее до сих пор не было дома, то ли не захотела ему открывать.

Проснулся он от громкого стука в стекло. Ничего не соображая, Кафар сел на постели. Было еще очень рано. В окне ему видна была громадная, похожая на подсолнух, кепка, а под ней — пара маленьких, злых глаз, лицо, заросшее густой черной щетиной. Все это принадлежало мужчине лет тридцати — тридцати пяти, и мужчина этот кричал ему:

— Ну ты, чего глазами хлопаешь, как баран! Открывай давай, да побыстрей!

Кафар поспешно натянул брюки, рубашку, подошел к двери и тут остановился в нерешительности — мало ли кто это мог быть...

— Вам кого? — осторожно спросил он.

— Да открывай, открывай, это мой брат! — слышался из дома голос Фарида.

— Твой брат? — лицо Кафара вытянулось. — Что его в такую рань принесло?

А усатый по ту сторону двери снова заревел:

— Ты что там, как труп! А ну, шевелись, черт побери, от холода совсем уже дыхание перехватило!

Дрожащими руками Кафар открыл дверь. Усатый с ходу отпихнул его в сторону, прошел в комнату, снял свою похожую на подсолнух кепку и сбил с нее снег; потом задергался, как гусь, стряхивая снег с пальто, оббил о косяк сапоги; пол теперь был весь в снегу; снег тут же таял, растекался по полу лужами. Кафар и вышедшая из своей комнаты Фаридка молча смотрели на эти лужи.

Усатый смерил долгим взглядом снизу вверх сначала сестру, потом уставился на Кафара и спросил сквозь зубы:

— Так ты и есть Кафар? Кафар пробормотал, запинаясь:

— Д-да, э-это я...

— Гм... Значит, Кафар — это ты. Отлично. Видя, что в лице у Кафара не осталось ни кровинки, Фаридка решила прийти ему на помощь.

— Познакомься, Кафар, — улыбнулась она через силу, — это мой брат Балага.

Балага тем временем, не спуская с Кафара глаз, прохаживался по комнате. Хоть и маленькими были его глазки — взгляд их был таким острым, что казалось, будто они сверлят Кафара насквозь; он даже ощутил какое-то жжение в спине. Кафар все пытался поймать этот взгляд, поймать его выражение, но глаза Балаги так бегали, что ему это никак не удавалось. Вдруг Балага подскочил к Кафару и грубо схватил его за подбородок. Кафар вздрогнул; он хотел было вырваться, но не смог даже сдвинуться с места.

— Послушай, ты, чушка деревенская, — Балага несколько раз сильно встряхнул его за подбородок — Ты мне скажи — любишь ты мою сестру или так, решил поиздеваться над ней?

— Да что я такого сделал? — с трудом прошептал Кафар.

Но тот сдавил его лицо еще сильнее.

— Ты что, глухой? Я тебя спрашиваю: любишь ты мою сестру или решил поиздеваться над ней? Ну, кого спрашиваю! — Балага отпустил его подбородок.

— Да, — прошептал еле слышно Кафар, — да...

— Что значит «да», послушай! Что ты хочешь сказать этим самым «да»? Издеваешься? Клянусь твоей жизнью — я тебя во имя чести так искромсаю, что самый большой кусок будет не больше твоего уха! — Для наглядности он схватил Кафара за ухо и больно вывернул его. — И ушки-то у тебя, как назло, такие маленькие! — Балага вытащил из-за голенища нож. — Ну, теперь-то хоть все ясно тебе?! Но тут между ними встала Фаридка.

— Да любит он меня, Балага, конечно, любит.

— А ты отойди, не то прирежу вас обоих! Что он, немой, что ли? Пускай сам отвечает.

Губы Кафара пересохли — как ни облизывал он их языком, ни сухость, ни жар их не исчезали, казалось, они сейчас вспыхнут настоящим огнем. Фаридка, не на шутку встревоженная,

подавала ему глазами какие-то знаки: соглашайся, мол, соглашайся. Кафар наконец собрался с силами.

— Да, люблю, — выдавил он.

— Тогда идите оба за мной.

— Куда?

— К черту! Чего еще тебе не ясно? Моя честь не допустит, чтобы родная сестра жила с любовником, чтобы завтра, когда она принесет в подоле щенка, надо мной смеялась вся округа: «Смотри-ка, Балага, тебя весь город знает, до сих пор ты всех обводил вокруг пальца, а теперь тебя самого обвели — твоя родная сестра неизвестно от кого родила!..» Клянусь вашими жизнями, если хоть один человек скажет мне это — изрежу на куски и вас, и себя. Теперь поняли, нет? И шевелитесь давайте живее! Одевайтесь — и идите за мной!

Когда уже собирались выходить, Балага остановил их.

— Паспорта возьмите.

— Зачем? — растерянно спросил Кафар.

— Чтоб ты мог полюбоваться на них. С чем еще, по-твоему, надо идти в загс?

— Куда?

— Слушай, ты что, опять надо мной издеваешься? Балага снова потянулся к голенищу сапога, и Кафар тут же кинулся в свою комнату.

Впереди пошел Балага, сзади Фарида, а Кафар, как под конвоем, между ними — так они и спустились во двор. Старая Сона сметала снег у своих дверей; увидев их, она поздоровалась, но никто не ответил ей. Больше всего задело старуху, что Кафар не только не поздоровался — даже не посмотрел в ее сторону...

В тот день Кафар впервые в жизни решил выпиться. Правда, и тут ему не повезло — как он ни старался опьянеть, забыть обо всем, ничего не выходило, хмель не брал его.

Домой он вернулся затемно. Тут ждало его новое испытание. Нет, дома теперь все было спокойно — Фарида не сказала ему ни слова упрека, Балаги не было видно. Теперь он даже сам хотел, чтобы Фарида нарвалась на скандал, спросила бы его, где это он до таких пор болтался — он бы тогда сорвал на ней всю свою злость, выложил бы все, что у него накипело... Но Фарида, будто ничего не замечая, быстро встала, помогла ему снять пальто, отряхнула его от снега, повесила в шифоньер и, улыбаясь, сказала: «Господи, да ты же совсем замерз». — «Замерз и замерз, тебе-то какое дело», — пробурчал он в ответ. Фарида и это спустила ему, с улыбкой продолжала ухаживать за ним. Тогда он снова не выдержал. «С чего ты взяла, что замерз, — сказал он, куражась. — Я назло тебе сидел в ресторане и пил...» Фарида, все так же миролюбиво улыбаясь, согласно кивнула: «Ну и правильно. В такую погоду что еще делать — только и пить...» Говоря все это, она откинула белоснежную, аккуратно отглаженную скатерть — под ней, на столе, оказался загодя накрытый ужин: чихиртма из курицы, котлеты, рисовый суп. Суп был на курином бульоне, сверху посыпан сушеной мятой, и аромат его мог позвать к столу и мертвого. Кроме того, на столе оказалась ваза с ярко-красными яблоками, блюдо с зеленью. «Где в такую пору она смогла найти кинзу и зеленый лук?» — подивился Кафар. Казалось, что эта сочная зелень выросла не зимой, а весной и только что сорвана с грядки.

Гасанага сегодня тоже был дома, но почему-то из комнаты матери не выходил. Фарида позвала его, он не отозвался. Она привела его, держа за плечо, повернула лицом к Кафару.

— Ну, давайте поужинаем все вместе.

Кафар хотел сказать ей как можно грубее: «Не нужно мне твое угощение», но вдруг он заметил, как напряжен Гасанага, как он отчего-то насупился, как дрожат его губы, — и сдержался. Он даже подошел к мальчику, погладил его по голове. Но Гасанага резким движением оттолкнул его руку. Кафар смутился. Он даже хотел было уйти, но Фарида остановила его.

— С этого дня он, — Фарида показала на Кафара, — твой папа.

— Папа? Ты что, все еще ребенком меня считаешь? Думаешь, я вообще ничего не соображаю? Я все прекрасно понимаю. Никакой он мне не папа, он твой любовник...

Фарида вlepила сыну звонкую оплеуху. Гасанага заплакал, но даже не сдвинулся с места.

— Любовник, — выкрикнул он злобно. — Любовник!..

Фарида опять ударила его по щеке, но Гасанага, все так же не двигаясь с места, плакал и кричал, не останавливаясь:

— Любовник!.. Любовник!

Тогда Фарида пошла, принесла свой паспорт, раскрыла его перед Гасанагой.

— Вот, видишь? Смотри, смотри — с сегодняшнего дня он мой законный муж...

— Нет, — упрямо твердил Гасанага свое. Фарида его ударила, да так сильно, что мальчик упал. Кафар наклонился, чтобы поднять его, но тот сам тут же вскочил на ноги, извернулся и, вlepив Кафару пощечину, бросился к двери.

— Гасанага, куда ты? — закричала Фарида. — Вернись!

Мальчишка, как был раздетый, кубарем скатился по ступенькам. Фарида кинулась за ним во двор, но было уже поздно — Гасанага неся сломя голову по улице.

— Вернись, оденься хотя бы! — крикнула ста, но Гасанага даже не обернулся. Долго простояла Фарида в надежде, что мальчик все же вернется. Он давно уже исчез из виду, мороз начал пробираться до костей, а она все стояла. Когда Фарида возвратилась в дом, у нее зуб на зуб не попадал; снег на волосах таял, стекая по щекам, казалось, Фарида плачет. И только немного погодя Кафар сообразил, что она и вправду плачет.

— Так и не вернула? — осторожно спросил он.

— Вернешь его, как же! Такой же упрямец, как и его отец... — Фарида горестно вздохнула и вытерла слезы.

...Гасанага, конечно, оказался у бабушки. Как ни упрашивала его Фарида, Кафар так и не поднялся вместе с ней в дом матери. Она ушла одна, но тут же и вернулась.

— Она не отпускает ребенка, — весело сообщила Фарида. — Ну и ладно, здесь ему даже лучше будет. И вообще — в такой снег, в такую метель из Чемберекенда[3] сейчас в город трудно спускаться... Так что ему же будет лучше, если он пока останется здесь, верно?

Она хотела взять Кафара под руку, но он отстранился. К счастью, в этот момент показалось свободное такси. Кафар поднял руку, но Фарида снова прижалась к нему, заглядывая в лицо.

— В Баку такая погода не часто бывает, — сказала она, — давай лучше пешком пройдемся, а?

— Нет, холодно. К тому же я очень устал, да и к завтрашнему дню еще позаниматься надо...

Около них притормозило такси; вздохнув, Фариды забились в угол машины, и до самого дома они не произнесли больше ни слова.

Еда на столе совсем остыла.

— Есть хочешь? — сухо спросила Фариды.

— Нет. Знобит меня что-то, пойду-ка я лучше лягу спать.

— Я тоже спать хочу. — Фариды пристально посмотрела на Кафара и улыбнулась. Но Кафар не принял ее заигрывания, отвел глаза в сторону. Кивнув ей на прощанье, пошел к себе.

Через окно на веранду он видел, как она исчезла в своей комнате, но вскоре опять вышла — в том самом халате в черный горошек. Верхние пуговицы халата были как всегда расстегнуты, и когда она убирала со стола, ему видно было, как колышатся в вырезе ее груди.

Кафар смотрел на нее и чувствовал, как знакомый жар охватывает все его тело; он не выдержал, отбросил одеяло в сторону; хотел было встать, спустил даже ноги, но пол был таким холодным, что ступни сразу начали мерзнуть. Подумав, он снова забрался под одеяло, отвернулся к стене, чтобы не видеть, что делается на веранде. Вот сейчас Фариды вышла из кухни... Прозвучали шаги в ее комнате... Теперь все тихо... Может, пойти к ней? Собственно, какое это теперь имеет значение — он может пойти, может не пойти — все же законный муж... Ладно, подождем, посмотрим, чем все это еще кончится... А чем кончится? Чем же оно еще должно кончиться, если через шесть месяцев на свет появится ребенок?.. А собственно, отчего бы ей самой не прийти сюда? А не придет — ну и черт с ней. И он к ней не пойдет, пусть остается одна... Еще пожалеет обо всем... Можно подумать, что он только о ней и мечтал...

Вдруг Кафар почувствовал какой-то приятный аромат. Что это, откуда? Такой аромат — можно совсем потерять голову. Самое странное, что им словно пропитана вся его постель... Ну да, конечно, это же аромат Фариды... Действительно можно голову потерять от этого запаха... Не зря же он иногда клялся ей: «Твой аромат прекраснее запаха всех цветов на свете. Я иногда чувствую его даже на лекциях».

Так. Вот и в ее комнате погас свет... Открылась ее дверь... Погас свет и на веранде. О, а теперь открывается дверь его комнаты...

Послышался легкий звук шагов, шорох одежды. Он почувствовал тихое дуновение воздуха. Совсем тихое дуновение.

Фариды подняла одеяло, забралась под него и обняла Кафара за плечи. Она покрывала поцелуями его спину, шею, волосы и все шептала, шептала:

— Ты что, хочешь спать один? Хочешь спать отдельно от меня? — Фариды перевернула его на спину. — Чего-чего, а этого ты никогда не дождешься! С сегодняшнего дня ты — мой законный муж. За-кон-ный!

Она впиалась в его губы долгим поцелуем, а оторвавшись, сказала так громко, что, казалось, можно было слышать и во дворе:

— С сегодняшнего дня ты — мой за-кон-ный муж! А я твоя за-кон-ная жена! Понятно? Эх ты, деревенщина ты неотесанная! Когда я была чужой — так ты сам каждую ночь, как голодный волк, забирался ко мне. А теперь, когда я твоя жена, что же ты глаза-то закрываешь? Теперь мы можем спать друг с другом, не боясь никого. Понял, деревенщина!



Фарида произносила свое «деревенщина» так ласково, словно говорила ему «дорогой». Кафар крепко обнял ее.

— Что ты делаешь, Кафар!

Он так вздрогнул от крика Фарида, от неожиданности, что даже задел сломанной ногой о стену; нога занула, и он спросил сердито:

— Что ты кричишь, змея тебя ужалила, что ли?

— Ты что наделал, а?

— Не пойму, что я такого наделал? — Кафар даже привстал в постели, огляделся — вроде бы ничего особенного, если не считать гипсовых крошек на простыне. Ладонью он начал скрести их.

— Зачем ты расковырял свой гипс? Ты что, как мышь какая!

Кафар спокойно оглядел раненую ногу — верхний слой гипса, расцарапанный его ногтями, искрошился, бинты под ним разорваны в клочья.

— Что ты кричишь! Я же тебе говорил — нога там, в гипсе, совсем запарилась.

— Ну, занул! Не ной ты, ради бога, противно даже слушать. Просила ведь тебя потерпеть, а ты... — Она в сердцах махнула рукой. — Э, да что я с тобой разговариваю, как будто с мужчиной. Всю жизнь только и делаешь, что ноешь! Чуть голова заболела — сразу ныть...

— Нет, честное слово, это становится невыносимым. Да будь же ты человеком, Фарида, пожалей меня! Разреши профессору снять гипс, я хоть вздохну посвободнее...

— Ну да, разреши! Они, Муршудовы, только этого и ждут: как увидят, что у тебя все в порядке — тут же исчезнут, а дочку твою срежут на экзаменах, и сядет она тебе на шею. Этого ты хочешь? Спрячь ногу-то под одеяло, спрячь!

Все эти годы, что он жил с ней, Кафар никак не мог понять: почему он так боится Фарида?

Сколько раз уже говорил себе: хватит, сколько можно терпеть ее выходки, ее грубость, сколько можно быть таким мягкотелым; даже клялся, что если Фарида еще хоть раз вздумает крикнуть на него — он тоже закричит, а коли уж и тогда не угомонится — побьет ее, как собаку. Но стоило Фарида очередной раз по пустякам поднять крик, как он снова отмалчивался, уходил куда-нибудь, лишь бы не слышать и не видеть ее... И самое грубое, что сумел он сказать ей за все эти годы, были слова: «У меня от тебя голова болит», над которыми она тоже потешалась вволю. Началось это едва ли не в самые первые дни совместной жизни, в те дни, когда Фарида, по ее собственному выражению, еще не успела показать ему своего настоящего лица. Однажды, когда она устроила ему скандал из-за скатерти, облитой чаем, он спокойно и ласково сказал ей: «Фарида, родная моя, зачем мы будем трепать друг другу нервы из-за всякой ерунды? Давай помнить, что все несчастья происходят как раз из-за нервов...»

Фарида перестала кричать, посмотрела на Него с каким-то сожалением и вдруг расхохоталась: «Слушай, если ты мужчина, то и разговаривай со мной, как мужчина. Хочешь мне что-то ответить — ответь, но сделай это, как делают мужчины, а не морочь мне голову своими проповедями!..»

С этого дня Кафар и решил для себя, что единственный способ избавиться от криков Фарида — это не обращать на них внимания.

Вот и сейчас он ничего больше не сказал ей, молча убрал ногу под одеяло и, натянув его на голову, отвернулся к стене.

Последнее, что сказала ему тогда Фариды, было: «Ты слышишь, я даю тебе всего три дня. Какое сегодня число? Так, двадцать пятое января. Значит, сегодня ты выезжаешь... завтра, послезавтра и третий день живешь в своей деревне, любишься там своими кривобокими, воняющими баранами-красавцами, лижешься со своей мамочкой, а двадцать девятого ты как штык должен быть здесь, перед моими глазами. Клянусь богом, клянусь жизнью Гасанаги, если тебя двадцать девятого здесь не будет — на следующий же день беру с собой Балагу и тридцатого приезжаю к вам... — Перед взором Кафара тут же возникло заросшее черной щетиной лицо Балаги, его маленькие колючие глазки. — Если что — я там у вас такую бурю подниму, что всю твою деревню с лица земли сметет. Или тебе что, трех дней не хватит для того, чтобы посмотреть на эту вертихвостку? — Фариды имела в виду Гюльназ. — И еще имей в виду, если я вдруг узнаю, что ты ходил к ней на свидание — я тебе... глаза выцарапаю! Запомнил?»

Кафар, до сих пор отмалчивавшийся, чтобы не давать пищи ее красноречию, на этот раз вынужден был ответить:

— Запомнил, запомнил. Можешь не волноваться — я еду повидаться с матерью, сестрами, с младшими братьями...

...И даже непрерывный, обременяющий своей нудностью перестук вагонных колес не мог заглушить ее голоса, всю дорогу звучавшего в ушах Кафара. И только когда он добрался до своего села, когда сошел с машины, свернул с асфальтированного шоссе на проселок и увидел родной дом — и даже не дом еще, а растущий за домом высокий тополь, — только тогда перестал звучать в его ушах голос Фариды; и вдруг — словно был до сих пор глухим, а теперь неожиданно к нему вернулся слух — Кафар ощутил все звуки окружающего его мира... Прекрасная солнечная погода стояла в их краях, а снега здесь не было и в помине.

Кафар невольно ускорил шаг. Он жадно разглядывал все, что было вокруг; начали встречаться соседи, и Кафар останавливался, чтобы поговорить с ними, расспросить о житье-бытье. Счастью его не было предела — ведь он столько мечтал об этом дне, когда впервые приедет в село уже студентом университета... А как Гюльназ, — подумалось ему, — тоже приехала или еще в Кировабаде? Или она вообще не приедет, останется на каникулы у тети? Нет, обязательно должна приехать...

Гюльназ жила всего через четыре дома от них... Как хорошо было бы сразу зайти к ней... Но тут он опять услышал голос Фариды, ее предупреждения; голос этот звучал в ушах так явственно, так оглушительно, что Кафар не расслышал даже лая несущихся к нему собак — они только беззвучно разевали пасти...

И первое, что дошло до него, когда опять вернулся слух, были слова матери:

— Как же ты вытянулся, сыночек! Да стану я жертвой дорог, которые привели тебя сюда, сыночек мой родной...

Она шла с двумя ведрами воды от артезианского колодца. Поставив их, мать кинулась к Кафару, он бросился к ней, и они обнялись прямо среди улицы.

— Как же ты вытянулся, сыночек, — все говорила она, — как ты вырос за эти пять месяцев. Только похудел очень, видно, замучили тебя эти проклятые занятия...

Сколько мать ни противилась этому, он взял у нее ведра. И хотя она и ворчала для порядка, про себя думала с радостью, что город совсем не изменил ее Кафара — все такой же заботливый, такой же внимательный. Гюльсафа шла рядом с ним и гордо поглядывала

вокруг. Пусть все видят, что ее сын, которого она в такой нужде подняла на ноги, учится теперь в Баку. И не где-нибудь, а в самом университете...

— Поздравляю тебя, Гюльсафа, — сказала одна из встретившихся по пути соседок.

— Чтоб и ты всегда жила в радости. Дай бог и тебе дожить до такого радостного дня!

А когда они проходили мимо дома Гюльназ, мать сказала с улыбкой:

— Гюльназ тоже приехала. Вчера. Спрашивала о тебе. Поправилась, такая красивая стала — любо-дорого посмотреть. Уж на что я — женщина все-таки, а и то не могла на нее равнодушно смотреть.

Кафар даже споткнулся, да так, что вода выплеснулась из ведер.

— Видишь, как хорошо все, мой родной! Примета такая есть: воду пролить — к радости. — Мать была так счастлива, что даже слезы появились у нее на глазах. Смахнув их, она закричала на весь двор:

— Ребята, где вы! Смотрите, кто к нам приехал!.. Братья и сестры Кафара высыпали из дома и облепили его со всех сторон.

Обойдя в тот свой приезд весь сад, Кафар подумал о том, что порядок, который завел здесь отец, пока еще держится. Под деревьями было чисто — видно, еще осенью сгребли палые листья и отсохшие ветви, перекопали приствольные круги. Земля здесь была влажной — видно, совсем недавно прошли сильные дожди.

Сквозь голые деревья соседских садов далеко просматривались усадьбы села. Он нашел дом Гюльназ. Ему хорошо было видно, как посверкивает время от времени лопата — это перекапывал землю в саду ее дедушка. «Разве не рано еще заниматься землей?» — подумал Кафар. Но потом он вспомнил, что и отец иногда вскапывал землю в самом начале зимы.

Верно, отец любил подготовить землю в самом начале зимы, а то и в конце осени. «Пусть теперь снег ложится, — говорил он. — Если вскопанное остается на зиму под снегом, земля становится мягкой-мягкой, а уж если весной перекопать ее еще раз — и вовсе делается, как сливки. Что бы ты ни посеял в нее — обязательно взойдет».

А когда-то здесь, на этой самой земле в саду, было даже отведено место для пшеницы. Нашлась у них старая, еще дедовская соха, и вот этой сохой они обрабатывали под пшеницу землю. Брали в колхозе волов, Кафар садился между ними, погонял, а отец наваливался на ручки сохи. До сих пор помнит Кафар, что каждый раз доставался им один вол, слепой на правый глаз, и отцу всегда приходилось впрягать его с левой стороны, потому что когда вол шел справа, то часто сходил с борозды.

А на следующий год отец раздобыл плуг. Кафар обрадовался, полагая, что плуг будет вести легче, чем соху, ведь у него такой большой и широкий лемех; и вообще, им, наверное, можно будет вспахивать землю безо всякого труда... Но поди ж ты, все оказалось совсем наоборот... Стоило отцу начать погонять волов — как в ту же минуту Кафар чувствовал, что плуг вот-вот выскочит из земли. И выскакивал.

Отец хоть и сердился, но плуга у Кафара не отнимал. «Ничего, — говорил он, — постепенно научишься. Мужчина должен быть мастером... Если у человека нет мозолей. — все равно, о чем тут речь: о руках или о мозге, — то никакой он не мужчина. Никому такой не нужен...»

Когда пшеница созревала, отец, мать, Кафар с младшими братьями — все брали в руки серпы и шли жать, вязать снопы. А потом недалеко от дома, справа от ворот, устраивали гумно. Под руководством отца они тщательно готовили это место, расчищали его от травы,

сорняков, мусора. Потом распускали снопы, равномерно раскладывали их на середине площадки. Отец связывал вместе пару громадных, тяжелых молотильных досок, впрягали в них быков или лошадей, и Кафар, стоя на этих досках, погонял животных по кругу. Братья и сестры тоже вскакивали на доски, чтобы они были тяжелее — тогда пшеница обмолачивается быстрее, тогда в колосе не задерживается ни одного зернышка.

Потом они переивали зерно лопатами. Тогда и отец, и мать, да и все дети молили бога о том, чтобы поднялся легкий, совсем небольшой ветерок. Мать даже начинала напевать:

Приди, Хызыр, приди,

Принеси с собой ветерок.

Пшеница наша поспела, Хызыр.

Легкий пришли ветерок...[4]

Потом пшеницу пересыпали в мешки, мешки складывали в погреб...

Хлеб из этого зерна получался каким-то необыкновенно золотистым. И все, что пекли из него — лепешки, сдобу, чуреки, — все было таким ароматным, таким вкусным... А чтобы ароматы эти не дразнили прохожих попусту, чтобы никого не вводить в грех, выносили каждому прохожему по лепешке. И прохожий с удовольствием ел хлеб и говорил: «Желаю, чтобы хлеба у вас всегда было вдоволь, желаю, чтобы тесто ваше всегда получалось благодатным». И действительно, тесто из своей пшеницы было таким благодатным, что не умещалось в квашне, убегало, и матери его приходилось ловить по краям, водворять на место... Мать обязательно посылала хлеб и всем соседям. А соседи, когда пекли хлеб — всегда посылали им. «Может, — думали они в таких случаях, — соседи в этом году еще не пекли своего хлеба, может, кто-то болен в их доме или есть там беременная женщина — вдруг ей захочется свежеспеченного хлеба? Нельзя ведь дразнить беременную женщину соблазнительными запахами, верно?..»

Кафар вдруг явственно ощутил этот аромат, еще, кажется, хранящий теплоту соломы, свежемолотой муки — Он растерянно оглянулся в сторону старого гумна. И... тяжелая печаль придавила душу: гумно давно уже заросло сорняками. Рядом, у водопроводной трубы, мама посадила несколько грядок овощей — лука, киндзы, мяты, перца. Зелень давно уже отбушевала, теперь на ее месте остались одни иссохшие стебли.

Кафару, в его печали, так вдруг захотелось знать, что кто-то здесь, в их саду, опять будет пахать землю, бросать в нее зерна, готовить гумно; но тут же он усмехнулся в душе над своими несбыточными мечтами: полянка в саду, на которой они сеяли пшеницу, давным-давно заросла каким-то кустарником, молодыми деревьями.

Он поискал секач — хоть немного бы расчистить поляну, но так и не нашел его. «Да мы им давно уж не пользуемся, — объяснил брат. — Забросили, наверное, куда-нибудь...» Тогда Кафар взял лопату поострей и взялся за дело так горячо, что после шестого или седьмого куста почувствовал, как покрылись волдырями ладони, как заломило поясницу.

Он услышал, что его зовет мать, оглянулся на этот зов и побледнел: сердце его ушло в пятки — мать сидела под черным инжиром. Кафар прекрасно понял, что все это значит...

Мать позвала его, и Кафар ускорил шаг. Старая Гюльсафа с восхищением посмотрела на сына, севшего справа от нее, и сказала, не скрывая своего любования:

— Да буду я жертвой роста твоего, сынок. Обошел ты наш сад, кое-где руку приложил — и словно весь мир подарил мне. Значит, руки твои еще не отвыкли от работы. Ты уже постарайся, чтобы не отвыкли... Я-то знаю: если мужчина отвык от земли — все пропало, он уже пустое место и больше ничего... Бог даст, закончишь свой университет, станешь большим человеком. Вернешься тогда домой, возможностей у тебя больше станет — вот и будешь следить за нашим домом. Уж тогда-то, я думаю, ты его отремонтируешь. Верно? Ты посмотри только: трещина в стене все растет...

Кафар вслед за матерью оглянулся, посмотрел на дом, на осевшую стену и, как и она, глубоко вздохнул.

— Да вознесутся к горным вершинам твои вздохи, сердце мое родное, не думай сейчас об этом — ведь дом наш пока еще стоит, не остались же мы на улице, верно? Слава богу, дом в два окна у нас пока есть. Просто я о будущем думаю. А появятся у тебя возможности — даст бог, построишь нам двухэтажный. Почему, скажешь, двухэтажный? Ну, прежде всего потому, что я до смерти люблю двухэтажные дома. И потом, раз уж ты теперь глава в этом доме, пусть он хоть чем-то отличается от других... Ах, Кафар, какое это удовольствие — сидеть на втором этаже, на балконе, любоваться садом, посматривать на соседей и, наслаждаясь утренней или вечерней прохладой, пить чай из самовара. Разве я не права, родной?

— Права, мама. Конечно же, права.

— Пусть господь исполнит все наши мечтания, в том числе и мои. — Тут взгляд ее упал на руки сына. — Ого, да у себя все ладони в волдырях!

— Ничего, мама, пусть! Отвык от работы, вот волдыри и повыскакивали.

— Да, пожалуй, это так...

Он спохватился — забыл спрятать от нее руки, забыл, что мать, каждый раз глядя на них, говорила: «Твои руки, сынок, как две капли воды похожи на отцовы. Только у него покрупнее были, поморщенистей...»

А сейчас вот не успел спрятать руки, и услышал, как мать еле слышно прошептала:

— Ах, Махмуд...

И оба они вздрогнули. Мать, пряча глаза, куда-то заторопилась, быстро пошла в нижний конец сада, взяла оставленную им лопату и принялась перекапывать землю под старой яблоней. Даже отсюда он видел, как мать то и дело подносила руку к глазам.

Кафар вышел за ворота и закурил, поглядывая в сторону дома Гюльназ. И, словно его взгляды имели какую-то силу, на улице появилась младшая сестра Гюльназ, улыбаясь во весь рот, подошла к нему.

— С приездом, братец Кафар! — Она посмотрела по сторонам, убедилась в том, что поблизости никого нет, и добавила шепотом: — Гюльназ наша тоже приехала. Вчера утром. — Сказала и убежала, исчезла в воротах своего дома.

Кафар не спешил уходить с улицы, и дождался — немного погодя с двумя ведрами в руках вышла из тех же ворот сама Гюльназ. Он понял, что направляется она к артезианскому колодцу, а раз так — непременно должна пройти мимо него.

«Дождаться ее или скрыться? — Кафар отступил на шаг к своим воротам. — Как я посмотрю ей в глаза? Что скажу, если спросит, почему не отвечал на ее письма? Разве сказать... Ведь рано или поздно должна же раскрыться вся эта ложь, должна же она будет узнать обо всем... Узнает — тогда все разом и кончится... Но разве уже сейчас не все кончено?..» Сердце

Кафара вдруг ухнуло в какую-то пустоту, словно кто-то в мгновение ока вырвал все его внутренности. Так пусто было внутри, словно ничего уже у него теперь в жизни не будет — ни радостей, ни печали...

Гюльназ поравнялась с ним и остановилась.

— Здравствуй, — сказала она, улыбаясь.

Мама была права. Гюльназ действительно стала просто красавицей. Как хотелось Кафару так же открыто улыбнуться ей навстречу! Но ничего у него не выходило, словно намертво одеревенела кожа на скулах.

— Здравствуй, Гюльназ.

— Что это ты такой грустный?

— Кто? Я? Ну что ты, я вовсе не грустный... — На этот раз ему все же удалось через силу улыбнуться.

— Да что я, не вижу, что ли, у тебя в лице — ни кровинки! Ты не заболел?

— Что? А, да, наверно... Сердце болит.

— Сердце? С каких это пор? Ты же, помнится, никогда на него не жаловался.

— Нет, не жаловался? Ну извини, это я пошутил.

В саду немного поработал — вот, видно, и простудился слегка. А может, еще в Баку простудился... — В Баку, наверно, погода ужасная, да?

— Ужасная — это еще слабо сказано. Я когда выезжал — снег шел вовсю, да еще и хазри дул. Знаешь, что такое хазри? Пожалуй, даже хорошо, что не знаешь. Если хазри поднимается вдруг среди лета — человека с ног валит. А уж какую бурю он поднимает зимой. Бр-р... А как погода в Кировабаде?

— Хорошая погода...

— Ну... А как занятия? Сессию сдала?

— На пятерки.

— Молодец. Значит, опять отличницей будешь?

— Буду. А как твои успехи?

— Мои? Четверки-пятерки.

— Что же так? Кафар пожал плечами.

— А что еще студенту нужно? Чтобы стипендия была — и четверок хватит. Студенческие деньги и с четверками приятны, разве не так? — Он снова через силу улыбнулся.

Гюльназ смотрела на него с обиженным недоумением. Да, видно, не такой она представляла себе их встречу. Кафар не смог выдержать этого взгляда, отвел глаза.

— Ну, что у тебя еще интересного? Гюльназ вздохнула:

— Да что уж там... Похоже, обо всем уже переговорили — и о погоде, и денежный вопрос

решили...

— Действительно, о чем бы нам еще поговорить... Как родители?

— Хорошо. И соседи, и все знакомые, и родственники — все хорошо. Даже собака наша хорошо, шестерых щенков принесла. И представь, щенки все здоровы и чувствуют себя тоже хорошо... Ты доволен? — Губы Гюльназ дрожали, в голосе слышались слезы; она схватила ведра и, не попрощавшись, пошла к колодцу.

...На третий день вечером Кафар, улучив момент, когда в доме не было ни братьев, ни сестер, ни матери, начал укладывать вещи. Они все сидели в маленькой кухоньке во дворе, ужинали. И вдруг, словно почуяв что-то, в комнату вошла мать, удивилась:

— Что это ты, сынок? Куда собираешься?

— Уезжаю сегодня, мама.

— Уезжаешь? — не поняла она. — Куда?

— Назад, в Баку.

— Да почему же так скоро? Разве у вас занятия не одиннадцатого февраля начинаются?

— Да, тебе верно сказали — каникулы обычно кончаются десятого февраля. Но мы еще во время каникул должны пройти практику. Я и на три-то дня с большим трудом отпросился...

— И что, совсем никак не можешь остаться? Может, я для тебя у врача нашего попрошу справку о том, что ты заболел?

— Нет, нет, мама, остаться мне никак нельзя. Ты уж поверь, это невозможно. Я дал слово, что вернусь через три дня... Декану... профессору дал слово. Если сейчас нарушу — потом совсем из доверия выйду...

— Ну, если все так, родной мой, тогда тебе обязательно надо ехать... Я никогда не соглашусь, чтобы там тебя знали как человека, который не заслуживает доверия. Если мужчина хоть раз не сдержал своего обещания — пиши пропало. Больше уж ему никогда не поверят...

— Спасибо, мама, что ты меня понимаешь. — Кафар обнял мать за плечи.

Гюльсафа совсем расстроилась.

— Но что же это они делают!.. Ты только посмотри, бога ради, что они делают! Ведь они у Vat даже положенный государством отдых отнимают...

И Гюльсафа заторопилась, чтобы успеть собрать сыну корзину с гостинцами...

Фарида еще издали увидела, что в доме зажжен свет; она взбежала по лестнице, ворвалась в комнату и прямо как была, в пальто, бросилась ему на шею, больно впилась в губы поцелуем-укусом. Кафар еле оттолкнул ее.

— Да ты — что, с ума, что ли, сошла?

— Вот так вот и высасывают из человека кровь! — засмеялась она, крепко обнимая его за шею.

Снег с пальто Фарида таял на Кафаре, он чувствовал холодную влагу даже через рубашку. Покосился в зеркало — губы распухли.

Фарида сбросила пальто на старый диван, что стоял у них на веранде, показала на корзину и сложенные на столе деревенские гостинцы.

— Это еще что?

— Мама послала...

— Значит, — расхохоталась Фарида, — это ее подарок невестке? Дай ей бог всегда быть такой щедрой. Ну ладно, ладно... О, а это что еще за камешки?

— Это гуруд.

— Да? Ну, и из чего его делают?

— Из процеженного кислого молока. Скатывают такие шарики, кладут на солнце, чтобы они высохли. А потом его хоть несколько лет хранить можно. Потому и называется — гуруд.

— Ну и словечки придумываете вы, деревенские, — засмеялась было она и вдруг снова вцепилась в Кафара. — А ну, посмотри мне в глаза. — Кафар, опешив, покраснел под ее изучающим взглядом. — Та-ак... Не зря, значит, видела я сон!

— Сон? Какой еще сон? — растерянно спросил Кафар.

— На следующий день после твоего отъезда мне приснилось, что ты виделся со своей вертливосткой.

— Не смей так говорить! — Кафар поднял руку, словно хотел ударить ее, но Фарида даже не вздрогнула.

— Это что? Это ты на меня руку поднял? Ты? Да как ты?.. Ты что, до сих пор не знаешь моей силы?

Да, он уже знал ее силу, ее власть над собой. И потому поспешил спрятаться от нее. Он слышал через дверь, что она никак не успокоится, ворчит так, чтобы он все слышал: «Надо же, как обнаглел! Ишь ты, съездил в свою вонючую деревню, набрался там храбрости... А где же она, твоя храбрость, до сих пор была?»

Ему хотелось выйти, ответить ей. Но она знала, Фарида, куда ударить...

...Как-то вечером они возвращались домой из кино. Билеты, конечно, купила Фарида и, как только он вернулся с занятий, пристала к нему как банный лист: мол, в городе индийский фильм идет, билеты уже есть...

Совсем недалеко от их дома, на углу одной из нагорных улиц, стояли трое парней, о чем-то громко между собой говорили, пересмеивались. И когда Кафар с Фаридой проходили мимо, один из них крикнул:

— Клянусь жизнью, всегда так несправедливо получается: самая вкусная груша в лесу медведю достается. Ты только посмотри на эту мошку и на красавицу рядом с ним. Пах-пах-пах, что за красавица!

Фарида замедлила шаг, ожидающе посмотрела на Кафара. Но он потянул ее за руку. «Охота тебе обращать внимание на каждого бездельника», — прошептал он.

Тогда Фарида вырвала вдруг у него руку и вернулась к парням. Кафар замер. А Фарида, подойдя к тому, который кричал, не говоря ни слова, вlepила ему такую пощечину, что с головы парня слетела его широкая кепка. Он посмотрел долгим, непонимающим взглядом на



кепку под ногами, потом перевел взгляд на Фариду, и едва он поднял руку, чтобы ударить ее, как на него тут же навалились товарищи, повисли, оттащили в сторону, на ходу натягивая на него кепку.

Фарида, усмехнувшись, вернулась к Кафару. Они уже отошли на какое-то расстояние, когда услышали, что парень, получивший оплеуху, снова начал рваться из рук.

— Вы что, черт бы вас побрал?! — орал он. — Почему вы не дали мне распороть живот этой шлюхе!

— А Балага? Что бы ты ему сказал, а? Ведь это его сестра Слава аллаху, что мы ее узнали!

— Какой еще Балага?! Да ты что!.. Неужели того самого?..

— Того, того! Это его родная сестра. Парень, получивший оплеуху, вдруг заржал.

— Ах черт, ее ручка никак не уступит ручке ее братца. А ну, поклянитесь, что Балага ни о чем не узнает! — И парни, продолжая пересмеиваться и кричать на всю улицу, пошли своей дорогой.

Кафар хотел было снова взять Фариду под руку, но она вырвалась, не оглядываясь, быстро пошла вперед...

...Он слышал, как она сейчас непрестанно ходит из своей комнаты на веранду, обратно — и ни на минуту не перестает ему выговаривать. Потом, все так же ворча, она перебралась на кухню, занялась, как он понял, приготовлением ужина. Но и оттуда, с кухни, слышал он ее голос: «Нет, вы только посмотрите, пожалуйста, как обнаглел! Ему там что-то наговорили, так он теперь считает, что должен изображать бешеного пса здесь! Забыл, видно, с кем имеет дело. Да даже если бы я была слабой женщиной — подумал бы о Балаге, прежде чем поднимать на меня руку! Да ты знаешь, что с тобой будет, если ты меня только пальцем коснешься?»

Не в силах успокоиться, Фарида ворвалась в его комнату.

— Да ты знаешь, что с тобой Балага сделает? И наплевать ему будет на то, что ты мой муж, ясно тебе?

Кафар читал книгу, точнее, держал перед собой раскрытый «Тихий Дон», но не понимал ни слова; строчки плясали перед глазами, смешивались. Фарида вырвала у него книгу и швырнула ее на пол.

— Я с кем говорю! Ты что, меня за человека не считаешь?

Кафар нагнулся, поднял книгу.

— Ну чего, чего ты от меня хочешь? Четыре дня не виделись, а ты вон как меня встречаешь...

— Вел бы себя, как человек — и встретили бы тебя по-человечески!

— Да что я сделал-то?

— Связался со шлю...

— А ну, хватит! Хватит, я сказал!

— Ты... Ты что, снова на меня кричишь?!

— Ну ладно, ладно... Я прошу, умоляю тебя — не произноси больше ее имени. Ведь она даже и не подозревает о твоём существовании.

— Можно подумать, я всю жизнь мечтала с ней познакомиться!

— Ну и прекрасно, оставь тогда эту несчастную в покое!

— «Несчастливая»! Подумать только, как он страдает за эту... В общем, за нее!..

— Страдаю, не страдаю, но у нас с ней все кончено. Кончено. Все кончено. Ты прикончила все это.

— Ты правду говоришь? — мгновенно растаяла Фарида.

— Правду!

— Поклянись жизнью матери!

— У нас жизнью матери не клянутся...

— Ну хорошо, поклянись моей жизнью.

— Клянусь твоей жизнью, что, между нею и мною все кончено.

— Тогда сейчас же целуй меня!

— Что?

— Не понял, да? Слушай, что, в самом деле, с тобой произошло за эти три дня? Я сказала: поцелуй меня. — Кафар послушно прижал губы к ее щеке. — Нет, не так! Вот сюда целуй, — она показала на губы. Когда Кафар приблизил к ней лицо, она вдруг обхватила его за шею, сама притянула к себе. А спустя какое-то мгновение, вдруг обессилев, тихо вздохнула: — Если и ты бросишь меня, я покончу с собой. Поверь мне, покончу с собой.

Зазвонил телефон. Чимназ кинулась было к нему, но Фарида остановила ее.

— Ты занимайся, занимайся, — сказала она и сама сняла трубку.

— Алло? Товарищ Давыдов?... Слушайте, вы нам не угрожайте! Я вам сама так могу пригрозить, что дорогу домой позабудете!

Угроза подействовала. Фарида удовлетворенно хмыкнула, слыша, как следователь снизил тон.

— Но послушайте, дорогая, — оправдывался теперь Давыдов, — послушайте, матушка, что же я вам такого сказал, в самом-то деле... Просто я прошу: или давайте закроем это дело совсем, или будем доводить его до конца. Войдите и в мое положение: не могу же я так затягивать следствие, верно? Меня ведь тоже могут за это взгреть.

— А мы-то тут при чем! И не затягивайте! Идите поймайте этого сукиного сына да и посадите его!

— Гм... странно... Меня родители... того парня уверяют, что обо всем с вами договорились, что вы не собираетесь подавать заявление...

— И очень напрасно они так говорят! Изувечили моего мужа — вон уже сколько времени он к постели прикован, а мы еще с ними договариваться должны! Как это, интересно, мы могли с ними договориться?! А? Скажи мне, о какой договоренности может идти речь?

— Ну хорошо... Я вам только говорю еще раз: вы должны поступить так, как считаете необходимым.

— А о чем тогда мы толкуем? Зачем попусту слова тратим?

— Ну как вы не понимаете! Если вы не собираетесь с ними договариваться — пусть тогда ваш муж придет к нам и...

— Слушай, разве я не тебе только что сказала, что муж мой прикован к постели, не может даже пошевеливаться? А вы тут начинаете...

— Ладно. Тогда я сам приду к вам. Прямо сейчас и приду.

— Нет, сейчас лучше не надо! Сейчас муж очень плохо себя чувствует. А если вас увидит — ему еще хуже может стать. Нет, нет, подождите еще хотя бы дней десять, дайте ему окончательно оправиться. Больной никуда не убегает, вы не убегаете. Дней через десять гипс снимут, и если с ногой все будет в порядке — если перелом сросся, если он не останется хромым, — тогда посмотрим и решим, как нам быть. Я повторяю, вы мне не угрожайте!.. Всего хорошего!

Она швырнула трубку и ворча вернулась на свое место.

— Ах, если б по воле божьей эти негодяи сломали ногу мне! Тогда б ты увидел, каких людей рожают на свет матери! Клянусь аллахом, я бы им такое устроила, — такое устроила — весь Баку бы на этот шум сбежался! Я бы и сейчас устроила им, да только вот жалко, на тебя надежда плохая — в любой момент подвести можешь...

Говоря это, она кинулась к окну — с улицы донесся звук заглушаемого мотора. Напротив остановилась новая «Волга» молочного цвета.

У них в тупике было всего четыре дома.

В доме справа, у самого въезда, жила семья академика Муршудова.

Фарида, конечно, сразу поняла, что молочно-белая «Волга» — это машина академика. Из нее выбралась Гемер-ханум с огромной корзиной в руке, прошла своей переваливающейся походкой мимо собственных дверей, явно направляясь к ним.

Фарида быстро затолкала Кафара обратно в постель, строго-настрого запретив ему не то что выходить из комнаты — вообще подавать признаки жизни.

А тем временем раскрыла в своей комнате швейную машину, разложила перед собой ткань. Отрез этот она купила уже давно, да все никак не доходили руки за него взяться.

Наконец Гемер-ханум, запыхавшись, вошла на веранду, с сердцем плюхнула на пол набитую доверху корзину.

— Здравствуй, детка, — сказала она довольно неприветливо. — А мама дома?

Чимназ показала подбородком в сторону соседней комнаты. Тут до Гемер-ханум донесся стрекот швейной машины. Она решительно толкнула дверь в комнату, и Фарида притворно всплеснула руками:

— Ой, когда же ты пришла, Гемер-ханум, дорогая? Зачем было себя в такую жару беспокоить?

— Это наш долг, Фарида-ханум, наш долг. Клянусь богом, если б не домашние хлопоты, не

работа — ни о чем, кроме вас, и не думала бы!

Гемер-ханум все никак не могла отдышаться — обмахивалась платком, вытирала пот с лица, ждала, когда отпустит одышка. Наконец мало-помалу она пришла в себя.

— Платье шьешь? Ах, какой симпатичный материал! Где покупала?

— Где уж мне такое счастье, — притворно вздохнула Фарида. — Это чужой... Ты разве забыла, что я на заказ шью? После работы, когда освобождаюсь от всех этих домашних хлопот, сажусь и шью. А что делать? Дети ведь растут, а вместе с ними растут их потребности, смотрят ведь вокруг — на знакомых, соседей... — Она сделала паузу, чтобы убедиться, поняла ли Гемер-ханум, на кого она намекает; Гемер-ханум, по всему судя, поняла прекрасно. — Смотрят и хотят одеваться не хуже. Ну, а мы, сама знаешь, на одну зарплату живем. А зарплату еле хватает, чтобы концы с концами свести. Да еще эта болезнь мужа... Так некстати... Теперь у меня даже на шитье времени не хватает. Боюсь, всех клиенток растеряю.

— Не бойся! И черные дни, поверь, когда-нибудь да кончатся. Ты думаешь, у нас тоже сразу появился недостаток? Какое там! Клянусь аллахом, когда мы были аспирантами, так даже жить еще было негде, снимали квартиру. Только-только поженились... А сколько мы всего пережили — если я начну рассказывать, тебе дурно станет... Ну, ничего, бог даст, поступит ваш сын в аспирантуру, станет ученым, придет и его время академиком сделаться...

Фарида оборвала ее.

— Это все когда-то еще будет, да и будет ли... А детям уже сейчас твердая почва под ногами нужна. Твердая!

— Будет и почва. Обязательно будет. Ох, сестра, заболтались мы с тобой, а ты мне даже и не скажешь, как здоровье нашего Кафара!

— Ничего, понемногу. Вот только... Сейчас, конечно, трудно что-нибудь определенное сказать. Боюсь, как бы не остался калекой. Отчего-то до сих пор не может на сломанную ногу ступить.

— Пойду спрошу его о здоровье, а то еще обидится, чего доброго.

— Не надо, он спит.

— Спит?

— Да. Всю ночь, бедный, промаялся из-за этого зуда в ноге, ведь сколько уже не мылся! Приходится снотворное давать, чтобы хоть немного поспал. Очень мучается, несчастный. Да и подумай сама: легко ли в такую жару два месяца лежать прикованным к постели?

— Тяжело. Ой, как тяжело, согласна. Да что ж поделать, раз такова воля божья?

В комнате стояла такая духота, что Гемер-ханум близка уже была к обмороку.

— Может, посидим на веранде?

Фарида и сама еле жива была в этой парилке, но с места не сдвинулась, зато не упустила подвернувшегося случая показать себя заботливой матерью.

— Можно бы, конечно, и на веранду выйти, но там Чимназ занимается. Бедная моя, единственная девочка, совсем с лица спала из-за этих экзаменов.

— Ну-ну, не переживайте, теперь совсем чуть-чуть осталось... Мы уже предупредили кого надо насчет завтрашнего экзамена.

— Да? А человек надежный?

— Конечно, надежный... А потом останется всего ничего, последний экзамен, история.

— Бог за все отблагодарит вас, дорогая! Вы столько делаете для нас хорошего, что я даже и не знаю, чем мы сможем вам отплатить...

— Ах, ну зачем же так говорить! Ты ведь знаешь: попала вода в чашку — стала питьевой. А мы с вами один хлеб ели, значит, мы теперь все равно, что одна семья. Мы готовы вам во всех ваших делах помочь. Да, чуть не забыла... Кязимов — я имею в виду тестя нашего Малика — он на вас обижен...

Фарида чуть было не выпалила: «Ну и черт с ним, с твоим тестем, что обижен, пропади он пропадом вместе со своей обидой, что мы ему должны?» Но не выпалила — вовремя остановила ее сладкая улыбка Гемер-ханум.

— Вы ведь знаете, — продолжала та, — что наш сват — директор большого универмага? Ты разве не знала? Так знай. Если нужна одежда — скажите ему, все будет! Вот ты, например, портниха, а ведь у них в универмаге отличные импортные ткани бывают.

— Да? Ну не знаю, не знаю... Уж на что трудно заработать денег, а хорошую вещь достать еще труднее. К тому же нынешняя молодежь только импорт ведь ищет...

— Господи, да о чем речь, Фарида-ханум? Можете просить все, что вашей душе угодно, и совершенно не стесняйтесь. Как только у тебя будет свободное время — так сразу и поедем, я вас познакомлю.

— Вообще-то мы большими возможностями не располагаем, но бог отблагодарит вас за все. Чимназ моя давно о лайковом пальто мечтает. Что же делать, придется дупить ей, хоть и дорого. Куда денешься — девушка ведь, нельзя же, чтобы она стеснялась при сверстниках, верно?

— Да-да, это так. Что же вы раньше не говори ли — лайка ведь мелочь, сват устроит вам в мгновение ока.

Фариде не удалось скрыть своей радости, и, видя это, Гемер-ханум перешла к основной цели, к тому, из-за чего она сюда притащилась в такую жару.

— Фарида-ханум, дорогая, все хочу спросить вас об одной вещи, да как-то стесняюсь...

Фарида тут же насторожилась.

— Спрашивайте, чего стесняться.

— Сегодня мужу позвонил один ответственный работник министерства внутренних дел... Ну, поговорили они о том о сем, а потом этот ответственный работник и сказал между делом, что кто-то из вас пригрозил следователю Давыдову или как там его?..

— Кто пригрозил? Мы?

— Вроде бы даже ты сама.

— Я?!

— Да, следователь доложил, что жена больного Велизаде пытается его запугивать...

— Ах он!.. Врет! Без зазрения совести врет! Клянусь твоей драгоценной жизнью, в этом нет ни словечка правды.

— Честно говоря, и я сначала не поверила... Но потом... Ты прости за то, что я говорю это... Может, вы думаете, что, если больной встанет, мы больше не будем вашей дочке помогать?

— Ох, ну как ты только могла подумать такое, Гемер-ханум!

— Ах, прости меня, ради бога, если что не так сказала, но таков уж человек — готов любое слово, любую мысль тысячу раз переиначить.

— Во-первых, вы вовсе не обязаны устраивать Чимназ в институт. Да нам это даже и во сне бы в голову не могло прийти, вы же сами нам это предложили. Разве нет?

— Да-да, это так. И все будет, как мы обещали — обманывать не в наших правилах.

— А разве мы сомневаемся в этом? Разве мы не видим, какие вы благородные люди, умеющие держать свое слово? — последние слова Фарида выделила особо и пристально посмотрела в глаза Гемер-ханум; та поняла значение этого взгляда. — Если б вы не умели держать данное слово, разве бы стали вы тратить столько усилий, чтобы устроить нашу Чимназ? Другой бы человек подумал: ну и что с того, что обещали? Но вы же не такие, верно? Думаете, в наше время много таких надежных людей, как вы?! Да ничего подобного!.. Вот, к примеру, посмотри только на этого следователя — какой же он клеветник! Да и что, сестра, можно ждать от этих сотрудников милиции? Чего еще можно от них ждать? Могут ведь ни с того ни с сего так ослабить человека, так запутать его! Ведь на самом-то деле, клянусь твоей драгоценной душой, все совсем не так было. Звонит мне: пусть, мол, ваш муж придет сюда! Я ему говорю: начальник, братец, да разве он ходит, чтобы мог прийти к вам! Потерпи еще дней десять, пусть встанет... А ему, видишь ли, дело закрыть надо! Нам тоже не терпится, но я ведь еще в тот день тебе сказала, что если Кафар, будучи больным, порвет свои показания — могут потом всякое понаписать. Разве мало на земле подлых людей? Возьмут, да и напишут, мол, Кафар Велизаде лежит покалеченный в постели и пишет в своих показаниях в милицию, что он совершенно здоров... Ведь это и для вас может плохо кончиться. Нам-то что, а вы люди известные, начнут, не дай бог, о вас говорить. Разве я не права?

Гемер-ханум не оставалось ничего другого, как развести руками и подтвердить;

— Да, это так, это так... Сколько же в мире подлых, недостойных людей...

И вдруг Фарида широко, казалось, от всего сердца улыбнулась ей: — Господи, да неужели вы только из-за этого беспокоитесь?

— Да, — вздохнула Гемер-ханум. — А что же делать, ведь я тоже мать, думаю о своем сыне. Когда вижу, как он мучается, сердце пополам рвется. Ведь ни с того ни с сего влипли в такую историю... — Но, сообразив, что последние ее слова могут не понравиться Фариде, тут же добавила: — Да и вам тысячу хлопот принесли...

Фарида закрыла машинку, аккуратно сложила отрез и позвала Чимназ:

— Дочка, завари тете Гемер чаю получше...

— Чай? Нет, если я еще чаю выпью — мне совсем плохо станет. У вас минеральной воды...

— Минеральной мы не пьем!

— Тогда, может, есть вода в холодильнике?

— Есть, — расплылась в улыбке Чимназ и принесла стакан ледяной воды. — Наш Махмуд тоже всегда такую холодную пьет...

Гемер-ханум залпом осушила стакан.

— Ох, наконец-то сердце успокоилось. Ну, а теперь разрешите, я пойду. Я тут немного по базару прошлась... Если нетрудно, освободите, пожалуйста, корзину.

Фарида освободила корзину на кухне, и настроение у нее стало еще лучше. Гемер-ханум принесла три курицы, баранью голову и ножки, много фруктов, орехи, зелень.

— Ах, Гемер-ханум, мы вам так обязаны, — широко улыбнулась она, вручая гостье корзину.

— Не говорите так. Велика важность! — невесело сказала Гемер-ханум. Прощаясь, она, видно, хотела еще что-то добавить, но почему-то передумала, промолчала.

Кафар, который все это время послушно парился под одеялом, с удовольствием выбрался из своей спальни.

Фарида улыбнулась ему.

— Ну, слышал, какая услужливая? Вот что делает с людьми страх! Стоило только мне прикрикнуть на следователя, как они все до смерти перепугались. Будут теперь танцевать под мою дудку, сколько надо. Ты слышал, они уже и насчет завтрашнего экзамена договорились.

Чимназ от восторга чмокнула мать в щеку, и Фарида погладила ее по голове.

— Не знаю, что бы вы без меня делали. Если бы надеялись только на него, — кивнула она в сторону Кафара, — то, наверно, расти бы вам в детском доме!

Кафар уже жалел, что вышел из своей комнаты. Он спросил, дрожа от возмущения:

— Что, опять начинаешь?

— Да разве это неправда, Кафар, дорогой? Ты и сам без меня давно бы пропал. Кто сделал тебя человеком, выучил тебя, кто тебе диплом дал? Пять лет отказывала и себе, и всем нам в одежде, в еде, отрывала от себя, от детей, все на тебя тратила — лишь бы ты не стеснялся среди своих сверстников... Или ты уже забыл все это? Забыл, забыл, все вы, деревенские — неблагодарные люди... Я-то думала: получит он высшее образование, создаст, как все настоящие мужчины, семье достаток... Вот он, твой достаток! Смотришь на счастливых жен других мужей: грудь, шея, пальцы — все у них сверкает от драгоценностей, так, что глаза слепит... у них и «Волги», и «Жигули»... А я всю жизнь трясись в этих трамваях да троллейбусах... Уже сколько лет я твоя жена, а до сих пор ни одного украшения от тебя не получила. Хорошо еще, что хоть это, — она показала на свои уши, — мне Джабар подарил...

Кафару показалось на миг, что сейчас он просто не выдержит, выронит из рук костыли и рухнет на пол.

— Да я... Я же делаю для вас все, что могу! Ни в чем вам не отказываю!

— Ну и что, интересно, ты смог сделать за все эти годы?! Хоть однажды пожалел ты своих детей? На что ты был способен, кроме того, чтобы всю жизнь с кем-нибудь ссориться?

— Я никогда не кляузничал! Я работал! Я всегда работал честно и добросовестно и всегда получал то, что заслужил. — Голова кружилась все сильнее, Кафар чувствовал, что, действительно, еще немного — и он упадет. Упадет, и вряд ли уже встанет сам... У него

сейчас была одна мысль: поскорее добраться до постели.

— Посмотрите-ка на него, — бросила ему вслед Фариды, — он еще считает себя мужчиной! Слава богу, хоть в пятьдесят лет ты нам всем какую-то пользу принес!

У Кафара зуб на зуб не попадал от нервного озноба.

— Я всю жизнь честно и добросовестно работал, — громко повторял он. — И все, что я получал за это, я отдавал вам... Я честно зарабатывал свой кусок хлеба, честно. И весь этот хлеб доставался вам, вам! Я отдал вам все, что у меня было, у меня осталась только жизнь, так возьмите же и ее — и вам будет спокойнее, и мне... Идите же, возьмите! Возьмите мою жизнь! — Несмотря на озноб, он вылез из постели и снова заковылял на костылях. — Ну, что же вы стоите? Идите, берите уж и мою жизнь!

Чимиаз, ничего сначала не понимая, смотрела на отца. И вдруг до нее дошел горький смысл его слов. Зарыдав, она уткнула лицо в ладони и бросилась вон.

Фариды тоже смутилась, но все же не смогла сдержаться и тут.

— Ни на что не способен, а еще кричишь! — укорила она мужа и пошла успокаивать дочку.

Махмуд у них родился, когда Кафар учился на втором курсе, и этот день запомнился ему навсегда.

Он отвез Фариды в родильный дом на Баилове, а уже на следующее утро у них родился мальчик...

Он даже и не думал, что это произойдет так сразу — поджарил цыпленка, повез ей с утра в роддом. Здесь, в комнате ожидания на первом этаже, было уже много народа. И каждые десять — пятнадцать минут открывалось маленькое окошко, в котором появлялось лицо девушки — и тогда все ожидающие, волнуясь, поспешно бросались к этому окошку. Те, кто принес передачу, отдавали ее девушке; кому-то она возвращала пустую посуду; некоторые, особенно молодые мужчины, шепотом спрашивали:

— Сестренка, от нашей нет каких-нибудь новостей?

— Пока ничего нового. Ишь, какой нетерпеливый! Всеу свое время, как только родится — обязательно сообщу. А вы пока магарыч готовьте.

И каждый отвечал:

— Будет магарыч!

А потом эти молодые мужчины мотались беспокойно по тесной комнате ожидания, иногда подходили к доске, висящей на стене — там были написаны фамилии матерей, родивших предыдущей ночью, вес и рост новорожденных.

Кафар передал своего цыпленка, и теперь тоже метался из угла в угол, по нескольку раз читал написанное на доске. Почему-то вспомнилась ему сейчас, в этой тесной комнатке, Гюльназ: «Эх, если бы я сейчас пришел к ней, а не к Фариде!» — с тоскливой болью в сердце подумал он. И еще подумал: «Родила бы Фариды мертвого ребенка... Или вот бывает, что умирают при родах... И тогда бы он навсегда избавился от Фариды... — У него аж мурашки побежали от этих мыслей. — Нет, не надо, чтоб она умирала, пусть только родит мертвого ребенка, а уж я больше на пушечный выстрел к ней не подойду, а потом и вовсе разведусь... Да, если родится ребенок, развестись уже будет невозможно. Нет, как бы там ни было, это мой ребенок, и пусть он будет жив, а она умрет. Это мой первенец, он не должен умирать!.. А потом, что потом я буду с этим ребенком делать?»



Снова открылось маленькое окошко, девушка с жарким блеском глаз на этот раз высунула из окошка всю голову и радостно крикнула:

— Велизаде! Муж Велизаде Фариды здесь? Сердце Кафара бешено заколотилось. «Господи, пусть оба они окажутся живы-здоровы, — подумал он. — Пусть ничего не случится ни с Фаридой, ни с ребенком...»

Девушка нетерпеливо крикнула еще раз:

— Ну, есть здесь родственники Велизаде Фариды? Кафар подошел к окошку.

— Есть...

— Ну, что же вы не отзываетесь? — Кто-то сзади засмеялся, крикнул, что папаша, наверно, онемел от счастья. — Ну, где мой магарыч?

— А... кто родился?

— Нет, сперва магарыч, тогда скажу.

Хорошо, что Кафар только накануне получил стипендию, деньги у него были, и он, не раздумывая, протянул девушке десять рублей.

— Пусть карман твой всегда будет полон! Сын у тебя родился. Богатырь. Четыре килограмма семьсот граммов, пятьдесят шесть сантиметров.

«Ай, молодец!» — воскликнуло одновременно несколько женских голосов.

Словно туман поплыл перед глазами Кафара; лица окруживших его людей стали вдруг расплываться. Чуть не бегом выскочил он на улицу.

Кафар шел по городу с таким видом, словно теперь весь Баку принадлежал ему. Он сам не знал, куда так спешит, куда несут его крылья счастья. И вдруг он пришел в ужас от своих давешних мыслей. «Господи, прости мне мое прегрешение, — молил он, — прости мне мой грех, береги моего сына. И Фариду береги, ведь она все-таки мать моего ребенка...»

В тот день, когда Фариды выписалась, когда Кафар впервые взял на руки ребенка — это смуглое, сонное существо, черты лица которого были еще нечеткими, глаза полуслепыми, как у щенка, — Кафара вдруг пронзило ощущение, что только этому младенцу принадлежит его, Кафара, сердце. Какое-то могучее тепло омывало, пронизывало его существо от макушки до пят. И Кафар говорил этому малютке: «Значит, ты мой сын... Но почему же ты тогда так странно явился на свет? Я думал, будет у меня свадьба, я женюсь на Гюльназ, потом пройдут девять месяцев, и тогда появишься на свет ты... А ты появился совсем по-другому, даже нежеланно... Но теперь это все ничего не значит — потому что ты мне дороже всех на свете... Ты своим рождением словно бы снова подарил мне моего отца...»

А самое странное для него было то, что почти такие же нежные чувства испытывал он и к Фариде. Кафар улыбался ей, и Фариды улыбалась так же сердечно и счастливо, как он.

— Он на тебя похож, — сказала она. — Вылитый ты.

— Да, — согласился Кафар. — Похож на меня. — Хотя на самом деле он не находил в младенце ни одной черты, похожей на его собственные. Да в конце концов, какое все это имело значение! Главное было то, что у него появился сын, и сын этот согревает его сердце...

С этого дня он начал скучать на занятиях, как освободится — так сразу домой. Однокурсники

все удивлялись, почему это он сторонится их...

А прибежав домой, он первым делом шел к колыбельке сына.

— Ну как ты, мужичок? — говорил он.

Махмуд морщил личико, собираясь заплакать, но Фарида была начеку — вставала рядом с Кафаром, брала маленького на руки, целовала его, целовала Кафара. Она теперь очень изменилась, Фарида — была ласковой, нежной, совсем не ворчала по пустякам. Но и забот у нее прибавилось: больше приходилось шить на заказчиц, да еще ухитрялась она между делом мастерить рубашки и штанишки для Махмуда. Показывала их Кафару и спрашивала: «А ну-ка, посмотри, подойдет это твоему сыну?» И Кафар отвечал: «Подойдет...» Хотя Махмуду пока, кроме пеленок, ничего и не было нужно. Когда родилась Чимназ, Махмуду исполнилось уже три года.

Время шло, а Кафар все никак не мог решиться рассказать о своей женитьбе матери и сестрам, и из-за этого у них время от времени вспыхивали ссоры с Фаридой. Но он все тянул, все надеялся на какой-то счастливый случай. В конце концов все раскрылось само собой.

...Домой, в деревню, он выбирался теперь только на зимние каникулы, в летние совсем не приезжал, солгав матери, что работает. Услышав об этом в первый раз, она искренне изумилась: «Как работаешь? Зачем работаешь?».

— Да ты не волнуйся, — успокоил он, — работа легкая, а самое главное — по моей будущей специальности. Так уж вышло: открылось вакантное место, и один человек устроил меня туда. А уйду — в другой раз мне такой работы уже не получить...

— А что это все же за работа, сынок?

— Ну... Научная работа. В архиве...

— Значит, закончив институт, ты в деревню не вернешься?

— Н-не знаю, мама... Я хочу учиться дальше, поступить в аспирантуру.

— То есть будешь ученым?

— Можно и так сказать...

— Будь, будь, мой родной, ученым. — Гюльсафа хоть и поняла, что сын не собирается возвращаться, все равно рада была такому его решению; с одной стороны, в деревне только и разговора будет, что сын Махмуда стал ученым, а с другой — Кафар станет опорой для своих братьев и сестер, поможет и им стать на ноги...

Так, разговаривая, шли они по саду, под черный инжир...

Кафар задерживался чуть не у каждого дерева.

— Смотри, как вишня-шпанка постарела...

— Да... Даст бог, приедешь как-нибудь, спилишь ее, посадишь на этом месте новое дерево.

— А какая хорошая была вишня — мясистая, чуть кисловатая. Как она плодоносила этот год?

— Конечно, уж не так, как раньше...

— Что это со сливой? Ветром, что ли, ветку сломало?

— Ветку? Нет, это я сама спилила. Засохла, вот я ее и отпилила, еще прошлой зимой сожгли.

— Газ вам не провели еще?

— Теперь уже скоро. С той стороны проводят, до нас уже недалеко... На днях исполком приходил, пообещал, что через год будет и у нас.

— Если б газ провели — не так бы и лес вырубали, верно?..

— Да, и людям бы полегче стало. Зимой от этого хвороста спины не разгибаются... Да ты совсем замерз, вон весь гусиной кожей покрылся, идем в дом, сынок.

— Да нет, что ты, мне совсем не холодно. А кизила много уродилось?

— Да. Отличный кизил, вот такой. — Мать показала пальцем. — Каждый год для себя варим, да еще и на продажу остается.

— Помнишь, как отец привез его с Глухой скалы?

— Помню. Привез, а потом сам прививал. Лесной кизил сухой, мелкий, а наш крупный, мясистый. А уж вкусный!..

— А вишня скоро весь сад задушит. Надо же — совсем одичала. Схожу-ка я за топором, да вырублю наконец эти заросли. А то пойдут почки — и рука не поднимется.

— Потом. Потом вырубешь, пойдем.

Когда они подошли к ореху, Кафар опять остановился.

— Ну как, черви больше не заводятся?

— Нету. Даже и не знаю, с чего они пошли — то ля оттого, что навозу много положила, то ли еще с чего, а только и земля как будто сгнила, и орехи пошли гнилые. А в этом году навоза не клала — орехи опять нормальные. Да я ведь прошлой зимой посылала тебе, ты хоть попробовал?

— Что? Да! Конечно, попробовал, как же. Кто же их еще ел, если не я?

— В этом году я тебе тоже отложила.

— Отличные орехи. Скорлупа такая тонкая, что двумя пальцами расколоть можно.

— И на базаре орех хорошо идет. И спелый, и зеленый — хорошо на варенье берут.

— Ты разве и орехи продаешь?

— А что же делать, сынок? На какие же деньги вы учитесь-то? Ты в Баку, брат в Кировабаде? И сестренки твои выросли, расходов больше стало. — Гюльсафа улыбнулась, но улыбка эта больше походила на горькую гримасу. — Коровы у нас теперь дойной нет — вот что плохо...

— С каких это пор? А телушка от Краснухи, она же должна уже...

— Ее продали...

— Как продали?! Зачем?

— Не под силу уже мне, сынок, держать ее — тут у нас и места для пастбища не осталось,

одни виноградники кругом. Да и деньги нужны были... Я вот все думаю: может, пока ты здесь, пригласим твою сестру? Пусть бы приехала... Мы ведь с ней с тех самых пор, как она из дома сбежала, так и не виделись. Ведь четверо детей у нее, а я внуков даже и не видела... А ведь и она, бедняжка, тоже, поди, переживает. Ее, небось, в доме мужа каждый день попрекают: вот, мол, никому ты не нужна, никто тебя не ищет. Я бы не простила ей, ни за что бы не простила, да ведь... старая уже стала совсем, ослабела. Все думаю, а вдруг, не дай бог, умру в одночасье, как твой отец, — и что ж выходит — отправлюсь на тот свет, так с дочерью и не помирившись? Хочу, чтобы она приехала... Посмотреть на нее хочу. Недавно твой брат ездил в Сумгаит, виделся с ней — говорит, выглядит она хорошо. Ты сам-то как, хоть видишься с ней?

— Вижусь. Они действительно хорошо живут. И муж у нее хороший человек, спокойный. Инженер. Недавно трехкомнатную квартиру получили.

— Да, брат твой то же самое мне говорил. Ну и слава богу, и слава богу... Бедная твоя сестра! Из дома пришлось бежать! Это ведь она из-за приданого бежала. — Иссохшие губы Гюльсафы сжались в нитку. — Ох, как тяжело жить, когда нет достатка... Но все равно, думаю, не должна она была так поступать. Хотя, конечно, если б твой отец был жив — на меня бы вся эта история так не подействовала. — Мать сердито пожевала губами...

Кафар хорошо знал характер матери, ее упрямство. Ведь уже сколько лет прошло, а она так и не простила свою дочь. Приглашать она ее приглашает, а прощать не собирается, хоть и жалеет при этом. А его? Простит? Вряд ли... Но до каких же пор он будет скрывать? Не сегодня завтра мать начнет настаивать, чтобы он женился... Ну и что ж, вот тогда он ей все и скажет... Да-да, именно тогда, и не раньше — пусть пока живет спокойно. Не то еще и по нем начнет убиваться, переживать...

Но, видно, что-то такое отразилось на его лице, потому что мать вдруг оглядела его как-то очень пристально и сказала:

— А ты у меня молодец, совсем настоящим мужчиной стал. — Кафар даже вздрогнул. — И жесты, и разговор — все как-то у тебя солиднее сделалось. Раньше ты все улыбался, все морщинки у глаз собирал... Эх, каким ты был смешливым! Помнишь, мы тебя маленького так и называли: прищуренные глаза...

— Помню, — вздохнул Кафар.

— То все улыбался, а теперь... — Гюльсафа сделала паузу, и Кафару показалось, что этой паузой она разорвет ему сердце. — Теперь ты стал какой-то... очень задумчивый. Я еще тогда заметила, в первый твой приезд на каникулы: какой-то ты не такой стал, сам на себя не похож... Помнишь? Это в тот год, когда ты остался здесь всего-навсего на три дня, а потом сбежал, как будто там тебя дети малые ждали... — Мать снова посмотрела на него таким пристальным взглядом, что Кафар чуть было не поверил: она уже обо всем знает. — Если и вправду кто-то там тебя ждет — может, сам все расскажешь? Чтоб и я знала, в чем дело, что с моим сыном происходит...

Ни братья, ни сестры ни разу за все эти четыре года не обратили внимания на то, что он задумчив. Может, потому, что при них он всегда старался быть веселым, разговорчивым? Хотя он и при матери дурачился, как когда-то, шутил, но, видно, чувствовала мать какую-то фальшь, догадывалась, что на самом деле его гложет какая-то забота. Всегдашняя печаль, как огонь под пеплом, жгла его изнутри, но одна лишь мать почувствовала это...

— Между прочим, Гюльназ обручилась. — И снова глаза матери цепко впились в его лицо.

— Я знаю, — тихо отозвался Кафар.

— Знаешь? Откуда?

— В Баку услышал. На базаре кто-то из наших сказал.

— Родственники жениха так долго ее уговаривали... совсем надоели, вот она и согласилась... Только все же не пойму я, почему так получилось...

— Что?

— Ну... вы же любили друг друга...

Они наконец подошли к черному инжиру, посмотрели оба на треснувший угол дома. Едва ли, пожалуй, не впервые в жизни захотелось Кафару, чтобы мать завела разговор о новом доме. Но она молчала, ждала его ответа.

— Может, объяснишь, почему у вас так получилось?

Он решил.

— Мама, ты не обидишься, если я... скажу правду?

Ресницы матери испуганно встрепенулись.

— Ну что ж, говори, — разрешила она, не глядя на него.

— Нет, ты пообещай, поклянись памятью отца, что не обидишься!

— Не трогай память отца, говори, что собирался! — голос матери дрожал.

— Я, мама, я... женился.

Несколько мгновений оба они молчали. Гюльсафа поглаживала растрескавшийся ствол черного инжира.

— Да. И женат ты на разведенной женщине. С ребенком.

Кафара бросило в жар, потом в холод.

— Кто тебе сказал?

— Никто мне ничего не говорил...

— Тогда откуда же ты узнала, что я?..

— Так... Догадалась... Когда мужчина женится на девушке — у него не бывает такого утомленного, такого несчастного вида... У тебя даже смех стал печальным...

И Гюльсафа, снова сжав губы, устремила взгляд на трещину в стене дома. Кафар упал к ее ногам, обнял их.

— Мамочка, да буду я твоей жертвой, прости меня!

— Встань, — сказала мать, даже не взглянув на него. — Встань, соседи увидят. И уходи! Уходи немедленно.

И мать покинула его такой стремительной, такой нервной походкой, которая никак не вязалась с ее годами...

Кафар, все еще стоя на коленях, смотрел ей вслед и со смертельной тоской в сердце думал о

том, что теперь все кончено... На этом все кончено, и мать никогда не простит его. Не простит до самой смерти.

— ...Значит, ты наконец набрался мужества и все ей рассказал?

— Да, наконец-то все рассказал, — кивнул Кафар.

— Значит, вы с матерью поссорились, правильно я поняла?

— Ну... ссориться не ссорились, но она очень на меня обиделась. Ты не знаешь моей матери, если она обиделась — это на всю жизнь.

— Ай, подумать только, мир теперь нам на голову рухнет! — расхохоталась Фарида. Смех был язвительный, злобный.

— Для кого как... А для меня действительно мир погиб теперь.

— Даже так! Ну, раз так, тогда слушай, что я скажу. Ноги этой женщины в моем доме никогда не будет!

— Да она и сама наш порог не переступит, даже если мы начнем ее умолять.

— Умолять! Еще чего! Чтобы я ее умоляла? Не приедет — и черт с ней! И чтоб братья-сестры твои тоже сюда носа не казали! Можно подумать, я из-за этого переживать буду! Ха-ха-ха! Да мне только лучше будет, спокойней, а то знаем мы вас, деревенских — дай только волю, так они тут же дом в постоянный двор превратят: один уедет, другой приедет...

Тут они оба увидели, что проснулся от их голосов Махмуд, испуганно смотрит на них.

Фарида ушла на кухню. Махмуд быстро подбежал к отцу, прижался к его ногам. Кафар погладил мальчика по голове, и Махмуд улыбнулся, спросил шепотом:

— А почему мама опять тебя ругает? Кафар подхватил сына на руки.

— Она не ругает, сынок... — сказал он.

— Я же вижу! Ты что думаешь, я не понимаю, да? Она тебя из-за бабушки ругает. — Он прижал губы к уху отца. — А почему мама не любит бабушку Гюльсафу? — Кафар пожал плечами. — А свою маму, старшую бабушку, она очень любит. Всегда нам рассказывает про старшую бабушку.

Кафар удивился:

— Старшая бабушка? Когда это она стала старшей? По возрасту старше бабушка Гюльсафа...

— Ну да, — не поверил Махмуд. — А почему же тогда мама всегда говорит, что бабушка Басира — наша старшая бабушка?

Кафар снова пожал плечами. Махмуд оглянулся на дверь и еще тише зашептал:

— Мы к ней ходили, когда ты уезжал... А она правду говорит, что бабушка Гюльсафа никогда к нам не приедет?

— Да что ты, сынок, обязательно приедет. Разве бабушка Гюльсафа сможет прожить без тебя? Приедет и возьмет тебя с собой в деревню. Будешь там лазить по деревьям, рвать бабушке груши, яблоки.

— А на коня она меня посадит?

— На коня? Обязательно, и на коня посадит, и на ослика.

— А конь хороший? Он быстро скачет?

— Крылатый конь, он несется как ветер.

— Тогда скажи ей, чтобы она скорее приезжала! — А когда вернулась Фарида, Махмуд крикнул торжествующе: — Ты знаешь, мама, у бабушки Гюльсафы есть конь! Крылатый, быстрый, быстрее ветра! И ослик у нее есть!

— Как же, держи карман шире! — буркнула Фарида и понеслась в соседнюю комнату — там захныкала проснувшаяся Чимназ.

Махмуд хотел спросить еще у кого-нибудь — есть все-таки у бабушки Гюльсафы лошадь или нет? Но подумал, подумал и решил пока никого ни о чем не спрашивать. Насупившись, он пошел играть во двор.

Мать Кафара так ни разу к ним и не приехала.

В самом конце учебы, уже на пятом курсе, Кафар устроился на работу. День этот, пятое марта, запомнился ему на всю жизнь. Фариде он сказал об этом вечером, когда она вернулась со своей фабрики. Сначала она не поняла, в чем дело, точнее, просто не услышала его слов — у нее сегодня были неприятности: последнее сшитое ею платье не понравилось заказчице. Расстроенная, она начала ворчать прямо с порога: «Просто с ума люди походили! Раньше эта уродина, — Фарида имела в виду свою привередливую заказчицу, — всегда в восторг приходила от моих платьев, а теперь как будто весь мир перевернулся — то не так, это не так, фасон ей не подходит. И сама все морду кривит. Не-ет, думаю, тут не в фасоне дело, похоже, все дело в том, что нашла ты, голубушка, себе другую портниху, этот ларчик у нас просто открывается. А того не понимает, что чем лучше портниха — тем дороже приходится ей платить... Хотя постой, постой... Кажется, ларчик действительно просто открывается. Не зря же эта мымра лягнула между делом, что ее муж начальником милиции стал! Вот оно в чем дело! Ну, конечно, теперь они обнаглеют, он-то, небось, уже начал у людей на ходу подметки рвать. То-то она о себе и возомнила... — Она сердито посмотрела на Кафара. — Везет же другим женам, деньги на них сыплются, как песок на бакинских пляжах. А я тут слепну, чтобы своего мужа прокормить!..»

Вот тут-то Кафар и сказал: «Можешь меня поздравить...» Фарида подозрительно, но все же не без любопытства посмотрела на него, и Кафар улыбнулся ей.

— Да-да, можешь меня поздравить.

— Интересно бы узнать, с чем?

— С тем, что я перестану есть хлеб, которым ты меня попрекаешь.

— Да-а?... А что такое случилось? Ты нашел золотую жилу?

— Нет, устроился на работу.

— Да, уж кому-кому, а тебе золотую жилу в жизни не найти. Да и то сказать: разве станет бог раздавать золото кому попало? Нет, бог — он как следует сначала посмотрит, что за человек...

Фарида накормила детей, уложила их спать, раскрыла швейную машину и, проклиная заказчицу: «Чтоб ты сдохла в этом платье!» — принялась распарывать платье, ушивать его в

бедрах.

— Дура ты, дура, — бурчала Фарида, — еще недовольна, что в бедрах свободно. Ну, а я-то тут при чем? Что я, тебе свои бедра дам что ли? Ты благодари бога, что на таком хилом, как у кильки, теле трусы еще держатся! — последнее соображение очень понравилось Фариде, она повернулась к Кафару: — Женился бы на такой — вот тогда и узнал бы мне цену!

Кафар засмеялся, подошел к жене и погладил ее по голове. «Господи, когда же она успела так поседеть?» — подумалось ему вдруг с нежностью.

— Чего ты ржешь? И все вы, мужики, такие — только заговори при нем о другой бабе — сразу таять начинает. Будь она хоть собакой — лишь бы чужой была. Тьфу, пропади ты пропадом! Нитка запуталась! Чтоб она сдохла, эта милиционерша! Задала работенку...

— Ну и плюнь, если тяжело.

— Как это — плюнь? А вас я чем тогда кормить буду? Разве на одну мою зарплату можно прокормить пятерых? Не забывай, что хоть Гасанага и в интернате, на него тоже тратиться придется.

— Все, с сегодняшнего дня я больше не на твоём иждивении!

— Вон как ты заговорил! Я, значит, его кормила, одевала, дала ему возможность высшее образование получить — и вот она, его благодарность!

— Когда ж это я не ценил твоих забот? — Кафар привлек ее голову себе на грудь. — Ты не так поняла, я только хотел сказать, что с этого дня тоже буду помогать тебе.

— Чем это?

— Сколько же раз можно говорить! Я сегодня на работу устроился.

— Да-а! Ну надо же! Ты представляешь, как эта сукина дочь вывела меня из себя — ничего не слышала, что ты мне говоришь, ничего не соображала, да еще я думала, что получу с этой мымры деньги, куплю мяса — у нас мясо кончилось, — а она мне так ничего и не заплатила... Нет, ты правду говоришь? А как же твоя учеба?

— Ну что — буду учиться и работать. Все равно ведь скоро уже конец.

— Какой конец? А аспирантура? Ты ведь говорил, что будешь в аспирантуру поступать, ученым станешь! Значит, что, просто мне зубы заговаривал? Да? Морочил голову?

— Зачем? Буду работать и в аспирантуре учиться. Заочно. А то уж я совсем тебя замучил.

— Ладно, ладно, не болтай глупостей. У трудностей век короткий. Я и не такое вытерплю, лишь бы знать, что у тебя будет приличная должность, что в один прекрасный день ты сможешь подумать и о детях. Ведь мы должны теперь жить для них, для детей... — Фарида сказала это так искренне, с такой грустью, что Кафара опять захлестнуло чувство нежности, жалости к ней. — Ну, и где ты будешь работать? — спросила она через какое-то время.

— В архиве древних рукописей.

— Да? Ну, и какая же у тебя будет зарплата?

— Сто десять рублей.

— Хм... А если бы ты стал учителем — сколько бы тебе дали?



— Рублей сто, наверно...

— Сто рублей! Я хоть и просто рабочая, и то зарабатываю больше. Зачем тогда, интересно, вы дни и ночи горбатитесь над своими книгами?

— А по-моему, приличная зарплата. К тому же, говорят, скоро ее повысят.

Фарида заправила в машинку шпульку, вдела нитку в иголку, и «Зингер» застрекотал снова. Машинка работала мягко, почти бесшумно — Фарида частенько смазывала ее; она находила особое удовольствие в том, чтобы машинка работала мягко и тихо.

— Замечательная вещь эти «Зингеры». По-моему, ни одна новая машинка с ней не сравнится. Эта у нас еще со времен войны, а до сих пор, как часы, работает... Кстати, с какого дня ты выходишь на работу?

— Завтра и начинаю. Временно, пока еще учусь, буду сидеть там до часу, и прямо оттуда — в университет.

— А еда? Где же ты будешь обедать?

— Там, у них, наверное, буфет есть... Или лучше возьму что-нибудь из дому.

— Правильно! Обязательно бери с собой. Я тебе буду каждый вечер что-нибудь готовить. Только все-таки... Ты не зря поторопился? Боюсь, это помешает твоим занятиям в университете...

— А чего бояться? Ты ведь сама всегда говоришь, что мужчина ради семьи должен любые трудности преодолевать.

— Ну ладно, хватит болтать попусту. Иди давай, не морочь мне голову, хочу с этой дрянью разделаться, чтобы завтра отдать ей платье.

Кафар еще немного посидел над книгами и лег спать.

А Фарида встала из-за машинки только во втором часу ночи, а потом еще жарила на завтра котлеты для Кафара и для себя.

...Когда он вернулся домой, Фарида уже привела из садика обоих детей, уже покормила их и теперь дождалась его. Она сразу поставила перед ним ужин, и Кафар накинулся на еду с такой жадностью, что Фарида его даже пожалела:

— Похоже, ты сегодня остался голодным? Да и бледный какой-то.

— Просто очень устал.

— Зря все же ты поторопился с устройством на работу. Тяжело тебе будет...

— Ничего, как-нибудь! Можно подумать, тебе легко.

Фарида посмотрела на него признательно. Убрал со стола, она тут же раскрыла швейную машину.

— Что, опять ей не понравилось? — спросил Кафар сердито.

— Да ты что, — весело ответила Фарида, — как раз наоборот. Очень даже понравилось. И, рассчиталась со мной сразу — я прямо тут же купила два кило мяса. Картошки еще купила...

— Ты у нас молодец. — Кафар подошел сзади, погладил ее плечи. Фарида обмякла под его

руками, прижалась к нему спиной.

— Я у вас просто какое-то хлебное дерево. Обычно Кафара злили эти разговоры, но сейчас он улыбнулся и охотно согласился с ней:

— Да, честное слово, это так.

— Ну, наконец-то признал. Так и быть, раз уж ты соглашаешься, больше тебя попрекать не буду.

— Знать бы раньше, что дело только в этом, давно бы уже согласился... А это кому? — показал он на разостланную Фаридой ткань. — Тоже ей?

— Нет, новую клиентку нашла. Уж такой жирный кусочек... Знаешь, кто?

Кафар покачал головой.

— Дочь нашего районного прокурора. У нее, у проклятой, такие серьги в ушах — глазам смотреть больно.

— Ну, раз так, то и не смотри!

Фарида пропустила последние слова мимо ушей.

— Если, говорит, понравится — всегда буду у тебя шить. Придется постараться. Не зря я подписалась на журнал мод на второе полугодие. Ведь им, этим проклятым заказчицам, никак не угодишь, вот и приходится журналы смотреть, приноравливаться к их вкусу. Сама как бочка, а платье подавай самое модное. Ты хоть видел такой журнал? — Кафар отрицательно помотал головой. — Эх ты, деревенщина! Где ж тебе было видеть, разве такие вещи в ваших навозных краях водятся...

— Вот заведешь себе журнал — я и посмотрю.

— Ого! Как на работу устроился — так сразу и огрызаться научился. Быстро! Ну, а что же ты не расскажешь, как прошел у тебя первый день?

— Отлично.

...А через две недели он пришел домой в еще более приподнятом настроении. В этот день Кафар принес первую свою зарплату — шестьдесят пять рублей — и положил ее перед Фаридой. Фарида посмотрела краем глаза на деньги, но даже не притронулась к ним. Сказала только:

— Это что же, по-твоему, деньги? Да это же цена одной пары мужских ботинок.

В одно мгновение улетучилась вся радость Кафара, только бередил душу какой-то тоскливо-мутный осадок от всей этой сцены. Словно еще надеясь утешить самого себя, он буркнул:

— Деньги, заработанные честным трудом, всегда сладки.

Фарида зло посмотрела на него.

— А ты что, видел когда-нибудь горькие деньги?

— Я их не ел, чтобы знать вкус.

— Ты что же, видел деньги, на которых написано «честные» или, там, «дармовые»? Ты

принеси мне тех самых горьких денег, на которых написано «нечестные», дай их мне и увидишь, что я сделаю... как я разнесу в пух и прах твою хваленую честность! Разве у тех, кто носит в ушах бриллианты, унижает пальцы золотом, кто щеголяет в дубленках или в лайковых пальто с ламой — разве у них написано на лбу, на какие деньги это все куплено? И разве те, кто эти вещи продает, интересуются, какими деньгами с ними расплачиваются — честными или нечестными? Само слово это — «честность» придумали такие же беспомощные, ни на что не способные мужчины, вроде тебя. Ясно?

Кафар слушал ее, пораженный. Много мог бы сказать он ей, хотел даже закричать: нет, мол, никогда ты от меня не дождешься нечестно заработанных денег, никогда!

Но тут к нему подошел Махмуд, обхватил его ногу.

— Папа, у нас в садике есть мальчики, они в американских джинсах ходят. Купи мне такие, а, пап!

Чимназ, игравшая в куклы, тоже подала голос: «Раз Махмуду, тогда и мне джинсы купите.»

Кафар только рот раскрыл от изумления, а Фарида вдруг так расхохоталась, что из глаз ее от смеха потекли слезы. Не в силах выговорить ни слова, она тыкала пальцем в шестьдесят пять рублей, что лежали на столе.

— Ну, слышал? — наконец отдышалась она. — А теперь иди и купи на эти честно заработанные деньги джинсы своим детям... Это они пока маленькие, а то ли еще будет, когда они подрастут! Посмотришь, чего они у тебя потребуют завтра! Пристанут, как банный лист, и посмотрим тогда, что ты им сможешь ответить.

— Если смогу — куплю, а нет — и разговора никакого не будет. В жизни не носил американских джинсов — ну и что из того, мир, что ли, перевернулся?

— Не носил, потому что, во-первых, был деревенщиной, а во-вторых, тогда и времена были совсем другие. Да ведь ты даже не представлял себе, что такое культура, что такое, к примеру, модное пальто. А мои дети — горожане, они больше нас с тобой знают. Смотрят на сверстников и стесняются своей бедности, да и я, признаться, готова сквозь землю провалиться, когда вижу, как другие дети ходят...

— Что ты говоришь, Фарида? Ты же портишь детей! Уж если сейчас, когда она маленькие... А что будет завтра, когда они станут самостоятельными? Да они же в грош нас ставить не будут. Хоть это-то ты понимаешь?

— Вот поэтому сядь сейчас, подумай как следует и заранее оплачь тот день. Я до сих пор все терпела, во всем себе отказывала, потому что ты был студентом. А теперь, если тебе верить, — Фарида насмешливо скривилась, — ты стал настоящим мужчиной, начал деньги зарабатывать. Ну так давай, покажи нам, какой ты мужчина!

И она яростно закрутила ручку своей машинки. «Зингер» запел тихую, ровную песню.

Махмуд, который очень внимательно слушал весь разговор родителей, снова заныл:

— Пап, ну купишь джинсы?

— А ну, убирайся спать! — Кафар даже сам вздрогнул от своего крика, а Махмуд перепугался так, что заплакал.

Кафару и самому хотелось сейчас заплакать, он не выдержал, подошел к сыну, обнял, прижал его к себе.

— Ну не плачь, не плачь. Вытри слезы... Обязательно тебе джинсы куплю...

Мокрые от слез глаза Махмуда загорелись.

— И еще куртку купи, ладно? Ребята у нас в саду джинсы с куртками носят. Только покупай лайковую, пап, я другую не хочу...

— Да тебе же рано, сынок! Рано еще носить такие вещи!

— Да? А другим ребятам не рано? — Махмуд обиделся, хотел было снова расплакаться, но тут поманила его к себе Фарида. Обняла сына, что-то зашептала ему на ухо. Кафару даже показалось, что она и сама плачет.

И впервые в жизни Кафару захотелось, чтобы у него было много денег — столько, чтобы можно было купить все, что захотят жена и дети. Да еще чтобы сам он смог построить дом для матери...

Куда только и девалась вся его радость от первой зарплаты, от полумесячной работы в архиве... «Но почему, почему должно быть так?!» — хотелось кричать Кафару. Ведь он честно, не жалея сил, работал, почему же ему приходится стесняться своей работы, испытывать унижение от осуждающих взглядов жены и детей...

У Кафара появилась задумка: переработать свою дипломную работу «Фельетоны Мирза Джалила» в кандидатскую диссертацию. Идея принадлежала не ему — такой путь предложил его научный руководитель, заведующий кафедрой... Вообще-то Кафар мечтал окончить очную аспирантуру. «Заочная — это ерунда, — размышлял он не раз. — Не те знания». Но потом все же передумал. Точнее, передумать заставили его Фарида, жизнь.

Как-то — а это был выходной день — к ним пришла на примерку заказчица еще более полная, чем сама Фарида (а Фарида в последнее время сильно раздобрела). Она теперь считалась одной из лучших портних в городе, число ее клиенток день ото дня росло. И эта толстуха тоже все нахваливала Фарида. «Руки у тебя золотые, — говорила она. — Поражаюсь только, как это ты при таких руках, при таких заработках совершенно не обращаешь внимания на свою собственную одежду. Нельзя так себя распускать, — говорила она, — ни в коем случае нельзя! Ты еще молодая, красивая женщина — тебе самое время сейчас одеваться, наряжаться, зажигать огонь в сердцах мужчин».

Кафар проверял в соседней комнате, как сделала уроки Чимназ. Девочка была слаба в математике, и Кафар, всегда занимавшийся с детьми, уделял ей особое внимание, когда приходилось трудно... Он сидел рядом с Чимназ, а мысли его были там, на веранде — подле Фарида и ее толстой клиентки. Чимназ, заметив это, тоже начала прислушиваться к разговору за стенкой. Занятия у них сегодня шли плохо, Кафар злился, срывал зло на дочери:

— Разве здесь минус надо ставить? Кто же ставит знак минус, если речь идет о сложении, а?  
— Он даже ударил ее по руке, и Чимназ растерялась, посадила в тетради чернильную кляксу, расплакалась от испуга...

А толстая заказчица хвастала теперь своими серьгами: «Видишь, какие бриллианты муж мне на день рождения подарил?»

Фарида вздохнула.

— Эх, Гемср-ханум, какой там день рождения! Я уж позабыла, в каком году, в каком месяце родилась...

— Ну и напрасно. Очень напрасно. Сама виновата. Да мужчины такой народ — если видят,

что женщина от них ничего не требует, тут же и успокаиваются.

Фарида протянула платье заказчице: «Наденьте, посмотрим, хорошо ли».

Гемер-ханум в одном белье подошла к зеркалу. На ней и комбинация была необыкновенная — очень красивая, телесного цвета, вырез отделан тонким кружевом. Заметив, что Фарида с восхищением смотрит на эту комбинацию, толстуха похвастала:

— Это мы в прошлом году в Италии купили. Поехали с мужем погулять. Я так: не реже, чем в два года раз, или с мужем, или одна езжу за границу. — Она игриво ущипнула Фариду. — Знаешь, есть свое удовольствие в поездках в одиночку. Новые города, новые люди, красивые мужчины, юноши... — Она снова ущипнула Фариду. — Ведь не буду же я всю жизнь гнить рядом с мужем, в бакинской жаре, в этой вони! Хочешь, этой осенью и тебе путевку устроим? У мужа есть один знакомый, куда захотим, туда и сделает.

Фарида только вздохнула.

— Где уж мне такое счастье...

Кафар сидел напротив зеркала, в нем он видел свое усталое, морщинистое лицо, опущенные плечи... Ему вдруг страшно захотелось выйти и прогнать эту самую Гемер-ханум ко всем чертям, крикнуть ей: «А ну, забирай свои тряпки и убирайся, и чтобы ноги твоей больше в нашем доме не было!»

Он даже встал, заглянул в окно на веранду, но увидев, что Гемер-ханум все еще в одном белье, быстро отошел в глубь комнаты, прикрикнул на Чимназ:

— Ну, что ты сидишь, глазами хлопаешь? Давай решай задачу! Или я вместо тебя учиться буду?

Чимназ послушно уткнулась в тетрадь.

Гемер-ханум осталась довольна своим новым платьем. «До чего ж красивое платье, — все говорила она. — А самое главное — тело плотно облегает. Ненавижу все эти висящие балахоны — как будто тебя в мешок сунули. Никто даже и не оглянется, когда по улице идешь. Д если в таком вот, — ни один мужик глаз оторвать не может от женщины вроде нас с тобой. Смотри: грудь вперед, талия тонкая, а вот здесь — на этот раз она ущипнула Фариду за бедро, — все колыхнется, словно бараний курдюк. Я и дома стараюсь так одеваться. Молодец, отлично скроила. Когда рукава вошьешь?»

Фариде уже изрядно надоели все эти самодовольные разговоры, советы, поучения, она слушала Гемер-ханум, а сама думала, что та рассуждает, как самая настоящая потаскуха, да еще и хвастается этим... Толстуха спросила еще раз:

— Так когда закончишь?

— Послезавтра можно будет забирать, — неохотно ответила Фарида.

— Ничего, ничего, милая, я не тороплюсь. Честно говоря, платьев у меня хватает. Просто очень уж мне этот материал понравился.

— Да, материал красивый. В первый раз такой вижу.

— Привезли из Японии. Муж у спекулянта кун пил...

Наконец Гемер-ханум ушла. В доме долго еще стоял запах французских духов...

В тот же вечер, когда дети легли спать, Фарида порылась в шкафу и вытащила свое старое шерстяное платье, очень ее когда-то красившее — она делалась в нем еще моложе, талия казалась тоньше... Кафар, бывало, не мог отвести глаз, если она была в этом платье. «Когда мы вдвоем, — говорил он, — всегда надевай это платье, ладно?» И она частенько надевала его по вечерам, возвращаясь с работы...

Не удержавшись, Фарида надела старое платье и сейчас. Она то подходила к зеркалу, то отходила от него, и на лице Кафара появилась улыбка: хоть и состарилось платье, хоть и стало оно узким, но, как прежде, шло Фариде; казалось, она словно вновь помолодела... Фарида купила его вскоре после того, как они поженились. Когда, в первый раз надев его, прошла перед Кафаром и спросила: «Идет мне?», — он ответил: «Просто великолепно! Ты в нем похожа на хрустальный сосуд...» Эти слова так понравились ей, что она долго еще заставляла повторять их: «На что, на что, ты говорил, я похожа?»

Вот и теперь, надев красное платье, Фарида вся расцвела, как и раньше, казалось, улетучилась куда-то вся ее усталость. И Кафар — тоже почувствовал себя помолодевшим, таким, как раньше, только почему-то никак не выходила у него из головы утренняя заказчица, ее рассуждения. Чувствуя накачивающуюся злость, он спросил как можно спокойнее:

— С чего это ты вдруг про него вспомнила? — Кафар старался сдерживаться, но голос все равно выдавал его. — У тебя же полно новых...

— А надену-ка я его завтра на работу. Что-то так захотелось походить в нем...

Кафар чуть не закричал на жену: «С чего это ты посреди лета влезает в шерстяное платье, которое к тому же на тебе трещит? Чтобы на тебя пялились, да?» Но удержался, чувствуя: если скажет эти слова — что-то навсегда рухнет, изменится в их отношениях.

— Ты разве не видишь, каким оно стало старым? Совсем тебе мало, выгорело...

— Да я же шучу. — Фарида вдруг словно очнулась. И тоже, видно, вспомнив разговоры заказчицы про облегающие платья, покраснела ярче своего платья и поцеловала Кафара. — Шучу, не понимаешь разве? Для тебя надела. Так хочется вспомнить те годы... Что, нельзя? Ты разве не хочешь вспомнить те годы?

— Хочу. — Кафар, уже успокоившись, улыбнулся ей. — Почему не хочу? При мне можешь надевать его, когда захочешь...

И тут произошло неожиданное: Фарида вдруг разрыдалась. Она плакала так горько, так искренне, будто узнала только что о смерти близкого человека. Кафар потянулся к ней, чтобы утешить, но она убежала в другую комнату и с треском захлопнула за собой дверь.

Перепуганные дети выскочили из своих постелей, повисли на ней, наперебой жалобно спрашивали:

— Что с тобой, мамочка? Что случилось? Немного успокоившись, она вытерла слезы и прижала к себе детей.

— Не пугайтесь, детки, ничего не случилось. Просто зуб вдруг разболелся. Прямо умираю от боли. — Для большей убедительности она схватилась за щеку. Потом встала; вскочили и дети, чтобы идти за ней следом, но Фарида остановила их:

— Давайте, давайте, ложитесь спать, уже поздно.

— Не расстраивайся, понемногу все наладится, — пошел за ней на кухню Кафар. — Вот скоро я поступлю в аспирантуру, напишу диссертацию, защищу ее, перейду в какой-нибудь институт, стану больше зарабатывать...

Фарида посмотрела на него с пренебрежительным недоверием, и Кафар, поняв значение этого взгляда, сразу умолк, съежился. Он пошел в спальню, разделся там, не зажигая света, и лег спать, так и не поужинав. Он ждал, что она позовет, как обычно: «Почему же ты ложишься голодный, иди поужинай». Но Фарида так и не позвала его.

В ту ночь Фарида легла вместе с детьми. Это была первая ночь после их женитьбы, когда она спала отдельно от Кафара.

...В ту ночь произошло еще одно событие — во сне Фариде привиделся Джабар. Давно, очень уже давно не снился он ей, а тут — как живой. Пришел вместе с Гасанагой проведать ее. Оба стояли в дверях, и как ни просила она их войти — так и не тронулись с места. И оба ни слова не говорили. Потом повернулись, чтобы уходить, и тут Гасанага сказал: «Мама, я обижен на тебя. Очень обижен». И заплакал. «Утри слезы!» — прикрикнул на него Джабар.

В ту же минуту Гасанага вытер слезы и потянул отца за руку: «Пойдем», — сказал он, и оба стали удаляться. Фарида кинулась за ними, но опоздала, их уже нигде не было видно, словно оба вдруг вознеслись на небо. Улица была прямой как стрела, проглядывалась вся, но ни Джабара, ни Гасанаги нигде не было...

Тут она закричала от ужаса и проснулась. И долго еще не могла погрузиться в сон, со смутной надеждой вглядываясь в очертания комнаты. Было так темно, что она еле-еле различала даже лежащую рядом Чимназ.

...На следующий день, после работы, ноги сами принесли Фариду к ювелирному магазину, в котором работал Джабар.

Хоронясь за толстым тополем с ободранной корой, Фарида заглянула внутрь и увидела Джабара, помогавшего какой-то женщине примерить кольцо. Когда женщина наконец ушла, из маленькой подсобной комнаты — Фарида когда-то не раз бывала в ней — вышел Гасанага. Как он вытянулся, как окреп! Совсем взрослый! Смеясь, он сказал что-то отцу, и Джабар тоже засмеялся. Он поправился за это время. Правда, поседел весь. Но седина даже шла ему.

Гасанага снял с вешалки у входа кожаное пальто, и она поняла, что сын собирается уходить. Наконец Джабар поцеловал мальчика на прощание, и когда Гасанага вышел из магазина, он, стоя в дверях, долго провожал его взглядом. Отойдя метров на двадцать, Гасанага оглянулся и, увидев, что отец все еще смотрит ему вслед, помахал на ходу рукой. Джабар помахал ему в ответ и скрылся в магазине. Тогда покинула свое укрытие и Фарида.

Гасанага спускался по Низами в сторону улицы 28 Апреля. В своем кожаном пальто он был совсем похож на взрослого парня, и проходившие мимо девушки стреляли в него глазами, перешептывались друг с другом и смеялись. Гасанага тоже рассматривал их, иногда даже оглядывался вслед. В такой вот момент он и обнаружил, что за ним идет мать. На какое-то мгновение Гасанага от неожиданности сбился с ноги, нахмурившись, еще раз кинул на нее быстрый взгляд и продолжал свой путь. Фариде пришлось чуть ли не бежать, чтобы догнать его.

— Гасанага! — окликнула она, но он и не подумал остановиться, даже не оглянулся. — Гасанага, подожди! Ты что же, такой большой стал, что с матерью даже говорить не хочешь?

— Какая ты мне мать, — буркнул Гасанага, но по тому, как дрогнул его голос, по тому, как он снова сбился с шага, Фарида почувствовала, что, хоть и не смотрит он на нее, не отвечает, в душе все равно взволнован встречей с ней, даже радуется тому, что она идет рядом.

— Гасанага, сынок...

Какая-то женщина, проходившая мимо, слишком заинтересованно посмотрела на них, потом

оглянулась еще раз.

Гасанага заметил это.

— Тише ты говори, слышат ведь!..

— Ну и пусть слушают. Я же не с чужим человеком разговариваю, чтобы людей бояться! Я со своим сыном разговариваю, пусть все видят, что сын не хочет с матерью разговаривать. Что я тебе плохого..

Гасанага с таким укором, с таким страданием посмотрел на нее, что Фариды не смогла продолжить; у нее вдруг закружилась голова; почувствовав, что еще мгновение — и она упадет, Фариды схватилась за сына.

Первым порывом Гасанаги было желание отстраниться, но когда он почувствовал, как стремится мать прижаться к нему, не стал сопротивляться. Слезы вдруг прихлынули к глазам, он еле удерживался, чтобы прямо здесь, посреди улицы, не обнять мать, не сказать ей: давай присядем, мама, где-нибудь, хоть на тротуаре, мне так хочется положить голову тебе на колени... Помнишь, как ты укачивала меня в детстве: клала мою голову себе на колени или прижимала к груди, целовала, и я не замечал, как засыпал...

Недалеко от скамейки, на которую они сели, гомонила стайка воробьев, с шумом и ссорами они клевали что-то на земле. Мать и сын глядели на этих воробьев, не решаясь начать разговор.

На скамейке напротив лежал, надвинув на лицо шапку, какой-то заросший мужчина и крепко спал. Одну из скамеек кто-то перетащил в кусты, укромное местечко, и сейчас там обнималась парочка.

Они тоже прижались друг к другу. Гасанага ковырял носком ботинка в песке, рисовал каблук какой-то загогулины, стирал и рисовал снова. Оба старались не смотреть друг на друга. Вдруг Фариды взяла сына за подбородок, повернула к себе. «Надо же, глаза, брови — все как у отца... А вот подбородок — мой, и рот, как у меня, маленький».

Губы у нее самой, как любил говорить Кафар, были похожи на пару ореховых скорлупок, а подбородок был маленький, слегка вытянутый.

— Ты уже совсем большим стал, — сказала она. — И пальто это тебе очень идет.

— Отец купил. — В голосе Гасанаги прозвучала гордость. — В прошлое воскресенье на Кубинке[5] покупали.

— Носи на здоровье.

— Спасибо. Он еще и пиджак заказал. И вельветовые брюки купил. Теперь костюм ищет. Папа говорит: если в институт поступлю, купит мне «Жигули». «Шестерку».

— А куда ж ты думаешь поступать?

— Папа хочет, чтобы я врачом стал.

— А сам чего хочешь?

— Мне вообще-то больше юридический нравится, но папа против. Он говорит: медицина — это и специальность уважаемая, и кусок хлеба. Хочет, чтобы я стоматологом стал.

— Да-да, он прав, зубной врач — прекрасная специальность, кусок хлеба всегда будет.



— Папа уже и знакомство нашел.

— Видишь, как все замечательно! Постарею — приду к тебе. Сделаешь мне вставные зубы.

— Зачем вставные? Я тебе золотые поставлю. Папа говорит: «Учись, а работать начнешь — золото я тебе доставать буду...»

— Ну, а как у тебя занятия в интернате?

— Где?

— Ой, прости, совсем забыла... Ты же ведь ушел из восьмого класса... Надо же, совсем памяти не осталось! А как ты тогда напугал нас, помнишь, когда прямо из интерната сбежал к отцу?

Гасанага молча кивнул головой.

— Знаешь что, — предложил вдруг он, — давай купим билеты и пойдем в кино, а?

Фарида улыбнулась.

— Нет, в кино я не хочу.

— Почему? — удивился Гасанага.

— Да потому, что я не смогу в кино смотреть на тебя, сколько захочу.

— А у тебя пальто совсем уже старое, — вдруг сказал сын.

— Э, да что там пальто! Лишь бы ты был здоров. — Фарида обняла его сильнее. — Теперь ваше время наряжаться.

— Я знаю, у тебя денег не хватает. Ведь ты же любишь красиво одеваться. Папа мне всегда говорит: «Я туда пойти не могу, сходи, узнай — может, маме или твоему брату с сестренкой нужно что-нибудь, так я дам денег, пусть мама купит...»

— Смотри-ка... Ну что ж, спасибо ему. Скажи отцу, что ничего нам не надо. Скажи, что уж одно то, что он об этом подумал — все равно что купил для нас что-то...

— Видишь, хоть ты папу и обидела, а он тебя не забывает.

Фарида бросила на сына долгий, изучающий взгляд.

— Ну что ж, я тоже его не забываю, — отозвалась она.

Фариде всегда казалось стыдным, что она до сих пор в глубине души питает к Джабару какие-то чувства, казалось, что это всю жизнь будет давить на нее тяжким грузом; не думала, что сможет кому-нибудь признаться, но сейчас, когда она произнесла эти слова, ей вдруг стало необыкновенно легко, она даже обрадовалась: и пусть, пусть Гасанага передаст ее слова Джабару, пусть и Джабар знает, что она помнит о нем...

— Чего же вы тогда разошлись?

Этот вопрос Гасанаги перечеркнул всю ее радость, все ее облегчение.

— Да разве я разводилась? — Фарида отвечала медленно, тяжело взвешивая каждое слово.  
— Он меня просто бросил...

— Оскорбляла, мучила его — вот он и ушел...

— Мучила! Что я ему сделала-то? Что делать, если бог меня наказал, дал тяжелый характер. Ну и он тоже... Если любил меня, должен был терпеть. — Фарида постепенно повышала голос. — В какой семье не бывают ссоры! Если он мужчина, дал бы мне разок по губам — я бы до сих пор знала свое место... Когда мужчина молчит, женщина распускается, запомни это. Никому бы не сказала, а тебе говорю, Гасанага, тебе еще пригодится; мужчина не должен быть слабее женщины!

Гасанага смотрел на мать с каким-то странным интересом: словно перед ним была совершенно посторонняя женщина.

— Дело не в том, кто сильнее, кто кого ударил. Лучше бы уж ты ударила отца, чем делать то, что ты сделала, — убежденно сказал он вдруг. — Ты что думаешь, я забыл, что ты ему говорила? Нет, ничего я не забыл. Вы, взрослые, отчего-то думаете, что дети ничего не понимают. А они понимают, все прекрасно понимают. Я чуть не с года помню все, о чем вы говорили.

— Ну что ты сочиняешь, Гасанага, — с испугом сказала она. — Неужели ты что-то помнишь?

— Конечно, помню. А одного вашего скандала до самой смерти мне не забыть. Если бы какая-то женщина сказала такие слова мне — я бы ее убил. — Лицо Гасанаги перекошилось от ненависти. — Или в ту же минуту ушел... Как отец...

Фарида сначала не поняла, о чем он, хотела даже спросить, но скоро до нее дошло: он говорит о том самом случае, когда она крикнула Джабару, что он не мужчина. Она покосилась на сына — да-да, Гасанага имеет в виду именно это... Фариду бросило в холодный пот, даже ладони стали мокрыми. А Гасанага продолжал говорить, вываливать все, что накопилось у него на сердце за это время.

— Ты думаешь, я не слышал, о чем вы говорили по ночам? Слышал. Из-за ваших ссор я спал чутко, как заяц... Или, может, ты думаешь, я не слышал, что ты по ночам говорила этому негодяю? — Фарида поняла, что он имеет в виду Кафара, но промолчала, не могла она сейчас возражать сыну, пусть скажет все, что хочет. — А с тех пор, как он... Я вообще сна лишился. Я все видел — как он крался к тебе по ночам, как вор, как ты его... как его ласкала... Пощечины, да что там пощечины — пули были бы приятнее тех слов, что ты говорила ему. После пощечины болит только лицо, а от твоих слов у меня болело вот здесь, — Гасанага показал на сердце, и как взрослый мужчина, постучал кулаком по груди. — Если бы мог, если бы у меня было ружье — я в одну из таких ночей убил бы вас обоих!..

Фарида молчала. Она чувствовала себя сейчас такой жалкой, такой несчастной и усталой, что не могла выдать из себя ни слова в защиту. А ведь ей было что сказать ему. Она могла бы сказать, что он несправедлив, что не имеет права судить мать, что слишком мало знает жизнь, чтобы рассуждать о таких вещах... Она могла бы спросить у него: «А что же мне, по-твоему, было делать? А? Что делать? Я была молодой женщиной, отец твой только разжег во мне пламя, но так и не сумел его утолить, а там и вовсе бросил одну... Это жизнь сделала меня такой... неласковой, такой сварливой...» Но нет, не могла Фарида сказать сыну всего этого и никогда бы не смогла... Она подумала устало: «Да, сварливость стала, пожалуй, второй моей натурой... Вот и с Кафаром...»

Фарида так углубилась в свои мысли, что прозевала момент, когда Гасанага вскочил со скамейки и быстро, не оглядываясь, пошел прочь. Она хотела крикнуть: «Куда же ты, сынок?» — но увидела, как часто подносит он руку к лицу, и догадалась, что сын плачет. Из-за этого и убежал — не хотел, чтобы она видела его слезы.

Дойдя до конца сквера, он на мгновение обернулся и, увидев, что мать все так же сидит на

скамейке, пошел медленнее — тяжелой мужской походкой.

И тут Фарида тоже расплакалась. Чтобы прохожие не обращали на нее внимания, она сидела, закрывшись руками и опус гив голову. Она не знала, сколько просидела так — наверное, долго, потому что вдруг почувствовала, как вся дрожит от холода, словно на улице была не осень, а снежная, ветреная зима.

В сквере уже почти никого не осталось, лишь спешили на автобус редкие прохожие. Пьяный мужчина продолжал все так же сладко спать, словно лежал он не на жесткой скамейке, а на постели из лебяжьего пуха. Теперь рядом с ним пристроилась какая-то собачонка. Да еще продолжала целоваться парочка, сидящая в укромном уголке под маслинами. Фарида машинально удивилась: неужели такие тощенькие парень с девушкой могли сами перенести туда такую громадную, тяжеленную скамейку? «Не зря говорят, что любовь придает людям силы», — подумала она... И от этой мысли почувствовала себя еще несчастней — никому не нужной, всеми забытой.

Она вышла на автобусную остановку. Отсюда был виден дом Джабара. Бросив последний взгляд на этот сероватый дом, высившийся на улице 28 Апреля, она села в автобус, шедший в сторону Старого города...

У него сегодня было отличное настроение — ведь он, несмотря ни на что, начал готовиться в аспирантуру, все у них теперь будет замечательно. Ему хотелось рассказывать Фариде обо всем, что было сегодня, и о своих занятиях, и о посещении заведующего кафедрой, хотелось развеселить рассказом об «архивных крысах», но она не дала ему даже рта раскрыть, сказала, что идет спать.

Это было впервые в их совместной жизни, чтобы Фарида так рано, раньше всех в доме, легла в постель. «Голова разламывается, — объяснила она, заметив его обеспокоенный взгляд. — Накорми детей сам. Да проверь еще уроки, а потом уложи их спать. И не давай им до ночи сидеть перед телевизором...» Они недавно купили телевизор, и теперь дети не отходили от него, пока не посмотрят всю программу.

У Махмуда уже все было сделано, Чимназ опять оставалась математика. Они вместе решили задачи, и девочка, радостная, тут же побежала включать теле-зор. Ни слова не говоря, Кафар подошел к телевизору, делая вид, что не замечает огорчения Чимназ, выключил его и велел дочери укладываться спать.

— У мамы болит голова, — сказал он, заглянув к детям, — так что давайте-ка заваливайтесь сегодня пораньше.

Махмуд, не обращая на него внимания, слушал радио — ему удалось поймать в эфире какую-то зарубежную эстрадную программу.

— Давай, Махмуд, спать, — повторил Кафар и выключил свет. Но Махмуд продолжал слушать свой джаз и в темноте, пока Фарида не закричала:

— Чтoб тебе провалиться, Махмуд! У меня уже голова раскалывается от рева твоих дьяволов.

Приемник наконец умолк. Кафар вдруг почувствовал, что тоже устал за сегодняшний день. Он бесшумно разделся, лег в постель.

У них давно уже так повелось, что Фарида с краю — всегда можно встать к детям. Но сегодня она легла у стены, повернувшись спиной. Тепло, идущее от ее тела, было таким притягательным... Он прижался к жене, обнял ее, но Фарида, впервые за все эти годы, вдруг скинула с себя его руку. «Нечего жаться, — зло сказала она, — отодвинься».

Но и это не испортило его настроения. Нет, он обязательно должен рассказать ей об «архивных крысах». Ведь стоит Фариде только услышать о них, и ее головную боль как рукой снимет. И потому, когда Фарида сама отодвинулась от него и прижалась к стене, он сказал ей:

— Знаешь, я вчера был в университете, виделся со своим заведующим кафедрой, он одобрил план работы. Знаешь, что он сказал? «Из тебя, говорит, выйдет настоящий ученый — ты трудолюбив, усидчив, умеешь работать в архивах». Мы с ним договорились, что я буду поступать в заочную аспирантуру. Конечно, лучше бы очная, но очная нам невыгодна, верно? Опять тогда все на твои плечи ляжет. А если приложить усилия, тогда все равно — что очная аспирантура, что заочная... Самое главное — это материал собрать, а потом я прямо на работе и напишу свою диссертацию...

Фарида молчала, ни звука в ответ — как будто давно уже заснула. Но Кафар-то чувствовал, что она не спит, что она о чем-то думает, и даже ее головная боль — это только предлог. Что-то ее мучает. Но что? О чем она сейчас думает? Может, на работе какие-то неприятности? Снова какая-нибудь клиентка недовольна платьем?

Он спросил ее, но Фарида по-прежнему никак не отзывалась.

А она в это время вспоминала свою сегодняшнюю встречу с Гасанагой, их разговор, то, как сын внезапно вскочил и убежал от нее. И когда Кафар повторил еще раз: «Неужели ты не слышишь? Я же в аспирантуру поступаю!» — Фарида взорвалась:

— Да хоть к черту поступай! Отстань от меня, я спать хочу!

Чего угодно ожидал Кафар в своем счастливом настроении, но только не этого. Он всегда знал, что между ними в любой момент может разверзнуться пропасть, но по своей привычке терпеть, закрывать глаза старался не думать об этом. И вот теперь — он это чувствовал каждой клеточкой своего тела — она разверзлась, и каждый из них остался по разные ее стороны...

«Да и не сейчас она раскрылась, эта пропасть, — думал он. — Давно уже. Очень давно. Притворялись оба, будто у нас все в порядке. Когда Махмуд родился, мне даже показалось, что я стал привыкать к ней, полюбил ее. Но даже тогда я только обманывал сам себя. Не зря же во мне так сильно было желание раз и навсегда покончить со всем этим... Но потом родилась Чимназ, и желание стало неосуществимым... Вот ведь как: дети погасили это желание... Как раз тогда-то я понял, что мне уже не вернуться назад, потому что теперь я должен жить ради детей. Только ради них... А та жизнь, когда еще можно было на что-то надеяться, она осталась далеко позади... Я все уговаривал себя, что уже привык к такой жизни, что давным-давно позабыл про мечты, которые светили мне раньше ярким факелом. Но ведь на самом-то деле все было не так, не так! Теперь-то я знаю, что печальные события человек забывает быстрее, чем радостные, и это понятно — ведь в жизни больше страданий, чем радости, и чтобы победить страдания, чтобы пережить горе, человек всегда, пусть и в дальнем уголке памяти, хранит мгновения счастья — чтобы в трудные свои минуты позвать их на помощь... Я все убеждал себя, что и у нас с Фаридой есть эти мгновения счастья, их надо только почувствовать, увидеть и они придут нам с ней на помощь... Но и здесь я ошибся. Не счастье это было, а всего лишь мираж, обманувший и душу мою, и зрение. Всего лишь мираж, вот и все... И вот что же мне теперь делать, что делать в таком возрасте, да еще с двумя детьми? Бросить их? Куда, на кого? Уйдешь, а Фарида вдруг подцепит на аркан еще кого-нибудь, и что тогда будет с моими детьми? То же, что и с Гасанагой?.. Что я теперь могу, в таком возрасте? И что толку жениться еще раз — новые дети не успеют встать на ноги, а у меня уже будут дрожать руки и трястись голова... Я и без того уже оступился, изуродовал себе жизнь... Это она, Фарида, словно древоточец, изгрызла меня всего изнутри... Да и сколько вообще живет нынешний человек — лет шестьдесят, ну, немного

побольше... И на кого ж я оставлю в таком случае своих новых детей?.. Они же проклянут мою могилу, скажут: зачем ты создал нас, если знал, что бросишь на полпути?.. Нет, я сам виноват во всем, сам во всем виноват... Почему я стал таким робким, неуверенным в себе, трусливым? Да, да, стал трусливым, как заяц! А тогда... Балаги испугался! Что он, убил бы меня, что ли? Да что, законов, что ли, в мире уже не существует? Да нет, видно, даже и не в Балаге дело — ведь его давно уже здесь нет, арестовали, когда еще только родился Махмуд, и мотает он сейчас срок... Нет, дело все во мне самом, в трусости, что поселилась в моей душе... Что меня, исключили бы из университета? А если б даже и исключили, выгнали б к черту — ну и что? Поступил бы рабочим на завод. Неужели Гюльназ не вышла бы за меня замуж, если б узнала, что я простой рабочий?.. Да вышла бы! А если б и не вышла — жил бы сейчас свободный, спокойный. Чувствовал бы себя мужчиной...»

Ему стало совсем тоскливо. Мужчиной бы он себя чувствовал... Да попробуй он только сказать это слово при ней, при Фариде! Ему так и почудилось, что он слышит ее хохот, слышит, как она, издевательски смеясь, кричит на весь мир: «Ха-ха-ха! Нет, вы только посмотрите на этого „мужчину“, люди! Мужчина! Нет, вы только посмотрите, что он о себе возомнил!»

Воображение не дает ему покоя: Фариды уже не просто кричит, она вопит так громко, что голос ее долетает до его родной деревни, слышен маме, слышен Гюльназ. Мама плачет, а Гюльназ и не плачет и не смеется вместе с Фаридой — она только удивленно смотрит на него. И Кафар, не выдержав этого ее взгляда, шепчет: «Да, Гюльназ, это так... Я растерял в городе все свое мужество. Нет-нет, я не хочу сказать, что все в городах теряют мужество. И в городе есть настоящие мужчины. Вот, например, первый муж Фариды, Джабар. Он оказался таким мужественным, что плюнул на все и ушел. А у меня не хватило смелости оставить ее. Ты спрашиваешь, как получилось, что я растерял все свое мужество? Не знаю даже, что тебе сказать... Не помню. Я думаю иногда: может быть, во всем деревня виновата — это она вырастила меня робким, скрывала от меня настоящую жизнь в каком-то тумане. Вот я и растерялся, когда она выбросила вдруг меня в город. Ведь когда туман рассеивается, когда лучи солнца начинают бить в лицо — глаза слепнут, бывает, даже сбиваешься с дороги, не знаешь какое-то время, в какую сторону тебе идти... Вот так случилось и со мной. Увидел Фариду, ее белую грудь — и сбился с пути. К тому же все это было у меня впервые в жизни... Так виновата деревня?.. Нет, город виноват, вернее — горожанка Фариды, это она сбила меня с пути, чтобы устроить свою жизнь... Да и сам хорош — была бы голова на плечах, была бы вера в себя — ни за что не сбился бы с дороги... А другой раз я думаю, что во всем виновата моя бедность... Да, да, бедность. Фариды кормила меня, одевала и тем самым заткнула мне рот. Стоило мне заговорить о том, что люди живут между собой и по-другому, лучше, как она напоминала, что я учусь за ее счет. А будь у меня деньги — разве нужна бы мне была ее помощь? Клянусь богом, не я виноват, Гюльназ... Во всем он виноват, город... Ведь у меня в этом громадном скопище людей не было никого, к кому бы я мог обратиться за помощью, а потому вынужден был брать в долг у Фариды... Это ужасно — одалживаться у женщины, Гюльназ, зависеть от нее в этом! Ведь если ты живешь за ее счет, то как ты можешь сохранять веру в свое мужество?! Нет, Гюльназ, ты не знаешь города, не знаешь, что это значит — быть в нем одиноким... Ты права, ты, конечно, права — я мог бы все это вынести, мог бы работать по ночам. Ведь среди моих однокурсников было немало таких, кто работал по ночам охранниками, санитарями, грузчиками... А значит — я сам во всем виноват, только сам... Вы с мамой, ради бога, не обижайтесь на меня, постарайтесь понять: город — это город, он переделывает человека так, как считает нужным...»

Ему вдруг показалось сквозь забытие, что кто-то неподалеку от него плачет. Он удивился. Кто бы мог это быть? Ведь он один по свою сторону пропасти, совсем один.

Иногда, когда видишь горько плачущего человека, невольно думаешь: «Ну и что из того, какое мне дело до этого — пусть плачет, может, он сам виноват и теперь оплакивает свою вину. А если у него на душе какое-нибудь горе, тогда тем более, пусть выплачется, облегчит сердце

— когда человек плачет, с его сердца не только тяжесть спадает, оно еще и смягчается, очищается от вины, от греха». Бывало, что Кафар и сам тихо и горько плакал, бывало. А вот сейчас он и рад бы был заплакать, да не смог: горе бывает столь велико, что словно осушает все слезы...

И вдруг холодом опахнуло его сердце — он понял, что это Фарида плачет так жалобно. «Что случилось? — хотел спросить он. — Почему ты плачешь? Ведь все, что произошло, — произошло со мной, это я должен плакать...»

Но он так и не спросил ее ни о чем, потому что не нашел в себе ни силы, ни желания не только разговаривать, но даже просто протянуть руку, чтобы погладить ее, пожалеть...

Сдавая «минимум», Кафар получил две пятерки и одну четверку — по английскому языку. Он бы и по английскому пять получил — текст перевел хорошо, правильно, но дама, принимавшая у него экзамен, сказала, что снижает ему оценку за то, что не сумел уложиться в положенное время на целых двенадцать минут. И тут же поздравила его с поступлением в аспирантуру — общий балл у него все равно был выше, чем у соперника. «Из вас вышел бы хороший преподаватель английского языка, — добавила эта дама, — жаль, что вы не на мою кафедру идете... Нам очень нужны такие трудолюбивые, способные люди».

Вернувшись в радостном возбуждении домой, Кафар прямо с порога расцеловал детей, хотел было обнять и Фариду, но та отстранилась.

— Только без глупостей, ради бога, — сказала она хмуро и вышла из комнаты.

А вечером вдруг, ни с того ни с сего, они опят, поссорились. И опять началось все из-за денег.

Кафар, не выдержав, все же спросил ее, почему она его не поздравит. Фарида поджала губы.

— А что ты, интересно, такого совершил, что тебя поздравить надо?

— Как что?! Я в аспирантуру поступил! У меня был соперник, но я сдал лучше.

Махмуд и Чимназ разглядывали отца с необычным интересом, Чимназ все переспрашивала: «Папа, а ты правда будешь ученым?» И Кафар гордо отвечал ей: «Конечно. Сначала стану кандидатом филологических наук, потом доктором. Защищу диссертацию — и стану доктором».

Фарида, слышав этот разговор, опять демонстративно ушла на кухню. Прислушиваясь к тому, что говорил Кафар детям, она резала лук, из глаз ее хлестали слезы.

— Надеемся, детки, надеемся, — проворчала она и не удержалась, отложила в сторону нож, вышла, утирая глаза, на веранду. — Ждите, дети, авось ваш папочка профессором станет... когда рак свистнет...

Кафар обиделся.

— Какой рак? Почему это я не стану профессором? Что профессора — не такие же люди?

Фарида, все еще утирая слезы, сказала зло: — Ну, во-первых, для того, чтобы стать профессором, надо, кроме знаний, иметь то, чего у тебя нет — смекалку. А во-вторых... Ну, предположим, ты защитишься. А что потом? Что — тебе платить будут больше?

— Конечно.

— А на сколько же?

— Ну... Если в архиве останусь — ни на сколько. Поэтому неплохо бы перейти в какой-нибудь научно-исследовательский институт. Ясно, конечно, сразу меня старшим научным сотрудником могут не...

— Ну, хорошо, — перебила она. — Допустим, стал ты старшим научным сотрудником, и сколько же ты тогда будешь получать?

— Двести сорок рублей. А будет стаж — и все триста двадцать.

— И это все?

— А что, по-твоему, это мало?

Фарида, якобы от восторга, всплеснула руками и рассмеялась. Глядя на нее, развеселились и дети. Да и сам Кафар не выдержал, улыбнулся. Вдруг она снова помрачнела, спросила, тыча ему в грудь пальцем:

— И это все? Это будет вершиной, твоим потолком? Несчастный, да твоя месячная зарплата ученого меньше, чем у меня, простой портнихи!

— Что — я, что ли, устанавливал эти оклады? — угрюмо сказал Кафар. Он посмотрел на детей — чувствовалось, что настроение у них меняется, что теперь отцовское ученое будущее вовсе не кажется им таким заманчивым... Махмуд даже сказал, подумав: «А ты лучше пойдешь, папа, торговать пивом или водой, а? Со мной один мальчик учится, у него мама газировку продает, она ему и лайковую куртку купила, и вельветовый костюм. Он, этот мальчик, еще хвастался: мы, говорит, вельветовый костюм на Кубинке за двести пятьдесят рублей покупали. Зачем ученым, а, пап? Ты лучше водой...»

— Ах, что вы, дети, — усмехнулась Фарида, — подождите еще лет десять, бог даст, станет ваш папочка старшим ученым, месяц-другой посидите голодными, и купит он вам такой же костюм. Только ты имей в виду, сынок: ты все это время не должен расти, потому что если вырастешь — все испортишь. Ведь вельветовый костюм для взрослого за двести пятьдесят никто не продаст. Ну, а к тому времени, когда ты постареешь, он тебе, может, и лайковую куртку приобретет...

— Да что же делать-то? — сердито пробормотал Кафар. — Через какое-то время защищу докторскую. Тогда оклад еще прибавится.

— На сколько?

— Доктор... Ну, он около четырехсот получает.

— И всего-то? Ладно, про лайковый плащ я уж и не говорю... Ты хоть знаешь, сколько на Кубинке один только пиджак стоит? Пятьсот рублей... Так что, дорогой, этот виноград для тебя всегда зелен будет. Понял?!

— Ну и что же, мама, — рассудительно сказал вдруг Махмуд, — если папа будет работать в каком-нибудь институте — он потом и нам туда поступить поможет...

Фарида снова расхохоталась.

— Кто, твой отец? Господи, да откуда в нем такое проворство! Умные-то люди, если в институтах преподают, не только своих детей учиться устраивают. Потому и живут как короли, а зарплата у них так, на мелкие расходы.

— Ты же знаешь, — сказал Кафар с тихим упрямством, — что этого как раз я не смогу. Я не привык есть хлеб, который заработан нечестным путем!..

— Ну и дурак! Вот и все, что я могу тебе сказать. Да разве сейчас можно прожить на одном честном куске хлеба? Ты посмотри вокруг, на настоящих людей! Если мужчина соображает что к чему — он обязательно смешивает честное с нечестным, да так, что никто и подкопаться не может, а у него всегда есть на всякий случай лазейка.

— Да ты что, не слышишь разве, Еак таких пре-нодавателей институтов чуть не каждый год сажают?

— Если кого и сажают, — отмахнулась Фарида, — так это таких же растяп, как ты. Сажают тех, у кого денег мало.

Кафар растерянно посмотрел на детей, словно ждал от них поддержки.

— Сразу скажу, ребята: будете в институт поступать — не рассчитывайте ни на кого. Если будете хорошо учиться — перед вами все двери раскроются. Возьмите хоть меня: разве меня отец в университет устраивал? Я сам...

— О чем ты говоришь, слушай! Разве твой отец был жив, когда ты в свой университет поступал?

— Нет. Но если б он и был жив, все равно ничего бы не стал, да и не смог сделать. Ведь он был простым колхозником, даже в Баку за всю жизнь ни разу не побывал.

— Нет, вы видели? — Фарида обращалась к детям, опять возмущенно всплеснув руками. — Вы видите теперь, какой у вас отец? Еще и дела-то никакого нет, а он уже руки умывает!

Махмуд горестно посмотрел на него.

— Эх, папа, ты потому и пошел в ученые. А был бы у тебя нормальный отец — был бы ты теперь прокурором или продавцом воды. Знаешь, как мы бы тогда хорошо жили!

Кафар не помнил, как вскочил, как вlepил сыну пощечину — такую сильную, что Махмуд с окровавленным ртом упал на пол. Чимназ, закричав от страха, бросилась к матери, а Фарида, оттолкнув ее, схватила на руки Махмуда, закричала, утирая кровь с его лица:

— Вот-еот! Только, чтобы детей бить, твоего мужества и хватает! Если уж ты такой мужественный — прояви себя в чем-нибудь другом, чтобы и семье твоей польза была!

— Замолчи сейчас же! — закричал Кафар на жену едва ли не впервые в жизни.

Она было опешила от неожиданности, но замолчать совсем, видно, было не в ее силах.

— Я что, для того их с таким трудом ращу, воспитываю, чтобы ты их до крови бил? Если уж ничего детям дать не можешь, так хотя бы не обижай их!

Махмуд, до сих пор молчавший, вдруг заорал в голос. Глядя на него, заплакала и Фарида, снова взяла мальчика на руки, прижала его, как маленького, к груди. А тут еще не выдержала, разревелась и Чимназ...

А Кафара душил такой гнев, что он готов был тут же, сию минуту бросить все, уйти из дома или кинуться из окна вниз головой.

— Что я еще могу сделать! — кричал он в бессильной ярости, глядя, как плачущая Фарида уводит зареванных детей в их комнату. — Не могу же я превратить в деньги самого себя! Я и так отдаю вам все, что у меня есть.

Фарида отмалчивалась, и это еще больше выводило его из себя. В боязни сотворить



что-нибудь ужасное, что-нибудь непоправимое, он вышел на улицу и мало-помалу взял себя в руки.

Когда он вернулся, в доме, казалось, все шло, как до Скандала: Махмуд снова слушал по радио какую-то зарубежную станцию, из комнаты доносилась то арабская речь, то разухабистая нездешняя музыка.

Чимназ сидела у телевизора, смотрела мультфильмы; Фарида, как всегда, крутилась на кухне.

Кафар пошел в свою комнату, сел за книги — пожалуй, сейчас это было самое правильное, что он мог сделать. Фарида, заметив это, хотела было прикрикнуть на сына: хватит, мол, трескотню слушать, голова уже разламывается, но, назло Кафару, ничего не сказала, наоборот, даже крикнула Чимназ: «Прибавь-ка звук, чтобы и я хоть что-нибудь слышала...» Чимназ прибавила звук...

Наверное, с полчаса сидел он впустую над книгами, наконец не выдержал.

— Фарида! — позвал он. — Поди сюда, прошу! Она вошла, и Кафар нетерпеливо схватил ее за руку. Фарида вздрогнула, закричала с легким испугом:

— Что случилось, что тебе еще от меня надо?!

— Сядь, пожалуйста, нам надо поговорить.

Он был спокоен, рассудителен, и Фариде это тут же придало уверенности, ора снова почувствовала себя сильнее.

— Слушаю вас, товарищ ученый! — насмешливо сказала она и по-солдатски приложила руку к виску.

Кафар снова почувствовал, как мгновенно начинает захлестывать раздражение, но сумел сдержать себя.

— Я тебя об одном только прошу: подумай, что ты делаешь, — как можно спокойнее сказал он. — Ведь ты же детей делаешь несчастными. Ты просто уродуешь их. Ведь у них ничего в голове не будет, кроме денег и тряпок.

— А им, между прочим, ничего другого и не надо, — отрезала она. — Почему ты считаешь, что мы должны жить хуже других? Зачем, по-твоему, люди из кожи лезут, стараются красиво одеваться, жить в достатке, чтобы был хороший дом? Потому, что сейчас все так живут! А кто, по-твоему, должен обо всем этом заботиться? Я? А зачем же, скажи на милость, я тогда выходила замуж? Или что, по-твоему, женщина выходит замуж для того только, чтобы как ишак работать? Нет, она выходит замуж, чтобы у нее был муж, чтобы он содержал ее, как настоящую женщину.

— Да что мы — раздетые ходим? Голодные?

— Вот-вот!..

— Ты... Да ты пойми, что если ты настроишь детей, если они не будут уважать нас, меня, как ты потом-то сможешь удержать их около себя?! Неужели тебе это непонятно? Рухнет последняя связь, и все — ни о каком воспитании уже нельзя будет говорить.

— Ты что, меня позвал, чтобы нотации мне читать? — Кафар безнадежно махнул рукой, а она продолжала: — Ладно, хватит лясы точить. Нет у меня времени бездельничать, как ты, у меня обед на плите. Не дам вам поест вовремя — вы же, как голодные волки, на меня

наброситесь. — И она, торжествуя, вышла, хлопнула дверью.

Кафар совершенно не представлял, как ему быть дальше. Ну что, пойти избить се? Или все же еще раз попробовать убедить? Ну нельзя, нельзя так вести семью, так воспитывать детей!.. Но вспомнив насмешливые, издевательские взгляды Фариды, он в отчаянии бросился на кровать и сжал голову руками...

Прошло еще четыре года, и за это время случилось в их жизни не одно важное событие.

Первое событие произошло еще в их стареньком дворике в нагорной части города.

Случилось оно третьего мая. Кафар хорошо запомнил, что было третье мая, потому что каждый год, именно в этот день, старая Сона одевалась во все черное — даже тапочки на ногах, и — те у нее были черными. В этот день, третьего мая тысяча девятьсот сорок пятого года, она получила похоронку на сына...

Конечно, с утра Кафар не помнил про эту дату, а вспомнил лишь вечером, когда, возвратившись с работы, вошел во двор и увидел, что старая Сона сидит под тутовым деревом, расстелив на земле палас. Вообще-то под тутовым деревом была скамейка, но старая Сона предпочитала весной и летом расстилать палас, а сверху еще клала подушечку, на которую облокачивалась. Была в этом своя причина, и старая Сона ее не скрывала: «Вот так любил сидеть на паласе и мой сынок», — говорила она.

Завидев Кафара, старуха поманила его к себе и спросила озабоченно:

— Ты еще не слыхал, сынок? Наши дома сносить будут...

Кафар устал сегодня, ему хотелось побыстрее пройти мимо и оказаться дома.

— Ай, ерунда, — отмахнулся он, — сколько лет я здесь живу, столько и слышу, что будут сносить. И каждый раз слухи эти оказываются пустыми...

Но старая Сона даже привстала со своего паласа, чтобы задержать его.

— Нет, сынок, на этот раз все правда. Приходил главный над домами, велел всем подготовиться. Сказал, что через три дня будут нас перевозить. Даже бумаги уже на новые квартиры роздал. Вашу Фаридка сама забрала. — Сона горестно всплеснула руками. — Ну скажи, разве можно так делать, сынок? Разве можно допускать такое, что они с нами устраивают?

— А что так переживать-то, матушка? Все правильно они делают — пусть снесут все эти старые, кособокие хибары, а на их месте построят красивые, высокие дома. Наш Баку только еще нарядней станет.

— Это тебе легко так говорить, сынок. — Губы старой Соны дрожали. — Ты только не обижайся, но тебе легко так говорить — ведь родился не здесь, ничто тебя не связывает с этим вот тутовым деревом, со всем этим кварталом. А я... сколько уж лет здесь... И свадьбу мою здесь играли, и сына своего, прости меня, здесь родила. В каждом уголке здесь, на каждой ветке тутового дерева вижу его слезы, чувствую его дыхание. — Ее старые потускневшие глаза наполнились слезами.

Кафар заторопился домой. «Да, — подтвердила Фаридка, — все так и есть. Вот он, ордер на нашу новую квартиру». Кафар развернул бумагу. Квартиру им давали трехкомнатную, в Старом городе.

— Наконец-то и от тебя хоть какая-то польза есть, — со смешком сказала Фаридка. — Начальник жилищного управления раза три повторил, что эту квартиру нам по личному

указанию секретаря райкома дают. Я, если честно, и не надеялась, что у тебя что-нибудь выйдет, что друг твой вспомнит о нас...

— Ну и зря! Фарадж очень внимательный человек. Обещал мне, как только будет возможность, выделить квартиру в центре, — говорил Кафар с гордостью. — Вот и сдержал свое слово. Друг есть друг.

— Ох, я так рада, что квартира у нас теперь в Старом городе будет. Только ты Соне сказать не вздумай, где нам дают, — спохватилась она.

— Это еще почему?

— Ай, начнутся всякие ненужные разговоры, всякая там эта... демагогия...

— Ей-то самой где дали?

— Честно говоря, даже и не спросила.

Тут мимо них пробежала Чимназ: «Мама, я пойду во двор погуляю!» А минуту спустя со двора донесся ее истошный крик: «Ма-а-ма!»

Не раздумывая, кинулся Кафар на этот крик, не зная, что и предположить. Еще на лестнице он увидел, что Чимназ стоит около старой Соны, а сама Сона сидит, как сидела, все так же прислонившись к дереву. Сбегая вниз, он еще раз оглядел весь двор, но так и не понял, что могло случиться с Чимназ.

— Что ты кричишь, как сумасшедшая? — сердито спросил он.

И только подойдя совсем близко, увидел, что Чимназ трясется вся, как в лихорадке, и, не в силах вымолвить ни слова, тянет руку в сторону старой Соны, показывает на что-то...

И вдруг Кафар сразу все понял: глаза старой Соны остекленели, руки бессильно повисли, на губах выступила пена. Кафар опустился на колени, приподнял ее за плечи.

— Матушка, матушка...

Старуха с трудом повернула к нему лицо, и он ужаснулся: глаза ее были совсем тусклыми, огонь жизни покидал их.

— Матушка Сона, что с вами? — закричал он. — Это я, Кафар!

Не выдержала, заметив всю эту странную суету во дворе, и Фарида. Вдвоем они осторожно уложили Сону тут же, на паласе, подложили подушку ей под голову.

— Давай отнесем в дом, что ли, — предложила Фарида.

Но Кафар воспротивился: «Нет, нельзя. Если у нее инфаркт — должен быть полный покой. Надо бы стренько дать ей лекарство...»

— Лекарство? А где его взять, да еще быстро? У нас ведь сердечников тут нету. Если только у нее в доме...

Фарида порылась у старой Соны, но безуспешно — сердечных капель у нее не оказалось, был только аспирин да таблетки от головной боли.

Кафар не хотел, чтобы Фарида знала, что он носит с собой валидол — несколько дней назад ему было плохо.

Но сейчас другого выхода не было, и он бегом бросился в дом, накапал двадцать капель корвалолола. Хотя, впрочем, там могло быть и больше, и меньше — капало слишком медленно, и Кафар, не выдержав этой заминки, вылил лекарство прямо из горлышка.

Он поднес стакан к губам старой Соны:

— Выпей, матушка, и все пройдет. Как только выпьешь — сразу сердце успокоится, тебе полегчает.

Старая Сона попыталась открыть рот, но лишь замычала от бессилия. Кафар силком раздвинул ей челюсти, а Фариды влила лекарство.

Видно было, с каким трудом проглотила его Сона. Корвалол быстро подействовал — лицо Соны, до того словно окаменевшее, вдруг расслабилось, отмякло. Кафар облегченно повернулся к Фариде.

— Беги скорей, позвони из автомата в «Скорую помощь».

Фарида как спустилась во двор босиком, так босиком и выбежала на улицу. Но тут же вернулась, расстроенная.

— Не работает телефон, — вздохнула она. — Кто-то трубку с корнем выдрал.

— Оставайся, посиди с ней, — мгновенно решил Кафар, — я сейчас сам вызову.

«Скорая помощь» была примерно в километре от их дома, вниз по улице. Кафар, задыхаясь, добежал до станции «скорой», еле переведя дыхание, объяснил дежурным, что надо торопиться, потому что женщина умирает.

Врачи — один из них пожилой мужчина, другой помоложе — играли в нарды. Пожилой, будто ничего не слышал, погремел костями и бросил их.

— Эх, две шестерки, — закричал он, передвинул четыре стоявших в углу фишки в противоположный угол и только после этого соизволил посмотреть на Кафара. — Ну вот, а теперь объясните нам спокойненько, что там у вас произошло? Что за женщина? Отчего умирает?

— Это... Старая Сона... Она умирает...

— Старуха? И всего-то? А я думаю, кто это там умирает. Эх, если бы только старухи и умирали. Такие времена настали — до старости-то еще и не доживешь...

Кафар, перекосившись от злости, так рванул медика за ворот халата, что у того все пуговицы поотлетали. Задыхаясь, тот крикнул было:

— Това...

— А ну, вставай, подлец! — снова рванул его Кафар. — Кому говорю! А не то сейчас придушу прямо здесь вот...

На шум подошла пожилая женщина в белом халате. Видимо, это было какое-то начальство, потому что при ее появлении мужчины, игравшие в нарды, вскочили на ноги. «Что за безобразие здесь происходит?» — спросила женщина, и когда Кафар, задыхаясь от ярости, объяснил ей все, она тут же распорядилась:

— Что вам еще непонятно? Поживее двигайтесь. Живее, живее! — Игроки в нарды нехотя отправились собираться, а пожилая женщина повернулась к Кафару. — А зачем же вы сами

пришли, почему не позвонили?

Кафар объяснил и это. А сам, не отрываясь, смотрел в ту сторону, куда ушли мужчины. Наконец они появились, и Кафар догадался, что молодой, который нес на плече большую кожаную сумку, был врачом, а пожилой — санитаром.

Они так долго рассаживались в машине, так долго ждали, пока прогреется двигатель, что Кафару подумалось: пешком бы они дошли много быстрее.

Когда «скорая» наконец въехала в их двор, Кафар увидел, что Фарида плачет, а старая Сона неестественно прямо лежит на паласе с закрытыми, глазами.

Врач взял худую, сморщенную руку Соны, поискал пульс... Потом наклонился, прижался ухом к ее груди и тихо сказал:

— Все. Скончалась. — На всякий случай он еще приложил ладонь к ее губам. — Да, конец.

Фарида, которая стояла все это время, кусая губы, всхлипнула:

— Кафар только ушел, а у нее глаза сразу закатываться начали... Прошептала что-то, и все... Так страшно — лежит, а глаза открытые. Я уж потом закрыла... Смотреть страшно... отвернулась и закрыла...

Заревела вдруг в голос Чимназ, до сознания которой только теперь дошло, что в их дворе случилась беда. Глядя на дочь, тихо заплакал и Кафар.

— Все, — встал врач. — Нам здесь больше нечего делать. Вы что — ее родственники? Мы должны отвезти тело в морг.

— В морг-то зачем? — встрепенулся Кафар.

— Как зачем? На вскрытие, чтобы определить причину смерти.

— Да какая тут может быть причина? Вы что, не видите разве, что это старуха? От старости и умерла. — Фарида решительно встала между врачом и старой Соной. — Вскрытие! Мы и так знаем, отчего она умерла!

— Таков порядок! Раз вы нас вызвали — мы должны отвезти ее для вскрытия, иначе у нас могут быть неприятности. Как же не вскрывать? А вдруг... Вдруг кто-нибудь зачем-то ее убил?

Пожилый санитар усмехнулся:

— Сколько угодно бывает! Живет себе старуха, а у нее золотишко водится, то-се...

Кафар с такой яростью посмотрел на него, что санитар тут же умолк и отступил назад.

— Это наша бабушка. — Кафар тоже встал между врачом и старой Соной. — Моя бабушка, и я не позволю вскрывать ее. Не понимаю, зачем придумывать какие-то глупые правила...

Врач снисходительно улыбнулся:

— Да это не мы придумываем, это везде такой порядок, по всей стране. Так что не будем сердиться, не будем обижаться, мы должны увезти покойную.

— Да для чего?

— Об этом мы уже говорили. Во-первых, мы догадываемся, что покойная вам не

родственница...

Фарида, видимо, из предосторожности, из опасения, как бы это все не кончилось неприятностями, сказала:

— Видите ли, это наша соседка. Давняя соседка. У нее в Нардаране живут дочка и внуки. Мы им сообщим, чтобы они приехали.

Врач стал совсем непреклонным:

— Вот как... Ну что ж, и говорить не о чем — мы обязательно должны увезти тело для вскрытия. Вы официально вызвали нас, вызов зафиксирован, зачем нам это надо, чтобы у нас завтра были неприятности?

Кафар пробормотал негромко, словно самому себе:

— Она была верующая, наша бабушка Сона. А у верующих вскрывать покойного считается грехом.

Врач ответил, записывая что-то:

— Но вот те же ее родственники... Ведь им всякое может прийти в голову, разве нет? Женщина старая, может, у нее были какие-нибудь сбережения, а дочь знала о них... Начнут, не дай бог, таскать вас... Так что вам же лучше...

В конце концов тело старой Соны все же увезли.

Они с Фаридой, провожая машину, вышли на улицу, долго смотрели вслед «Скорой помощи». А когда вернулись, им показалось, что двор словно бы опустел. От флигелька старой Соны несло печалью. Дверь в него была открыта, Кафар нашел ключ, запер на всякий случай дом и протянул ключ Фариде. Но Фарида его не взяла.

— Зачем он мне?

— Убери, потом отдадим дочери. Ты, кстати, знаешь, где она живет?

— Н-нет, не знаю... Хотя адрес у меня где-то записан. Пстой, пстой, там же должен быть и телефон. Был случай, она однажды сильно заболела, попросила меня позвонить...

Они поднялись наверх. Фарида перерыла весь дом и наконец отыскала номер телефона — он был записан на обложке одного из журналов мод. Кафар яшел сообщить дочери Соны печальную новость.

В тот день Фарида с Кафаром уснули поздно. Они долго еще сидели друг против друга, молча пили чай. Наконец Кафар не выдержал.

— Все хочу у тебя спросить, да каждый раз что-то мешает... Что, старая Сона и в самом деле завещала похоронить ее в Нардаране?

— Конечно, — удивилась Фарида. — Перед смертью, когда ты побежал за врачами, она мне и сказала.

— Я знаю, почему она хотела, чтобы ее похоронили именно там.

— Знаешь? Откуда?

— Вообще-то она мне про это давно говорила. Чуть не каждый раз, как я заходил к ней, говорила: скажи дочке, чтоб обязательно меня в Нардаране похоронили.

— Интересно, а почему именно там?

— Да ведь они нардаранцы. И ее родители оттуда, и вся родня. А что она тебе еще успела сказать? Или ничего?

— Еще? А говорила, что видела ночью во сне сына. Сказала, а сама повела глазами на тутовое дерево, на свой флигель. И так, знаешь, грустно посмотрела, что у меня аж сердце чуть не разорвалось. Правда, правда. Ни разу в жизни не видела такой грусти в глазах ни у кого. До сих пор эти глаза забыть не могу.

— Да... старая Сона... Хорошим она была человеком.

Фарида вздрогнула: так вдруг перекликнулись слова мужа с последними словами старой Соны. А последнее, что она сказала Фариде, было: «Не мучай Кафара, Фарида! Он ведь очень хороший человек, у него такое чуткое сердце, а ты...» Да, сердце у него чувствительное, больше, чем надо бы мужчине... И вдруг она вспомнила, как они искали лекарство для старой Соны.

— Слушай, а откуда у тебя взялись сердечные капли?

— Какие капли?

— Ну, которые ты давал старой Соне.

— Это мои.

— Твои? У тебя что, сердце болит?

— Да так... Иногда.

— А почему ты до сих пор ничего не говорил мне?!

— А зачем? Зачем я еще тебя буду расстраивать, какой смысл?

И вдруг Фариде бросилось в глаза, что виски у Кафара уже совсем седые. Она вздохнула.

— Да-а... и мы тоже стареем... Идем-ка спать, ведь завтра с утра на работу. Оба сегодня устали... Знаешь, у меня даже колени ноют.

— Еще бы! Столько простояла на кладбище — вот и ноют.

— Царствие небесное старой Соне, но все-таки эти моллы ужасно долго молятся, верно?

Кафар ничего не ответил ей. Он и впрямь очень устал за сегодняшний день; к тому же его еще на кладбище начал бить такой озноб, как будто на дворе был не май месяц, а глубокая холодная осень.

Они легли, но долго почему-то оба никак не могли заснуть. То ли думали о смерти, то ли о старой Соне; лежали молча, не в силах заговорить друг с другом... Кафар думал о старой Соне, и вспоминалась ему почти такая же старенькая мама. Почему-то пришла в голову страшная мысль о маминой смерти, о том, что и она вот так же может умереть в одиночестве, а они, ее дети, узнают об этом время спустя, и ни один из них не услышит ее последних заветов. Чтобы отогнать эти жуткие мысли, он обнял Фариду — все-таки близкий, такой теплый человек... Фарида даже не шевельнулась — почувствовала, видно, чем вызвана его ласка. Но все-таки то, что Кафар был рядом, обнимал ее, принесло Фариде какое-то облегчение: ведь и ее душа была сейчас объята кошмаром — она никак не могла забыть полные печали глаза старой Соны...

Второе событие произошло три дня спустя. Их посетил представитель жилищного управления, который ругался на чем свет стоит и заявил, что делает им последнее официальное предупреждение: чуть ли не сегодня же они должны собраться и переехать, потому что уже завтра сюда пригонят машины, начнут сносить их квартал.

Так оно и получилось: уже на следующий день приехали рабочие из жилуправления, прибыл бульдозер, и дома, которые бог знает в каком веке, кем и за сколько лет были построены, начали сносить. Добрались и до их двора — пришли рабочие, спилили тутовое дерево, а потом бульдозер еще полдня выковыривал пень. Оказалось, за время своей жизни тутовое дерево пустило такие корни, что они потянули за собой чуть ли не весь асфальт во дворе.

А восьмого мая они переехали. В тот самый, уже знакомый нам дом в одном из тупиков Ичери шехер...

Они кончили заносить вещи в дом уже поздно ночью, и все в квартире было, как при всяком переезде — кругом беспорядок, вещи загромождают проходы, ни приткнуться, ни присесть попить чаю. А утром следующего дня Фарида и Кафар, а вместе с ними и дети, снова и, снова обходили свой новый дом, прикидывая, где у них тут что будет. Комнаты были большие, с высокими потолками. И еще просторная веранда. И кухня здесь была большой, а сбоку от нее — крохотная, но очень аккуратненькая душевая. Фарида не могла скрыть своей радости.

— Расположение комнат немного на наш старый дом похоже, верно? А стены! Обрати внимание — какие толстые, каменные... Просто замечательно — летом здесь будет прохладно, а зимой — тепло. Да, знали люди в старину, как надо дома строить... Ей-богу, расположение комнат, как у нас там. Одно только отличие — здесь две проходных комнаты... А в задней, пожалуй, темновато будет. Но ничего, верно? Устроим там спальню. А веранда — просто чудо! Смотри, насколько длиннее и шире нашей старой! Такая веранда — прекрасная вещь, в комнатах всегда чистота будет. Вот эту комнату мы возьмем себе, согласен? — Фарида улыбнулась. — А те две отдадим детям, пусть учатся спокойно, не мешают друг другу. И те, кто к нам приходиться станет — им тоже мешать не будут. И вообще, они уже выросли, пусть в разных комнатах спят. — Чимназ при этих словах покосилась на свою круглящуюся под кофточкой грудь и покрылась румянцем. — А из веранды я, пожалуй, гостиную сделаю. Смотри, какая она громадная. Я ее обставлю, сошью, что надо, на окна, на двери, настоящая зала будет! Так, а куда мы пристроим мою «правую руку»? «Правую руку», то есть ваше хлебное дерево, я поставлю... — Она обвела квартиру глазами. — Поставлю ее в комнате Махмуда. Все равно уже в последнее время по ночам много шить не могу, в глазах темно. Когда мне надо будет поработать, Махмуд перейдет к сестре... Хотя нет, так не пойдет, от машинки будет шум, из-за шума им и в голову ничего не полезет... Может, на веранде поставить? И на веранде нехорошо — тогда она не похожа станет на залу... А, ничего! Поставлю в нашу с тобой комнату. А что? Будет стоять в углу, что уж тут такого плохого? — Она обернулась к Кафару. — Что скажешь-то? Решено, пусть стоит в нашей с тобой комнате. А вон в том углу, перед зеркалом, поставим твой письменный стол. Ну что ты смеешься? Купим стол и поставим. До сих пор у нас тесно было, вот я и не покупала, а теперь куплю... Да, что и говорить, комнаты просто великолепные..

— Спасибо Фараджу Мурадову, — не без самодовольства напомнил Кафар. — Что значит — друг детства. Он тогда так хорошо принял меня, я даже не ожидал. Нет проблем, говорит. Поскольку, говорит, с одной стороны, вы имеете право на получение квартиры в центре города, а с другой — ты мой школьный друг, пусть это будет тебе как бы подарок от меня...

— Хвастаешь, а ведь если бы не я, — ты бы к нему и не пошел.

— А я разве скрывал, что шел туда неохотно? Во-первых, ты знаешь, просить не люблю. А во-вторых, думал, друг-то он друг, но ведь должность, бывает, так меняет человека. Может быть, не признает или не захочет признавать... А он узнал в ту же минуту. Обнял, даже



поцеловал — и это при людях. Там, в кабинете, у него уже сидело двое, так он и им сказал: это, мол, мой школьный товарищ. А когда я уходил, проводил меня до самой двери.

— Ладно, ладно, похвалился — и будет. Главное, что хоть какая-то польза и от тебя за все эти годы. — Они теперь опять перешли на кухню. — Одно только не нравится мне: ведь это глупость кто-то сотворил, когда сделал еще один вход на кухню с веранды. Надо будет заделать его, обязательно заделаем, а то на залу не похоже. Да еще и все запахи с кухни и на веранду, и в комнаты идти будут.

— Ну, это потом. Поставишь мне хорошее угощение — я тебе сам все и сделаю.

— Хорошо, хоть это ты еще можешь.

Фарида обмерила двери, обмерила окна веранды, чтобы сшить на них занавеси и портьеры.

— Интересно, а как это все же получилось, что такая квартира в самом центре города — и пустая оказалась? А?

— Почему пустая? Она занята была, здесь один полковник жил, теперь его перевели в Москву.

— Нет, все-таки очень симпатичный тупик. — Фарида распахнула окно на веранде, чтобы получше разглядеть место, где она теперь будет жить. — О! А вон идет та, которую я так ненавижу.

Кафар заинтересовался:

— Кого это ты ненавидишь?

— Ну как там ее?.. Гемер-ханум, что ли...

— Что это так? Ведь вы же одно время были как сестры. — Кафар узнал толстую заказчицу. Теперь она стала еще полнее и шла, с трудом передвигая ноги.

— А ты что, не помнишь разве, как она перестала ходить ко мне? Не понравилось, видишь ли, как я шью, нашла себе другую портниху.

Гемер-ханум вошла в двери дома, что стоял справа от них. У въезда в тупик виднелась новая «Волга» молочного цвета. Из машины вышел молодой парень, с трудом волоча за собой тяжелую корзину, скособочась, скрылся в тех же дверях, что и толстуха.

— Наверно, тут ее новая портниха живет. — Может быть, — видно было, что Фарида расстроена. — А что, если она сама здесь живет? Постой, постой, кажется, эта дрянь говорила, что как раз в Ичери шехер живет...

«Это просто несчастье, если она здесь живет, — подумалось Кафару. — Слава богу еще, Фарида с ней в ссоре, а то бы ее из дома нельзя было выжить».

— Ну ничего, сегодня же я все выясню!

И Фарида действительно выяснила все в тот же день. Вечером она показывала Кафару на дома и объясняла ему: «В первом доме слева живет семья рабочего. Муж на Нефтяных Камнях вкалывает, жена тоже вкалывала, теперь по болезни на пенсию вышла. У нее, у несчастной, уже дважды инфаркт был. В следующем доме живет Гамида-муаллима, вдова. У нее есть дочь, которая отсюда переехала к мужу и живет теперь в микрорайоне. А в доме справа как раз эта дрянь живет, представляешь? Оказывается, у нее муж ученый. Какой-то, что ли, академик. Я ведь тогда и не спрашивала, кто ее муж...»

— Да? Узнать бы, какая у него специальность...

— Бог его знает, какая у этого академика специальность. А тебе-то зачем?

Кафар ничего не ответил ей, но подумал, что если бы этот академик был филологом — может, и ему помог бы... Как между добрыми соседями водится..

Но вспомнив, чему учила Гемер-ханум Фариду, он весь передернулся от гадливости. «Да пропади они пропадом, больно мне нужна помощь таких вот!..» Чтобы не думать больше о Гемер-ханум и ее муже, Кафар пошутил:

— Ну ты и молодец! С такими талантами тебе не на швейной фабрике, а в уголовном розыске работать.

— А что... могла бы и в уголовном розыске, — серьезно ответила Фаридка. — Клянусь жизнью Балаги, через месяц бы подноготную всех, кто в этом городе живет, знала!

Кафар заглянул к детям. Махмуд и Чимназ разбирали свои вещи, делили территорию: это твое место, это мое, нет, чур, здесь я сидеть буду... Кафар решил, что пришла пора и ему последовать их примеру. Он начал распаковывать свои книги, аккуратно уложенные в картонные коробки.

И вдруг на улице что-то оглушительно загрохотало. Фаридка вздрогнула испуганно, и тут загрохотало еще, потом еще. В небе над морем вспыхнули бесчисленные разноцветные огни. Махмуд и Чимназ подбежали к окну, закричали в восторге:

— Ур-ра-аа!

Кафар тоже подошел к окну, к детям.

— Салют, — вздохнул он, вспомнив о старой Соне. — Ведь сегодня праздник, День Победы.

Все взлетали и взлетали над морем яркие звезды салюта.

Чимназ, зачарованная этим зрелищем, сказала грустно:

— Эх, если бы мы сейчас были на набережной... Наконец салют кончился. Только изредка еще вспыхивали то тут, то там блески последних ракет. Фаридка прикрикнула на детей:

— А ну, хватит лоботрясничать! Идите занимайтесь своим делом! Вы теперь этих салютов столько еще насмотритесь, раз около самого моря живем. Теперь, когда захотим, тогда и выйдем, погуляем по бульвару. А то я даже забыла, когда в последний раз на бульваре-то была...

Умолкли залпы пушек, с ними погасла последняя гроздь салюта, и сразу вдруг повсюду наступила тишина...

Третьим событием было то, что архив, где работал Кафар, перевели в новое пятиэтажное здание. И вообще, как считала Фаридка, Кафару понемногу начало везти.

Четвертое событие было для Кафара связано с неприятностями. Сейчас он не мог понять, как терпел такое долгое время, почему не решился раньше? А как решишься? Как перечеркнешь почти пятилетние мучения? Но теперь решение его было твердым и бесповоротным: ноги его больше не будет в доме у его научного руководителя, у этого гнусного Кестебека,[6] довольно! Хватит, и так он пять лет на него работал, как мальчишка, ждал его благодеяний!

А ведь он бы, наверно, и дольше терпел, если бы не вся эта история на даче...

Этот самый Кестебек — так называл про себя Кафар своего научного руководителя Муртуза Набиева — сказал ему: «Я прочитал вторую главу, приезжай в воскресенье на дачу, там и поговорим».

Кафар уже обещал Фариде и ребятам пойти с ними в воскресенье в кинотеатр «Араз», где шел новый индийский фильм. Пришлось объясняться с Фаридой, растолковывать ей, в чем дело. И вот вместо кино он в воскресенье с утра отправился за город. Кафар вез с собой арбуз, дыню, и груз этот по жаре оттянул ему все руки. Дача Кестебека была в Нов-ханах, рядом с Желтой скалой — далеко от дороги. Наконец он добрался до места, увидел Кестебека с сыном и дочкой — все трое в шортах пили чай под навесом, похожим на гриб. Он поспешил вручить арбуз и дыню жене Кестебека, единственной из всей семьи одетой прилично.

Под грибом стоял круглый стол на одной ножке, вокруг стола была устроена скамейка, на которой и восседал Кестебек с детьми, а Кафар так и остался стоять рядом. Он изредка поглядывал на дочку Кестебека. Она была такая же полная, как и отец, низкорослая, и такая же смуглая, почти черная. «Интересно, женится кто-нибудь на ней?» — машинально подумал Кафар. Девушка тоже исподтишка разглядывала его. Встречаясь с ней взглядом, Кафар каждый раз краснел, и это доставляло дочке Кестебека удовольствие. Иногда она нарочно наклонялась, и тогда в вырезе ее чрезмерно открытой майки с надписью «АББА» чуть ли не полностью открывалась грудь. Кафар так и стоял бы на ногах, если бы девушка наконец не сказала ему:

— Может, вы все-таки присядете, Кафар-муаллим?

— Да-да, садись, садись. — Можно было подумать, что Кестебек только сейчас увидел Кафара. — Такая жара, что при моей комплекции, — он показал на свой волосатый, свисающий чуть ли не до колен живот, — никак не могу остынуть. Все внутри так и горит, честное слово. Сходи, ради бога, Кафар, принеси из холодильника пару банок пива. Ты ведь знаешь, где у нас холодильник?

Уж кто-кто, а Кафар то отлично знал, где что на этой даче находится. Вот, к примеру, гараж — он помнил каждый его камешек, потому что каждый камешек перетащил собственными руками. Сейчас ворота гаража были распахнуты, в них виднелись «Жигули» шестой модели.

Кафар с трудом разыскал то, за чем его послали — он впервые видел пиво в банках. Поэтому, когда Кестебек сказал: «Открой, налей в стаканы», он остановился в замешательстве.

— Ты что? Не знаешь, как открывать? Э... вот видишь? — Кестебек взялся за маленький язычок, торчащий из крышки банки. — Вот смотри: берешь за эту штуку, тянешь... Оп, и готово! — Пиво брызнуло из маленького отверстия, Кестебек разлил его в три стакана. — А ты что, разве не пьешь? Сходи принеси стакан и для себя.

Кафар снова поднялся, но дочка Кестебека остановила его.

— Пожалуйста, Кафар-муаллим, — сказала она, протягивая ему свой стакан. — Я не очень пиво люблю, мне больше шампанское нравится. Я уже положила в морозилку, чтобы остудить.

Кафар глотнул пива.

— Ну, как? — поинтересовался Кестебек. — Хорошее, — вежливо сказал Кафар.

— Не просто хорошее, а великолепное! — Кестебек почмокал губами. Великолепное!.. О-ха-ай, вот теперь немного прохладнее стало. Это мне отец одного из аспирантов прислал. Спасибо ему — знает, что я обожаю финское пиво, и всегда мне его присылает. Прекрасный, культурный человек. Заведующий базой. Он, бывает, и чешское присылает и немецкое... Тоже хорошо, но финского пива никакого другое не заменит... Вот в этом-то и вся прелесть дачи: сидишь себе в теничке, потягиваешь пивко. А если у тебя к тому же и приятный гость, — от этого жизнь еще прекрасней делается.

Кафар приходил в себя от жары, от дороги и думал о том, как было бы замечательно, если бы и у него была дача, и он сидел бы вот так же со своими детьми, отдыхал бы в теничке... А Махмуд и Чимназ валялись бы на чистом теплом песке, загорали, бегали к морю купаться, прыгали бы у воды, как вон те дети...

Кафар мечтал об этом всякий раз, как приезжал сюда.

От дачи Кестебека до моря было метров триста — четыреста — вон он и пляж, там как всегда полно народа, тесно выстроились в ряд вдоль всего берега машины. Чуть поодаль несколько парней и девушек гоняли мяч ногами. Над морем взлетал другой мяч, побольше — это дети играли в воде в волейбол. Радостные крики девушек доносились даже сюда. Над головами людей то стаями, то по одной пролетали чайки... Кое-где на берегу виднелись палатки...

Он посмотрел вдаль — и там видны были машины, рядом с некоторыми загорали парочки.

Подул легкий ветерок и шевельнул курчавые, жесткие волосы на груди Кестебека. Он радостно вздохнул полной грудью.

— О-ха-ай, как хорошо, прохладой повеяло. Ради бога, Кафар, сходи принеси еще пива. Только ты носи по одной банке, а то они тут же согреваются, вся прелесть пропадает. Если пиво теплое — это уже не пиво, можешь его вылить...

Кафар сходил за новой банкой. Он только теперь заметил, что в верхнем отделении охлаждается тушка ягненка. Ягненок был очень жирный, как раз для шашлыка. Снова подумалось ему о своей семье. Дома мясо кончилось. Интересно, сможет Фарида купить мяса хоть сегодня?

— Знаешь, почему я пригласил тебя? — Кафар очнулся от своих мыслей. Снова зашипело, выплескиваясь, пиво, на этот раз Кестебек пил прямо из банки. Наконец утер губы и посмотрел многозначительно. Кафар обрадовался: похоже, Кестебек наконец-то решил перейти к делу.

— Ну... вы же сказали, что прочитали вторую главу...

— Что?! А, да-да, прочитал. Об этом мы с тобой еще поговорим. Позже, когда разъедутся гости. Я, знаешь, к часу дня пригласил тут нескольких друзей и вспомнил, что ты прекрасно делаешь шашлык. Вот и хочу угостить друзей осетриной и ягненком.

Тут в разговор вступил сын Кестебека. — Сделайте побольше рыбного шашлыка, папа, хорошо? Может, и мои друзья подъедут.

— Пожалуйста, пожалуйста. Сколько хочешь, столько и приглашай. Рыбы у нас много.

Жена Кестебека, которая только что намыла целый таз зелени и поставила его под крыльцо, взялась было перебирать рис, но вдруг сказала встревоженно:

— Муртуз, мы опозоримся!

— Это еще почему? — Кестебек даже поперхнулся пивом.

— Забыли красный перец купить. А какой же это салат без красного перца, вся прелесть салата в его остроте. Тем более, что твои гости любят острое.

Жена Кестебека славилась отличным салатом: с тех баклажанов, помидоров, красного перца, что нанизывались на шампур вместе с бараниной, она потом снимала кожуру, перемешивала, посыпала все мелко нарезанным луком, и салат у нее получался просто умопомрачительный.

— Гм, это плохо. Очень плохо. — Кестебек нахмурился. — Где же твоя память-то была?

Жена буркнула:

— Оставь, при чем тут память. Разве все упомнишь, когда столько покупаешь...

Тут сын, внимание которого было привлечено людьми на соседней даче — среди них была очень красивая девушка, быстро сказал:

— Па, дай машину! Я сейчас за двадцать минут в Сумгаит сгоняю и куплю. — Сын у Кестебека был красивый, белолицый, похожий на мать. У него были большие черные глаза, загорававшиеся всякий раз, когда он смотрел в сторону девушки с соседнего участка. Он встал в нетерпении. — Ну, дашь машину?

— Нет, в такой день машину брать не стоит. Сам разве не видишь, что сейчас на дорогах делается? Машины одна за одной носятся, как пули, водители многие выпивши... Столкнешься еще с кем-нибудь.

Мать согласилась с мужем.

Между тем на соседней даче шло приготовление к купанию. Все, а вместе со всеми и та девушка, по-скидывали с себя брюки, халаты, платья и побежали к морю. Фигура у девушки была столь же прекрасна, как и ее лицо. Высокая, стройная, покрытая шоколадным загаром, она вдруг закричала громко:

— Аида купаться! — и оглянулась в их сторону.

— Ну, не хотите, как хотите. Тогда я пошел. — И сын бросился вслед за компанией.

Мать проворчала, глядя ему вслед:

— Ну что за необходимость, сынок, лезть в самый солнцепек в воду? Ты же утром купался...

А отец крикнул:

— Чтобы в час был здесь! Забыл разве: твой руководитель приедет! Если ты не придешь — он обидится.

Но сын ничего не ответил ни отцу, ни матери. На дороге, отделяющей дачи от моря, он нагнал соседей, пошел с ними рядом.

Дочь Кестебека взглянула на Кафара и вздохнула так, что, казалось, сейчас лопнет майка с надписью «АББА».

— Я бы тоже на пляж пошла, — сказала она.

— Ты и без того черная как уголь, — окончательно рассердилась мать, — иди загори еще! Лучше бы мне помогла. — Она снова повернулась к мужу. — Ну, так что же с перцем делать?

Кестебек почесал грудь, утерся полотенцем, висевшим на спинке скамейки, и посмотрел на

Кафара. Поняв значение этого взгляда, Кафар, запинаясь, сказал:

— Муртуз-муаллим, я уже и третью главу написал... Если вы прочитали вторую...

— Не спеши, сынок, не спеши. Наука не уважает поспешности, она любит глубину, всесторонность исследования. Ладно, обо всем об этом мы с тобой попозже поговорим. Написал — и хорошо сделал, прочитаю и третью. А пока у меня к тебе небольшая просьба. — Кафар при этих словах опустил глаза, уставился в землю. Его даже пот прошиб от злости. — Ты ведь слышал сейчас: мы перец купить забыли. А без перца — и салат не салат, а, сынок? Клянусь богом, что касается меня, то я бы вполне и без салата обошелся, но вот руководитель сына... он просто обожает этот салат; если на столе не будет салата — считай, все застолье насмарку. Съезди-ка давай в Сумгаит, купи два три кило перцу.

— Куда его столько? — проворчала жена. — Хватит и килограмма, он на следующий день уже совсем не тот...

— Ладно, килограмм купи. Жена, дай Кафару корзину и денег не забудь.

Кафар покраснел.

— Не надо ни денег, ни корзины. На базаре полно бумажных кульков. — Кафару не удалось скрыть раздражение в голосе.

— Хорошо, езжай тогда скорее, уже двенадцатый час. Ты знаешь, как доехать до Сумгаита? Вон там, видишь, люди на остановке автобуса стоят? Очень удачно получается: один из этих автобусов заворачивает в Новханы; сейчас вернется, на нем и уедешь.

Кафару хотелось бежать, как можно скорее оказаться подальше отсюда; но бежать было трудно, ноги вязли в песке. «Босиком бы, — подумал он, — босиком по песку быстрее». Он бы и разулся, если бы не знал, какой раскаленный сейчас песок, если бы не жаль было носков...

После ухода Кафара дочь Кестебека сразу заскучала, сказала отцу сердито:

— Нехорошо ты поступаешь! Машина в гараже, а ты чужого человека на базар гонишь. Он же тебе не мальчишка, взрослый уже мужчина, да еще и с характером...

— Не суй нос не в свои дела! — рассердился Кестебек. — Когда я для него стараюсь — это хорошо или плохо? Ты что думаешь, легко кандидатом наук стать? Когда-то и со мной поступали точно так же. Да у меня еще совесть есть, я еще его не сильно мучаю...

Девушка надела на голову сомбреро и ушла в глубь участка, к виноградникам. Она шла, подпрыгивая, чувствовалось, что песок обжигает ей ноги...

...Добравшись до Сумгаита, Кафар направился прямым ходом не к базару, а на автобусную станцию. А оттуда с первым же автобусом домой, в Баку.

«Нет, ну надо же, до чего обнаглел! Машину ему жалко, своего сына ему жалко — съезди, Кафар, за перцем! Ну, не волнуйся — привезу я тебе перец, а потом, как всегда приготовлю шашлык, а потом ты, как всегда, будешь хвастать перед гостями: чувствуете, какой я вам шашлык замечательный приготовил! Нет, хватит! Прошли те времена! Пять лет терпел, пять лет вел себя, как последний дурак. Да, я твой аспирант, но не слуга же! Плевал я на эту науку, если ученым надо таким образом становиться! Что я, умру, что ли, с голоду, если кандидатом не стану? Руки-ноги у меня есть, глаза есть, голова на плечах, как-нибудь своих детей прокормлю... А интересно бы посмотреть: гости Кестебека уже, наверно, пожаловали. Да, пожаловали — второй час. Он сейчас, наверно, готов от злости лопнуть. Ну и пусть лопаются! Если есть бог — пусть Кестебек лопнет от злости! Не-ет, больше уж я к нему не вернусь... Вот только что я теперь скажу Фариде? Что на работе скажу?»

Впрочем, что скажут сослуживцы, волновало его сейчас меньше всего — им, пожалуй все равно, даже лучше будет, если Кафар останется таким же, как они все.

Но с Фаридой все вышло совсем не так, как ему представлялось. Он терзался, не знал, как ей сказать обо всем, но она сама же и избавила его от этих мучений...

...Как-то вечером к ним нежданно заявила соседка Гемер-ханум. Собиралась к кому-то на свадьбу, и вдруг, когда надевала совсем новое платье, сшитое специально к этому дню, разошелся на рукаве шов. Конечно, платьев у нее хватает — это она повторяла с особой гордостью не один раз, — но ведь она уже обещала подругам, что будет сегодня именно в этом, фиалковом платье...

Гемер-ханум была так убита — казалось, будто она оплакивает чью-то безвременную кончину. Фариде, сразу все поняв, начала жаловаться на головную боль: «И собственные-то мои клиентки давно уже ждут — одной платье обещала, другой, а сама ничего делать не могу — так голова болит». Гемер-ханум чуть не на колени рухнула перед ней.

— Заклинаю тебя жизнью твоих детей, дорогая, только выручи меня. Я знаю, ты на меня в обиде, но, клянусь аллахом, я к тебе перестала ходить только потому, что одно время болела сильно. — Фариде насмешливо посмотрела на нее, и Гемер-ханум запнулась. — Не веришь? Я так долго валялась с больными почками, что муж, пожалев меня, сам нашел какую-то портниху. Она ко мне прямо домой приходила.

Ну, и Фариде не упустила случая поддержать свою портновскую марку.

— А-а, так ты что же, думаешь, из-за этого я на тебя могла обидеться? Да у меня и так от заказчиц отбоя нету!

— Конечно, конечно, дорогая, за такой портнихой, как ты, клиентки должны табунами ходить. — Гемер-ханум говорила, а сама все поглядывала на часы. — Ну выручи, родная моя, выручи.

— Ладно, что поделать, — притворно вздохнула Фариде. — Мы ведь все-таки соседи, не могу же я соседке отказать.

Гемер-ханум достала из сумки пачку двадцатипятирублевых.

— Бери сколько хочешь, считай, чтошьешь мне новое платье, только сделай!

— При чем тут деньги! Я не из-за денег. — Фариде с силой вырвала платье из рук Гемер-ханум.

— Да нет, что ты, Фариде, клянусь богом я не поэтому... Просто каждый труд должен быть оплачен... Все равно бы ведь заплатила — не тебе, так другой.

Фариде примерялась к рукаву, а сама все думала: «Ишь, как соловьем разливается. Верно говорят: проклятая нужда — она и царя заставит к нищему обратиться... Вот так вот — заставила я тебя умолять, а ведь могла бы ты и раньше об этом дне подумать!»

Фариде раскрыла швейную машинку и, когда сердито просовывала платье под лапку, зацепила иголкой, вытянула на платье петлю. В другое время Гемер-ханум вышла бы из себя, но сейчас она предпочла покрепче держать язык за зубами.

Наконец «Зингер» завел свою мягкую ровную песню.

Кафар давно заметил: какой бы злой, какой бы раздраженной ни была Фариде, стоило ей сесть за шитье, как уже через пять минут лицо ее добрело, разглаживалось, глаза начинали

светиться радостью...

Он однажды сказал ей об этом. «Ты прав, — согласилась Фаридида, — каждый раз, когда я сажусь шить платье, мне кажется, что шью свой подвенечный наряд. Вот сейчас сошью, надену и пойду к жениху...»

Фиалковое платье было приведено в порядок. Как ни пыталась Гемер-ханум на радостях расплатиться с Фаридой — та стояла на своем: не за что тут брать деньги, она оказала услугу по-соседски. Гемер даже было оставила двадцать пять рублей на столе, но Фаридида тут же сунула деньги обратно ей в сумку. Наконец Гемер-ханум сдалась. «Ну ладно, — сказала она, — я твоя должница. Большое спасибо, Фаридида, не забуду твоей доброты».

И в самом деле, не забыла. Чуть ли не на следующий день Гемер-ханум пришла к ним со свертком.

— Это тебе подарок, — сказала она и выложила на стол трехметровый отрез нарядного вельвета. — Сошьешь кому-нибудь из ребят костюм. Это французский, его так просто не купишь — мужу по знакомству достали.

— Спасибо. Действительно, отличный вельвет. Сколько я тебе должна?

Пришла теперь очередь Гемер-ханум отказываться от денег и обижаться. «Подарок есть подарок. Ты мне услугу — я тебе приятное». В конце концов Фаридида унесла отрез в комнату. Чувствовалось, что Гемер-ханум сегодня не спешит, и мало-помалу обе женщины увлеклись беседой.

Разговор у них шел о том о сем — обо всем на свете, пока не перешел наконец на самую страшную, самую опасную для Кафара тему. «Вам бы надо как следует отремонтировать дом», — заметила Гемер-ханум, еще в прошлый раз пристально рассматривавшая все у них в квартире.

Фаридида горестно вздохнула.

— Как будто я сама не знаю, — сказала она. — Только где у нас возможности...

— Слушай, а твой муж что — до сих пор в архиве работает? — Здесь она понизила голос и на всякий случай справилась, дома ли Кафар. Фаридида так же шепотом объяснила ей: дома, но прилег отдохнуть — приходится по ночам над книжками сидеть. — Не понимаю, — пожалала плечами Гемер-ханум, — что вам дался этот архив? Я бы на его месте нашла что-то поинтереснее, какую-нибудь нормальную работу...

— Да что делать, сестра, если у него специальность такая...

— Какая специальность? Архив — специальность? И что, ты хочешь сказать, что он у тебя ни на что другое не способен?

— Ну почему... Он в строительстве кое-что понимает.

— В строительстве? Это правда?

— Ну, конечно. Он ведь строительный техникум до университета окончил. В молодости на стройке работал.

— Да это же просто отлично! Ты знаешь, какое это прибыльное место — стройка? Мой свекор, Ягуб, сейчас как раз на стройке работает, начальником участка. Живут они — как сыр в масле. Знаешь, так скажу: я хоть и жена академика, но его жена может так разодеться, что посмотришь на нас обеих — и никогда не скажешь, что ее муж маленький человек, а мой —



академик. А все почему? Да потому, что мой хоть и академик, но живет, считай, на одну зарплату, а тот каждый день что-то да имеет... Хочешь, мы и Кафара твоего к моему свекру устроим?

— Ой, конечно, хорошо бы!.. Не знаю только... Боюсь, он может еще не согласиться.

— Как это не согласится? Да если он хоть что-то в жизни соображает — никогда не откажется. А потом — ты-то на что?

— Н-не знаю, надо бы поговорить с ним.

— Вот и поговори!

На улице послышался перелив итальянской музыкальной сирены — это с шиком затормозили у дверей Гемер-ханум красные «Жигули». Гемер-ханум с первыми звуками сирены вскочила с места, выглянула в окно.

— Это наш Малик. За мной приехал. — И, уже уходя, повторила еще раз: — Подумайте оба, по-моему, идея со стройкой — самый лучший вариант из всех, какие могут быть. У вас дети растут, надо и об их будущем подумать. Если он согласится, сообщи мне. А уж я для вас постараюсь, дорогая. Как не помочь соседям!

Гемер-ханум шумно спустилась по лестнице.

Еще несколько дней назад Кафар, слышавший весь этот разговор из своей комнаты, не на шутку рассердился бы, но теперь нежданное предложение Гемер-ханум казалось ему достойным выходом из положения. Правда, когда вечером Фарида затеяла разговор о его аспирантуре, передала ему все, о чем они говорили с Гемер-ханум, он не подал вида, что все уже знает, нарочно запротестовал.

— А моя защита? Ведь если я перейду на стройку, на диссертации придется поставить крест.

— Ну и поставь. Кому она нужна, твоя ученая степень? Когда еще ты защитишься, когда найдешь место, где хорошо платят... Да к тому времени нам уже ничего не нужно будет!

— Ты что, действительно хотел бы, чтобы я перешел на стройку?

— Очень хотела бы.

— Ну что ж, — как бы все еще размышляя над предложением, сказал он, — если ты считаешь, что так нам всем будет лучше, я готов распрощаться со своей диссертацией...

— Распрощайся, распрощайся и ни капли не жалею об этом. Посмотри только: пять лет ты уже мучаешься, и до сих пор конца-края этому не видно.

Словно гора свалилась с его плеч. «Слава богу, — повторял он, довольный, — хоть от одного скандала избавился...»

— Ну что ж делать... Я, пожалуй, согласен, — сказал он вслух.

Фарида, до самого конца не зная, чем кончится этот разговор, от радости обняла и расцеловала его.

Глядя, как споро работают каменщики, как с невероятной быстротой растет стена, Кафар нарадоваться не мог, что перешел на стройку. До чего же он правильно поступил, вернувшись к своей старой профессии! Разве можно стройку сравнить с архивом? Там он сидел целыми днями, изнывая от безделья, клевал носом, начал даже понемногу толстеть. Здесь же —

совсем другая жизнь: не то что дремать — у него и присесть времени не было. Он крутился целыми днями: то надо срочно подать цемент, то песок, то панели, и за все это он отвечает, прораб Кафар Велизаде.

А самое главное — он видит результат всех этих трудов. Через пару месяцев привезет он сюда столлярку, застеклит окна-двери. Потом в этом доме поселятся люди, будут радоваться. А он, Кафар, глядя на них, на их жильё, будет думать: «Это я построил ваш дом...». И это будет самая замечательная отдача от всех его хлопот, от всей беготни. А в архиве... «Нет, архив все ж не для меня. Это место для любителей сидеть целыми днями на одном месте и дремать... И кстати, что я потерял от того, что забросил научную работу?.. Пять лет я обивал порог Кестебека — и что из этого путного вышло? Ничего!» Спасибо Фариде, спасибо Гемер-ханум — благодаря им он избавился от Кестебека, вернулся к делу, которое в глубине души любил всегда. Здесь есть жизнь, есть движение, скорость. Да если бы он решился изменить судьбу раньше, — сколько бы он уже домов построил за эти пять лет! Ведь для рук таких каменщиков, как вот, к примеру, Садыг-киши, это так же просто, как выпить глоток воды. Особенно, если рядом такие могучие краны, такие машины! Да здравствует движение! Движение, результат которого можно видеть так быстро, так конкретно! Да, не зря, видно, говорят, что наш век — это век скоростей, век динамики!

Но, увы, на второй же день его работы на стройке под руководством свекра Гемер-ханум Ягуба у Кафара начались неприятности.

С утра он обошел весь участок, проверил, как идут дела, и остановился наконец возле бетономешалки.

— Шевелись, родненькая, каменщики ждут! — крикнул он девушке, засыпавшей барабан. Девушка замахала рукой, показывая, что она ничего не расслышала из-за грохота. Тогда он крикнул громче: — Каменщики простаивают!

Девушка-бетонщица, одежда и лицо которой были густо присыпаны цементной пылью, что-то ответила, но поняв, что и Кафар ничего не слышит, приложила в знак послушания руку к глазам.

— Дай бог тебе жениха красивого, — сказал Кафар.

Девушка снова не расслышала, но, видно, по выражению его лица поняла, что прораб сказал ей что-то приятное; она тут же заулыбалась, развеселилась, руки ее замелькали с быстротой молнии.

Вдруг мимо Кафара в сторону ворот проехал самосвал. Он бы и не обратил на него внимания — мало ли машин за день въезжает на стройку и выезжает с нее. Но случайно зацепившись взглядом, он обнаружил, что из кузова самосвала сыплется цемент. «Это еще что за новости? — озадаченно подумал Кафар. — Почему это он не разгрузился-то?» Он свистнул через пальцы, но водитель его не услышал. Тогда Кафар, видя, что самосвал ему уже не догнать, помахал руками охраннику, показывая, чтобы тот остановил машину. Охранник преградил самосвалу путь. Подбежал и Кафар, поднялся на ступеньку кабины, заглянул в кузов — да, он не ошибся, машина действительно была по самые борта загружена цементом.

— Та-ак, — сказал Кафар, глядя на водителя. — Ну, а куда везешь?

— Сам знаешь куда, — неохотно буркнул тот. — Что знаю?

— Ну... Куда цемент едет, к кому и зачем.

— Давай заворачивай назад! — приказал Кафар и соскочил с подножки.

— Да ты что, начальник! Я спешу, меня хозяин ждет.

— Какой еще хозяин?

— Да ты что, издеваешься надо мной? — рассердился шофер. — Сам прекрасно все знаешь.

— Он усмехнулся. — Ты меня, прораб, никак проверить решил? Боишься, продам вас всех, если меня по дороге остановят? Да ты не бойсь, Паша за свою жизнь никого еще не продавал.

Рассвирепевший Кафар вытащил шофера, который был заметно крепче его, из кабины.

— А ну, говори, куда краденый цемент везешь?

Паша заметил, что охранник с любопытством прислушивается к их разговору. Он поманил Кафара в сторону.

— Ты случайно не шутишь, прораб?

У Кафара даже кончик носа вспотел от ярости. Задыхаясь, он повторил свой вопрос:

— Скажешь, кому краденый цемент продаешь или нет? Не сознаешься — немедленно составляю акт и сообщаю в милицию.

Паша побледнел.

— Слушай, ты думаешь, о чем говоришь, прораб? Какая кража? Глупые какие-то шутки... А ну, поклянись жизнью, что ты ничего не знаешь...

Кафар схватил его двумя руками за ворот рубашки и что есть силы трянул. Паша без особого труда высвободился из его рук и пробормотал:

— Во псих! Ну ты того... начальник мне сказал, что ты в курсе...

— Какой еще начальник?

— Как какой? Что, Ягуба не знаешь? Он сказал: не бойся, прораб в курсе.

— В каком курсе? Можешь ты по-человечески объяснить, что к чему?

— Ну, Ягуб велел, чтобы я отвез цемент на дачу заместителя министра.

— На чью, на чью?

— Заместителя нашего министра. Он там себе двор, что ли, забетонировать собрался.

— А ну, вернись и свали, как положено!

— Чего?

— Ты что, оглох? Не слышал, что я сказал? Повторить, да?

— А! — махнул рукой Паша и полез в кабину. — Какое мне, в конце концов, дело. Говоришь сваливай — свалю. Так даже и лучше, бензин лишний будет... Кричит еще... Как будто я все это для себя делаю. — Паша так рванул машину, так резко развернул ее, отъезжая, что поднявшееся облако пыли окутало Кафара с головы до ног. Долго ему потом пришлось откашливаться и отплевываться, прежде чем исчез во рту привкус пыли.

Паша, конечно, врал, когда говорил, что личной корысти у него в этой поездке нет. На самом

деле Ягуб пообещал ему, что если заместитель министра будет им доволен, то он, Ягуб, поможет Паше устроиться к заместителю министра шофером — есть информация, что он недоволен своим — слишком болтлив. И Паша уже мечтал, как он устроится на такую чистую работу, пересядет на новенькую черную «Волгу» ГАЗ-24...

Кафар подошел к охраннику. Тот, сунув руки в карманы, мусоля в губах сигарету, прогуливался возле проходной и краем глаза наблюдал за Кафаром.

— Керем-киши! — позвал Кафар еще издали, и охранник презрительно покосился в его сторону. — Если со стройки не машину цемента, а хотя бы один кирпич вывезут — можешь считать, что ты уже в тюрьме. Тут же позвоню в милицию, понял?

Маленький, смуглый охранник с давно не бритым лицом, услышав слова «тюрьма», «милиция», так побледнел, что, казалось, даже щетина его стала реже. Он вытащил изо рта сигарету — при этом Кафар разглядел вытатуированную на его руке женщину, — бросил окурок под ноги, аккуратно затоптал его и сказал, вытянувшись в струнку:

— Слушаюсь, Кафар-муаллим. Будет исполнено, товарищ Велизаде. Отныне ни одна птица отсюда не вылетит.

Удовлетворенный ответом, Кафар вернулся на площадку...

...Но не прошло и получаса, на стройку появился Ягуб. Кафар в это время был наверху, у каменщиков, там его и разыскал маленький охранник, сказал, что его вызывает начальник участка. Ягуб, не ответив на приветствие Кафара, смерил его взглядом с ног до головы и с ходу заорал:

— Ты что это наделал, а? Что за безобразие ты тут устроил?

Кафар не стал сдерживаться.

— Это безобразие устраиваю не я, а вы.

— Подумаешь, велика важность — машина цемента для такого человека, как заместитель министра! Человек решил благоустроить свой двор, и всего-то ему от нас нужна такая мелочь, как машина цемента! Другие ничего для своего начальства не жалеют, а тебе что, машины цемента жалко?

— Если ему так нужен цемент, пусть пойдет и купит за свои деньги, а там уж пусть не только свою дачу, а хоть все побережье бетонирует. С какой стати я буду ставить под удар стройку, разбазаривая государственный цемент налево и направо?

— Слушай, ты же сам говоришь — не твой цемент, а государственный. Ну, и что ты суешь нос не в свое дело?

— Вот потому и не буду молчать, что цемент не мой, а государственный! Государственный цемент на государственные нужды и расходовать надо. Я отсюда ни одного кирпича никому не подарю. Не подарю!

— Ишь, разошелся. А знаешь ты, что я мог бы этот цемент послать ему прямо с базы, только хотел тебе же лучше сделать, поднять в глазах заместителя министра и твой авторитет.

— Не нужен мне такой авторитет!

Кафар хотел идти, но Ягуб придержал его за руку.

— Слушай, я тебя сюда прорабом брал или народным контролером?

— Насколько я помню, меня брали производителем работ. Вот я и стараюсь выполнять свои обязанности честно.

— Как-как? Честно? Ну знаешь, мужчина должен хранить свою честь дома, а не на работе.

— Мужчина на то и мужчина, чтобы везде быть честным..

— Ну ладно, я вижу, тут словами не поможешь. Вот срежу тебе заработок — тогда поймешь, что значит работать с честью. Ничего, ты еще увидишь веселую жизнь...

— Я всю жизнь честно, как мужчина, зарабатывал свой хлеб и ни разу еще ни от кого глаз не прятал.

Ягуб смотрел на него какое-то время с изумлением, потом вдруг хлопнул в ладоши и захохотал.

— Ну ты даешь, прораб! Да ты же этот... — Он покрутил пальцем у виска. — Ты же Дон Кихот. Клянусь жизнью, настоящий Дон Кихот! — Ягуб продолжал от души хохотать. Глядя на него, засмеялся и маленький охранник. Кафар еле сдержался, чтобы не кинуться на Ягуба. Он старался не смотреть на издевательски хохочущего начальника, но руки его дрожали, задергался вдруг один глаз. Даже скулы свело.

— Эх, Кафар, — сказал Ягуб, становясь серьезным, — когда я брал тебя на работу, я подумал: вот хорошо, парень из района. Что из того, что он из Казахстана, а я из Карабаха — как бы то ни было, оба мы дети крестьян, пойдем друг друга, будем друг друга поддерживать...

— При чем тут поддержка! — зло сказал Кафар. — Я до сорока лет дожил, и не научился этому — в таких делах участвовать, а сейчас уже переучиваться поздно!

— Ну ты и чудак! Не обижайся, ради бога, но ты и впрямь, как тот Дон Кихот. Да тебя надо детям в музеях показывать и говорить: а это, дети, Дон Кихот, рожденный в двадцатом веке.

— Скажи, Ягуб, для чего нас снабжают цементом?

— Как для чего? Ты что, этого тоже не знаешь?

— Я-то знаю... Вот сейчас мы используем его для закладки фундамента, верно?

— Ну и что?

— А для чего мы заливаем бетон в фундамент? То есть тратим тот же цемент? Чтобы дом крепче стоял, дольше, не так разве?

— Предположим. Ну и что?

— А то, что не имеем мы права ослаблять фундамент, Ягуб. Потому что завтра сами же и будем жить в этих домах. Или наши дети будут, словом, такие же люди, как мы с тобой... Я уж не говорю про технологию. А что, если завтра землетрясение, хоть и небольшое? Об этом ты случайно не подумал, Ягуб?

— Клянусь жизнью, с тобой бесполезно говорить, — махнул рукой Ягуб. — Дон Кихот, самый настоящий Дон Кихот. — Он направился к стоящему у ворот стройки самосвалу, сел в него и куда-то уехал.

«Что происходит с людьми в последнее время? — думал Кафар, глядя ему вслед. — Почему они так изменились? Почему думают только о себе, только о се-годняшнем дне? Почему?»

Вдруг он вздрогнул от какого-то внезапного грохота. Это сорвался с края кладки кирпич и

пролетел совсем рядом с ним. Он тревожно закричал каменщикам:

— Эй, у вас что там, рук нет? Убить ведь могли бы!

Наверху показался каменщик Садыг. Он посмотрел на то место, куда упал кирпич, и закурил сигарету.

А дома на него, едва он переступил порог, с ходу набросилась Фарида:

— Что ты там натворил, а? Снова все взялся портишь, да? Господи, да что же за несчастье мне с этим человеком? Отблагодарил, называется, благодетеля! Ну? О чем ты думаешь? Ведь он же тебе помог, этот Ягуб, как ты можешь ему палки в колеса совать?!

Кафар, довольный своей маленькой сегодняшней победой, делал вид, что не обращает никакого внимания на вопли жены. Он переоделся, умылся и пошел на кухню. Голубцы в кастрюле были еще теплые, он положил себе в тарелку. Потом с таким удовольствиемпил чай, что Фарида готова была разорваться от злости.

— Правильно люди говорят — ты дурацкий Дон Кихот! — выпалила вдруг она, не в силах дожидаться, когда Кафар вылезет из-за стола.

Кафар побледнел.

— Что ты сказала? — Он встал из-за стола, и вид у него был в эту минуту такой страшный, что Фарида, испуганно вскрикнув, кинулась спасаться в комнату к детям. Дети, увидев налитые кровью глаза отца, в страхе застыли на месте. Кафар с невыразимым наслаждением схватил Фарида за горло.

— Если ты еще раз... если ты еще раз произнесешь это слово... Если ты еще хоть раз сунешься ко мне со своими гнусными поучениями. Задушу вот этими самыми руками. Запомнила?

Он отшвырнул ее к стене, приходя в себя от этого порыва, которого и сам не ожидал, обвел глазами комнату: трясущаяся, прячущаяся за спиной сына Фарида, насмерть перепуганные дети. Он, словно просыпаясь, провел рукой по лицу.

— Так ясно тебе?

— Да, да, ясно, ясно, — торопливо пробормотала Фарида, не выходя, однако, из-за спины сына.

Он вышел на веранду, походил немного взад-вперед, чтобы успокоиться, подумал и достал из холодильника початую бутылку водки. Вообще-то он не пил, но возбуждение его искало хоть какого-то выхода. Он выпил залпом чуть ли не целый стакан, но странное дело — так ничего и не почувствовал, словно в стакане была вода... Он нетерпеливо потянулся к бутылке еще раз, и вдруг понял, что этого уже не нужно: вдруг от желудка пошел по всему его телу бодрый жар, вспыхнуло лицо, уши.

Кафар закрылся в своей комнате, рухнул прямо в одежде на кровать и долго лежал так, вспоминая события последних дней.

Фарида, решив, что муж окончательно успокоился, громко заворчала на веранде:

— И всего-то два дня с рабочими, а как будто всю жизнь на стройке! И руки как у работяги стали, и лицо какое-то грубое, и все за два дня, надо же! Что же дальше-то будет?!

Кафар не спустил ей, отозвался из комнаты:

— Давай-давай... Руки грубые, лицо грубое... Просто я за эти дни стал сильнее, поняла? И двух дней оказалось достаточно, чтобы понять, что не весь я еще прогнил, не до конца превратился в тряпку. Оказывается, у меня что в мышцах, что в сердце осталась еще сила...

— Мам, не связывайся с ним, — зашептал выбежавший на веранду Махмуд. — Ты же видишь, он еще злой. А то опять кинется...

— А, пусть твой отец подавится своей злобой, — так же шепотом ответила она сыну. — Это он только с нами сильный, только здесь и чувствует себя мужчиной, раз может издеваться над нами...

И странно: Махмуд вдруг отчего-то почувствовал какую-то радость, гордость за отца. Это сначала ему было странно, а теперь, когда все стихло и мать не кричит и не брякает, как обычно, посудой, он вдруг понял, что ему очень по душе этот неожиданный гнев отца. «Вот таким и должен быть мужчина, — думал Махмуд, — а то он всегда уступал ей, даже рот боялся открыть. А слабость недостойна мужчины, она унижает его даже в глазах детей...» Он хотел в какой-то момент пойти и сказать все это отцу... Но потом передумал, решил его не тревожить.

Кафар, надев с утра комбинезон, помогал рабочим грузить на подъемник кирпич — каменщикам там, наверху, его все время не хватало. Ему нравилась эта работа, нравилась сила, которой наливались мышцы — казалось, что он вместе с этими кирпичами может поднять сейчас на руках весь земной шар, поднять и держать его высоко над головой.

Правда, в первые же дни у него на ладонях вспухли волдыри; руки стали мозолистыми, ладони по вечерам горели, болели лопатки, ломотная боль растекалась по плечам, спине. Но странно, эта боль не мучила его, наоборот — она была даже приятна, прито-му что с каждым днем он чувствовал себя все сильнее.

Иной раз он поднимался к каменщику Садыгу и говорил ему: «Ты, наверно, устал? Отдохни, дай-ка я поработаю!»

А каменщик Садыг, глядя, как аккуратно, как умело ведет он кладку, говорил ему: «Эй, Кафар, да ты же прирожденный каменщик! С первого раза так легко кладешь кирпич на его родное место — словно не кирпич, а жемчуг на нить нанизываешь».

Ему вообще нравилось подниматься на последний этаж, даже просто так, без дела, чтобы просто полюбоваться отсюда, с высоты, на дома, улицы, машины, людей. И еще здесь открывались вдруг глазу глубина и простор неба, белоснежные облака, плывущие в глубине этого простора. «Я за эти годы, — думал он, — чуть было вовсе не забыл о том, что существует на свете этот простор, эта глубина, эти белоснежные пушистые облака...»

Как-то придя на работу, Кафар увидел, что у ворот его ждет маленький охранник Керем — одет не по-рабочему, держит в руке какую-то бумагу. Когда Кафар поравнялся с ним, охранник протянул ему бумагу.

— Что это? — спросил Кафар.

— Заявление. Я увольняюсь, тут нужна ваша подпись.

— Увольняешься? А зачем? Есть ли смысл уходить с такой спокойной работы?

Охранник пожал плечами и хмыкнул.

— А что делать? У меня диабет, а теперь проклятый сахар снова увеличился, мучает меня. А при диабете самое главное — это вовремя есть и вовремя делать уколы.

— Ну, если диабет... Тебе виднее, — Кафар завизировал заявление. — Вообще-то жаль, что ты уходишь. Мне кажется, ты честный человек. А здесь как раз и нужны честные люди.

— Ну, насчет этого не беспокойтесь, — опять хмыкнул охранник. — Найдется еще более честный, раз он здесь так нужен.

— Найти-то, конечно, человека мы найдем, просто я о тебе подумал — а вдруг останешься без...

— А вот это уже не ваша забота! — резко бросил охранник.

Теперь пришлось пожать плечами Кафару.... В конце дня охранник Керем снова подошел к нему и помахал трудовой книжкой.

— Ну вот и все дела!.. — Он сунул книжку, во внутренний карман, подумал о чем-то и усмехнулся. — Скажу тебе честно, прораб: нет у меня никакого диабета, ты не смотри, что я такой худой — я еще крепкий, как... как лесоруб, во!

Кафар удивился.

— А чего же ты тогда увольняешься, если не болен?

— Опять скажу честно: из-за тебя.

— Из-за меня? Но почему? Что я тебе сделал? Ведь за все это время я ни разу тебе даже грубого слова не сказал...

— Что я, женщина, что ли, чтобы грубых слов бояться? Я мужчина, понял? И хочу, чтобы руководил мною тоже мужчина. Пусть он обругает меня, если надо — пусть даже побьет. Но при этом он пусть даст мне заработать, понял? А ты у меня кусок хлеба изо рта вырвал! Ты что думаешь, я без этой пылищи не проживу? Или мне в самом деле спокойная работа нужна? Да я пришел сюда, чтобы заработать, понял? Прораб, который до тебя был, — он давал мне заработать, принести в дом детям кусок хлеба. А как бы я, по-твоему, прожил на свои восемьдесят рублей, на одну зарплату? Да восемьдесят рублей — их только на хлеб и хватит, хоть это-то ты можешь сообразить? И вот еще что, прораб... Ты... Ты подлый человек! Ты другим заработать не даешь, а потому и сам всю жизнь будешь ходить впроголодь!

— Да я... — задохнулся Кафар. — Никогда я не ходил голодным... Я честный!

— Ай, несчастный ты человек! Да разве твоя жизнь — это настоящая жизнь? Я хоть и простой охранник, и то раньше гораздо больше тебя зарабатывал!

— Ты не зарабатывал, ты воровал...

— Воровал? Ну, назови так. Только что я, по-твоему, один ворую? Да здесь все — все, кроме рабочих, живут за счет этого кирпича, этого песка, этих досок! А если б рабочие могли — они бы тоже... Они бы давно уже все здесь разграбили!

— Так что, по-твоему, — сжал кулаки Кафар, — выходит, все здесь жулики, да?

— Да, да, да! — закричал охранник, бледнея. — Все жулики, потому что по-другому никто не живет! Один только ты... только ты не в счет, ты сумасшедший! Знаешь, ты кто? Правильно начальник Ягуб тебе сказал, ты этот... Ты Дон Кихот, вот кто! Дон Кихот несчастный!

Кафар бросился на него, и вдруг ноги его подломились, в глазах потемнело от боли, и он без сознания рухнул на пол...



...Очнулся Кафар уже в больнице. У его постели, с глазами, полными слез, сидела Фариды, тут же были и дети — надушенный Махмуд и заплаканная Чимназ.

— Что со мной случилось? Где я? — еле слышно спросил он врача, щупавшего его пульс.

Врач улыбнулся:

— Ничего страшного, дорогой, ничего страшного. Просто небольшое нервное потрясение. Вы, видно, переутомлялись последнее Бремя, нет? Ну ничего, полежите у нас немного, мы вас подлечим, и все будет в порядке. Самое страшное уже позади. Пока постарайтесь уснуть. — Он повернулся к Фариде. — Долго не задерживайтесь, дайте больному несколько часов поспать спокойно. — И перешел к следующей койке. Фариды, оглядываясь по сторонам, сказала тихо:

— Видишь, велит уходить... Я пойду, приготовлю тебе чего-нибудь, ладно? И сегодня же принесу...

— Да и мне, папа, — сказал вдруг Махмуд, — кровь из носу, надо сегодня с руководителем дипломной работы встретиться.

Кафар молча кивнул им обоим: идите, занимайтесь своими делами.

Он хотел, чтобы ушла и Чимназ, хотел побыть один, но дочь осталась с ним. Она сидела на краю кровати, держала отцову руку и слегка поглаживала ее. Прикосновение это было так приятно, что Кафару казалось, будто тепло дочкиных рук способно совсем утишить его сердечную боль. Туман в голове мало-помалу рассеивался, мысли начали проясняться, он вдруг вспомнил, как попал сюда, из-за чего.

Чимназ, почувствовав, как по телу отца прошла нервная дрожь, посмотрела на него вопросительно. Она слегка сжала его руку и улыбнулась; губы Кафара тоже дрогнули в улыбке.

— Не бойся, — сказал он, — теперь мне лучше.

В палату вошла медсестра, поставила на тумбочку стаканчик с лекарством.

— Выпейте, больной, — распорядилась она и, подсунув руку ему под затылок, слегка приподняла голову. — Это успокаивающее.

Медсестра была смуглой девушкой с кругленьким носиком и такими большими, такими лучистыми глазами, что казалось, такую можно было бы разглядеть и безо всякого света, в абсолютно темной комнате. Опуская его голову на подушку, медсестра посмотрела на Чимназ.

— Какая у вас красивая дочка, — сказала она, — видно, все парни по ней страдать будут. Был бы у меня брат — тут же бы посваталась к вам.

Кафар благодарно улыбнулся ей, а у Чимназ вспыхнули щеки.

Он пролежал в больнице семнадцать дней. Перед тем, как его выписать, его пригласил в свой кабинет профессор, заведующий отделением. Он выписал на узких длинных бланках уйму лекарств и, протягивая рецепты, отчего-то долго и пристально смотрел на Кафара.

— Ничего особо опасного у вас нет, но нервы я бы вам советовал беречь. Это будет самое главное ваше лекарство. Нервы — это друзья нашего организма. Но при определенных обстоятельствах они могут стать и его врагами, особенно для сердца. Так что все зависит от вас. — Профессор вздохнул. — Вижу по вашим глазам, что вы хотите мне возразить. Да, вы

правы, беречь нервы — это самое трудное дело. Особенно теперь, когда жизнь стала такой напряженной... натянутой, как струны тара. Они и так натянуты, а мы сами еще больше их натягиваем. И во обще мой совет: старайтесь избегать эмоций, я бы на вашем месте не ходил даже на фильмы, где много переживаний — стрельба, погони, мучения... Даже футбола или хоккея старайтесь не смотреть. Договорились?

— Договорились, — вздохнул Кафар, — только...

— Только это очень тяжело выполнить, да?

— Да, — кивнул Кафар.

— Ну что ж, вы должны выбирать из двух зол одно: либо живете, как жили, но мало, либо исключаете все волнения, но зато живете долго. Что вы улыбаетесь? Вы, наверное, читали про долгожителей?.. Так вот, обратите внимание: они потому и долгожители, что никаких у них волнений, никаких стрессов, никаких, как я уже говорил, натянутых струн...

— То есть, выходит, они совсем бесчувственные люди, так, что ли?

— Ну, если хотите... примерно так. — Он покосился на дверь, в которую кто-то нетерпеливо заглянул. — Все, на этом до свидания, а то вон, видите, сколько народа меня ждет.

У дверей профессорского кабинета и в самом деле собралась уже большая очередь...

Приехавший за ним Махмуд дождался в вестибюле больницы. Выйдя из ворот на залитую летним солнцем улицу, Кафар вздохнул полной грудью. Шли нарядные люди, неслись мимо машины. Кафар вспомнил слова профессора — да, жизнь стала напряженной. А мы сами делаем ее еще напряженной.

Они пошли пешком, пока наконец на одном из перекрестков Махмуду не удалось остановить такси. В машине Кафар слегка приспустил стекло и подставил лицо горячему опаляющему ветру. Это было так приятно, что он открыл окно до конца.

— Не простудишься? — озабоченно спросил Махмуд.

— Не простужусь. — Кафар дышал полной грудью!..

— Папа, папочка! — радостно закричала Чимназ, едва распахнув входную дверь. — Где ты? Я пятерку получила!

Слышно было, как следом за ней тяжело поднимается по лестнице мать.

Наконец вошла и она, тяжело плюхнулась на стул.

— Фу-у... устала — весь день на ногах. Все горит внутри, дайте скорее кто-нибудь стакан воды. — Махмуд кинулся в кухню. — Мыслимое ли дело, — тяжело отдуваясь, говорила Фарида между глотками, — мыслимое ли дело, такая жара... Все горит, как на сковородке. Еле дождалась, пока Чимназ сдаст экзамен.

Жалко было смотреть на нее, но Кафар сказал все же:

— Да зачем ты ждала-то? Как будто заставлял кто... Я считаю, не надо было вообще идти.

— Ну конечно! Это только ты можешь сидеть дома, когда судьба ребенка решается! Если хочешь знать, все родители были там.

— Ну да, конечно! Все родители — и еще б я — с этим... — Кафар показал на свою ногу.

— Ай, ладно тебе! Такая радость, такая радость. Клянусь Балагой, я чуть не умерла, пока девочка не вышла.

— Я тоже чуть не умерла, — сказала счастливая Чимназ; чувствовалось, что она только теперь начинает приходить в себя. — Дрожала вся, думала, а вдруг они меня срежут.

— Училась бы в школе, как я, на одни пятерки, — не удержался от подковырки Махмуд, — так и дрожать бы не надо было!

— Ишь ты! Расхвастался, как отец. Главное, что у нашей Чимназ сейчас пятерка. — Фарида непрерывно обмахивалась газетой. — Слушай, Чимназ, а многие срезались на письменном? — За последние дни, после того, как в институте вывесили списки, Фарида спросила об этом уже раз, наверное, десять.

И каждый раз Чимназ гордо отвечала:

— Очень многие.

— Ну, а многие получили пятерки на последнем экзамене?

— Ну что ты, мама! Они сегодня чуть не всем тройки ставили, и двоек было несколько — так страшно! Передо мной всего две пятерки поставили...

— Хорошо бы, если бы побольше срезалось! Нет, я просто удивляюсь: все лезут туда, на иностранный. Да разве может там учиться столько народа?! А уж перед институтом толпа — как на стадионе каком — и дети, и взрослые... Пойду, позвоню Гемер-ханум, надо же ее поблагодарить, верно? А заодно скажу, чтобы и о последнем экзамене побеспокоились. На последнем нам тоже пятерка нужна, обязательно. Потому что на конкурс нам рассчитывать нечего — у кого-нибудь будет баллов столько же, да плюс еще производственный стаж — вот он и пройдет. Сейчас стали такое внимание на этот стаж обращать! У кого два года — вот они и пройдут, а наша девочка со своим годом в стороне останется. Так что нам обязательно еще одна пятерка нужна!

— Мама, да у меня и так две пятерки и две четверки! Ну и ничего страшного, если я даже четверку на последнем экзамене получу...

— А ты замолчи и не вмешивайся, раз ничего не понимаешь. Береженого бог бережет, поняла? Вот заставят приемную комиссию нужным людям пятерки ставить — и останешься ни с чем. Нет уж, пусть Муршудовы сразу похлопочут, чтобы и ты пятерку получила.

Фарида с трудом поднялась со стула. «Бедные мои, усталые ноженьки», — вздохнула она, пристраиваясь у телефона.

Чимназ прижалась к отцу и лукаво улыбнулась:

— А что ты мне подаришь, когда я принесу студенческий билет?

Кафар обнял ее.

— А что ты хочешь?

— Лайковый плащ.

Кафар от неожиданности чуть не выронил свой костыль.

«Откуда у твоего отца столько денег, — едва не сказала вслух Фарида, — попроси лучше у меня». Но успела подумать также и о том, что надо будет еще как-то объяснять Кафару,

откуда у нее столько денег. Душу ведь вымотает со своей честностью.

«Опять этот лайковый плащ! — раздраженно думал Кафар, ходя из угла в угол в своей комнате. — Черт бы побрал и его, и того, кто пустил в моду эту самую лайку!» Он с такой яростью вколачивал костыли в пол, что казалось, они продавят его насквозь.

Память живо напомнила историю, происшедшую в прошлом году, когда Чимназ окончила школу.

Был день последнего звонка у десятиклассников. У них, в Баку, как и во многих других городах, давно уже стало обычаем, что в этот день десятиклассники выходят на улицы, гуляют до самого утра. Сначала собираются у кого-то дома, а уж потом, под утро, отправляются на бульвар. А есть и такие, что вена ночь на берегу моря проводят, и с берега Каспия до самого утра доносятся звонкие голоса. Иногда к выпускникам присоединяются и родители, которые не хотят оставлять детей одних, — тоже гуляют вместе с ними до утра...

В такие ночи не спят даже чайки, кружатся над головами молодых, оглашая окрестности криками, и, кажется, с удивлением разглядывают молодежь — мол, чего это они расшумелись здесь в такое время...

Они, конечно, Чимназ одну не отпустили — отправили с ней Махмуда. Под утро Кафар не выдержал, еще затемно отправился на берег. Но сколько ни искал там детей — так и не наткнулся на них.

Понемногу светало. И вдруг, далеко в море, у самого горизонта, за островом Наргин, блеснул первый луч, а потом золото рассвета растеклось по всему Каспию, словно там, у горизонта, вспыхнула и загорелась вдруг вода... А потом из моря выплыла солнечная макушка, его щека, и вот уже явился весь солнечный лик... Одна из девушек, стоявших рядом с Кафаром, крикнула звонким голосом:

— Здравствуй, Солнце! Доброе утро, Утро! Доброе утро, Мир!

И вся компания, и юноши, и девушки, закричали наперебой:

— Здравствуй, Солнце! Доброе утро, Утро! Доброе утро, Мир!

Юные голоса звучали над всем побережьем, становились крепче, мощнее, казалось, что их должно слышать и Солнце. И Солнце вдруг... улыбнулось. Да-да, Кафар был уверен, что Солнце улыбалось навстречу молодым голосам, и ни у одного человека на свете не видел он такой широкой и доброй улыбки...

На глаза его навернулись слезы. «Тот, кто придумал этот обычай, — подумал он, — проводить ночь последнего звонка на берегу, всем вместе встречать здесь утро, солнце — придумал это замечательно. Ведь, может быть, эти счастливые вчерашние школьники вообще в первый раз в своей жизни видят, как всходит Солнце, как наступает утро. И это утро, наверное, надолго останется у них в памяти...»

...Когда-то в их селе был похожий обычай: полагалось в последнюю среду старого года, в первую ночь нового встречать рассвет — не спать, пока не заалеет солнце!

И каждый в эту ночь давал свой обет. «Я встречу рассвет Новруза — пусть вернутся живыми с войны мой брат, мой муж, мой сын». Или: «Я встречу рассвет Новруза — пусть выйдет замуж моя дочь, пусть не останется старой девой». Или: «Пусть у сына моего родится сын...»

Особенно ему запомнилась одна такая ночь. У средней его сестры был тиф, а мама сказала еще раньше: «Пусть выздоровеет моя дочь, да встречу я рассвет Новруза!»

Сестру лечил доктор Тапдыг. Поэтому в ту ночь они пригласили к себе и доктора Тапдыга. А уже совсем выздоровевшая сестра подавала им за столом.

У них был приготовлен плов и традиционный ха-дик — похлебка из кукурузы, пшена, гороха. Отец пригласил еще своего старого друга — ашуга Абузера.

По обычаю, никто не должен спать в такую ночь, того, кто уснул или хотя бы задремал, девушки в ту же минуту привяжут к стулу, а то пришьют к длинной подушке — мутаке, на которую облокачиваются за дастарханом. А то привяжут к поле чьего-нибудь пиджака веник или ведро и неожиданно окликнут этого человека — тебя, мол, во дворе ждут, вставай, иди потанцуй со своей невестой... И когда этот несчастный вставал с пришитой к его пиджаку мутакой или с ведром, все вокруг разразились громовым хохотом...

А утром, вот в такую же темень, как и сейчас, они всей компанией, во главе которой шагал с сазом в чехле ашуг Абузер, отправлялись к арыку. И когда появлялись первые солнечные лучи, ашуг Абузер доставал из чехла свой саз, начинал играть, а все остальные бросались к воде. Пожилые степенно умывались, молодежь с громкими криками брызгала друг на друга водой.

Старики говорили: «Умывайтесь, дети, умывайтесь. Умывайтесь как следует, и весь год ваши лица будут чистыми, красивыми... И говорите: „Здравствуй, Новый год! Да будет благословен твой приход, Новый год!“»

А потом, танцую под саз ашуга Абузера (старики танцевали «Рухани», а молодежь — «Яллы» или «Газагы»), они возвращались в деревню. В те дни Кафару почему-то казалось, что и, солнце приходит в мир, танцую «Рухани», — приходит медленное, тихое, заботливое, как старики.

...Ребята понемногу начали расходиться с берега. Кафар тоже вернулся домой и обрадовался, увидев, что Чимназ с Махмудом уже дома; больше того, с ними пришел и Гасанага. Он и Гасанаге был сейчас рад: столько лет уже парень избегает их дома, а тут пришел. И потом ему хотелось, чтобы Гасанага и его дети подружались — ведь чем ближе будут они друг к Другу, тем лучше: все же, как-никак, он их брат. Правда, дети, по всему было видно, не в первый уже раз встречались с Гасанагой... «Когда, интересно, Фарида успела их познакомить?» — ревниво подумал Кафар.

Гасанага стал высоким, широкоплечим, черноусым красавцем, в движениях его появилась какая-то солидность. Та же солидность сквозила и в его взглядах, его словах.

Кафар пришел на самом интересном месте: Чимназ, стоя между братьями, по очереди кормила их праздничным шоргогалом — соленой лепешкой. Махмуд и Гасанага уже давились, хватит, говорили, больше не хотим, но от этого Чимназ впихивала в них шоргогал еще настойчивее и весело хохотала, глядя на их страдальческие лица.

«Оставь ребят в покое, — ворчала Фарида, — не мучай их, бедных...» А сама при этом тоже смеялась. Улыбнулся этой картине и Кафар.

Глаза у ребят, у всех троих, уже покраснели от усталости, но никто из них, чувствовалось, даже и не помышлял о сне. Они болтали, смеялись по любому поводу. И Кафар с Фаридой, не в силах удержаться, то и дело присоединялись к ним.

И вдруг, подхваченная этим весельем, Чимназ нагнулась к его уху, прошептала:

— Ох, папа, если бы ты знал, что мне подарил Гасанага!

Кафар недоуменно огляделся, увидел вдруг в углу веранды, на стуле магнитофон «Шарп».

— Нет, нет, не это, — остановила его Чимназ. — Это его магнитофон, Гасанаги. Знаешь, какой отличный! Мы всю ночь его на бульваре крутили. Ох, и натанцевались!

— А разве стоматологи в эту ночь тоже не спят? — спросил Кафар у Гасанаги; голос его прозвучал резко, неприятно.

— Да ну, папа! Конечно, последний звонок только для десятиклассников. Но Гасанага тоже пришел, потому что не хотел, чтобы его сестра скучала, понял? Сейчас я тебе кое-что покажу... — Чимназ сходила в свою комнату и вышла оттуда в новеньком лайковом плаще. На мгновение ребята даже перестали болтать; все смотрели на Чимназ — плащ шел ей необыкновенно. Чимназ и сама прекрасно понимала это; от счастья она казалась сама себе легкой, как пушинка — вот-еот вылетит в окно и взмоет ввысь, в голубое небо...

Кафар пробормотал сухо:

— Ну что ж, спасибо. Подарок брата особенно ценен.

— А вот и плов! Как же можно в такой прекрасный день и без плова? — Фарида поставила на стол большую кастрюлю, сняла крышку и оттуда вдруг повалил ароматный пар, да такой густой, что на какой-то миг вокруг ничего не стало видно. — Ну, Чимназ, а где же тарелки, ложки? Зелени почему на столе нет? Разве так полагается за братьями ухаживать?

Чимназ с сожалением сияла лайковый плащ, повесила его на вешалку и в мгновение ока накрыла на стол. Как и положено, подала плов сначала Гасанаге — дорогому гостю, потом отцу с Махмудом и только потом — матери.

Фарида поставила большую вазу с яблоками, грушами, мандаринами, и стол стал совсем нарядным, праздничным, а тут еще и Махмуд принес из холодильника шампанское. Он с оглушительным треском выстрелил пробкой, все снова засмеялись. Махмуд разлил шампанское и сказал:

— А ну, за здоровье нашей сестрички! В честь того, что Чимназ окончила среднюю школу. Ур-ра!

Гасанага тоже закричал «ур-ра!», оба они поцеловали Чимназ — один в одну щеку, другой в другую.

На глазах Фариды навернулись слезы, она смахнула их, тоже поцеловала Чимназ, а потом и сыновей.

— Будь счастлива, дочка, — пожелала она. — Все трое будьте счастливы. И чтобы вот так всегда друг друга любили...

Кафару было приятно смотреть на сына: держит себя совсем как взрослый человек... Правда, Кафар был слегка задет тем, что Махмуд так легко позволил себе впервые в жизни выпить в его присутствии. Но тут же он укорил себя: «Да ты хуже Фариды стал, цепляешься ко всякой мелочи. Разве он ребенок? Ведь не сегодня завтра институт кончит, самостоятельный, считай, человек. Ну и что с того, что он немного шампанского выпьет?»

Теперь поднялась Чимназ.

— А я предлагаю выпить за здоровье моих братьев! — сказала она и потянулась к ним чокаться. — Да здравствуют мои прекрасные братья. Ох, и погуляю я на ваших свадьбах, ох, и погуляю!

Махмуд и Гасанага деликатно потупились, и заметив это, Чимназ подлила масла в огонь:

— Нет, это же надо! Сегодня ночью, когда у каждого из них на руках по две девушки висли, — они не стеснялись! Что же это вы сейчас-то вдруг такими застенчивыми стали?

— Ну будет, будет тебе, — попробовала уговорить ее Фарида, — дай ребятам хоть поесть.

Чимназ выбежала, надела лайковый плащ и, вернувшись к столу, снова подняла свой бокал:

— А это давайте в честь моего турецкого плаща! Фарида усмехнулась:

— Вот что значит девушка. Одни наряды на уме. Кафар, не отрываясь, смотрел на дочь. Кожа была очень тонкой, мягкой, иссиня-черный цвет делал Чимназ еще стройнее, и лицо ее, оттененное этой мягкой чернотой, казалось еще белее, еще красивей. «Да, не зря, видно, Чимназ твердила все время: лайка да лайка...»

А Махмуд вдруг вздохнул, и все поняли значение этого вздоха. Сердце Кафара сжалось в тоске. «Господи, да если бы у меня была возможность... Если бы была возможность... Прямо сегодня же купил бы такой и ему», — подумал он.

Гасанага сказал вдруг с гордостью:

— Хороший плащ. Не напрасно папа покупал его у спекулянтов на Кубинке...

— Кто, кто покупал? — переспросил Кафар, словно очнувшись от глубокого сна. Он недоуменно посмотрел на Фариду, но та довольно улыбалась.

— Папа. Специально купил, чтобы подарить Чимназ в день ее последнего звонка... Он уже давно договорился с одним...

Но Кафар не слышал, что еще говорил Гасанага, кровь ударила ему в голову. Так, значит, этот плащ купил Джабар? Не он, отец Чимназ, а бывший муж Фарида, который не имеет никакого отношения ни к его детям, ни к его семье?! Значит, это ювелир Джабар!.. И конечно же, подарил он этот плащ вовсе не потому, что питает какие-то чувства к Чимназ — просто хотел оскорбить его, Кафара, вот и подарил! Да, да, чтобы оскорбить его! Дело яснее ясного, Джабар хочет сказать этим подарком: какой же ты муж-чи-на, Кафар, если даже не можешь купить своей дочке лайковый плащ, а вот я, смотри, купил его твоей дочке, которая мне никто. Купил, потому что я, в отличие от тебя, настоящий муж-чи-на! Потому что в твоих карманах мыши ночуют, а у меня — денег куры не клюют! Ясно тебе теперь, Кафар, кто ты есть?!

Кровь еще сильнее застучала в ушах, больно заныло вдруг сердце, губы пересохли. Дрожащей рукой он налил стакан воды из графина, выпил и, почувствовав, что дышать стало немного, легче, тихо сказал, стараясь унять искажившееся в злобной гримасе лицо:

— Сними плащ!

Чимназ с недоумением посмотрела на него, перевела глаза на мать.

— Сними плащ и отдай Гасанаге, пусть вернет его владельцу!

Гасанага откинулся на стуле и усмехнулся.

— О чем разговор? Именно Чимназ и есть та самая владелица! Я же говорю: папа специально для Чимназ...

— И очень напрасно твой отец купил плащ для моей дочери. — Голос Кафара срывался. — У Чимназ есть отец, и он купит ей все то, что сочтет нужным и на что у него хватит средств. — Он снова повернулся к Чимназ — Ты что, не слышала? Сними плащ и верни его Гасанаге. — Он вдруг рванул на ней плащ с такой силой, что чуть было не порвал его. Подавленная

Чимназ бессильно опустила руки и плащ упал к ее ногам Кафар поднял его, швырнул Гасанаге. Но Гасанага как сидел, откинувшись на стуле, так и остался сидеть, и плащ снова оказался на полу. Кафар, удерживая дрожь в руках, еще раз поднял его, медленно свернул и так же медленно сунул Гасанаге под мышку. Но Гасанага отодвинулся в сторону, и плащ снова чуть не оказался на полу. Тогда Кафар, уже совсем не контролируя себя, схватил один из ножей, что лежали на столе.

— Или ты заберешь этот плащ, или я его изрежу сейчас на куски!

Фарида осторожно тронула его за руку.

— Но послушай, Кафар... Это же неприлично... подарки не возвращают...

— А ну, замолчи! — он обернулся к ней с такой яростью, что Фарида невольно попятилась.

Гасанага встал, сунул наконец плащ под мышку и, ни на кого не глядя, вышел. Правда, он что-то буркнул в дверях, но что — никто так и не разобрал.

...Чимназ рыдала в своей комнате; мать послала Махмуда: «Иди, успокой ее». Махмуд постоял рядом, сказал:

— Послушай, Чимназ... Надо ведь и папу понять... А Чимназ закричала сквозь рыдания:

— Отстань от меня! Все отстаньте от меня!

— Не кричи так, папа услышит, а ведь он болен, у него сердце...

— Черт с ними, с его болезнями, — выкрикнула Чимназ и снова зашлась в рыданиях.

Кафар слышал каждое слово дочери. Он посмотрел на Фариду, ища у нее поддержки, но Фарида сидела за столом, словно окаменевшая, не смотрела на него. «Да, совсем его стройка испортила, — думала она, — не то что грубее стал — просто бешеный какой-то! А как кинулся на Гасанагу — глаза, кажется, вот-вот вылетят из орбит. Смотреть, и то страшно! Да, видно, правду врачи говорят, что нервы у него не в порядке, да еще и с головой тогда что-то случилось... Господи, еще перережет всех нас в один прекрасный день...»

Кафар еще раз посмотрел на жену, но она так и не повернула к нему лица. Тогда он, зло хлопнув дверью, вышел куда-то из дома, и Фарида ничего ему не сказала, не подумала даже спросить, куда он — наоборот, даже обрадовалась тому, что он убрался с глаз...

Куда он шел? Зачем? Кафар не думал об этом, да и не хотел думать. Идти! Идти! Пока держат ноги, иди! «Интересно, — вдруг взбрело ему в голову, — есть ли где-нибудь конец света?» И самому же стало смешно от этой глупой мысли: ведь сейчас любой ребенок знает, что земля — шар, что нет у нее конца, некуда убежать человеку от своего горя! Куда бы ты ни пошел — все равно вернешься на старое место... Куда? К Фариде? К Гемер-ханум, к ювелирам джабарам, ко всем этим ягубам и прочим?!

— Братец, подай мне ради бога.

Кафар вздрогнул, остановился и увидел сидящую прямо на асфальте молодую цыганку. На коленях у цыганки лежал ребенок, с чмоканьем сосавший желтую грудь. «Интересно, — тупо подумал Кафар, — как бы он себя вел, этот ребенок, если бы понимал, что его мать побирается? Да и, собственно, ради кого она побирается-то, эта несчастная? Наверно, ради него, ради этого ребенка».

Женщина, увидев, что прохожий разглядывает ребенка, приободрилась:



— Помоги ради бога, братец...

— Ну нет! Ради бога я тебе подавать не стану. В другое время, может быть, и подал бы, а сейчас нет, не подам.

— Ну, тогда ради моего ребенка...

— Ради ребенка — другое дело. — Он выгреб из кармана всю мелочь и высыпал ее в протянутую ладонь. Цыганка чуть ли не в воздухе, пока пересыпались монеты из одной ладони в другую, успела пересчитать деньги и улыбнулась.

— Дай бог тебе долгой жизни, пусть карман твой всегда полный будет... Пусть дети твои не зависят от других людей...

Кафар уже отошел было, но, услышав последние слова, через плечо оглянулся на цыганку. Нет, слова эти адресовались уже не ему, а другому человеку — тот тоже сыпал мелочь в ее ладонь.

У него снова испортилось настроение. «Уже зависят. Бог уже сделал так, что мои дети зависят от других. А если бы он не сделал этого — я и сам бы мог порадовать свою Чимназ и теперь, глядя на нее, радовался бы вместе с ней, не стыдился бы своих детей, а гордо смотрел им в глаза...»

Он увидел неподалеку сквер. И это было очень кстати — ноги больше не хотели нести его. Он выбрал удобную скамейку, на которой пристроился какой-то старик, сел на противоположный конец, продолжая наблюдать за цыганкой с ребенком.

Теперь мимо нее шла парочка.

Цыганка снова заканючила свое:

— Помогите ради бога! — Но парочка, даже не обратив на нее внимания, со смехом шла дальше. Тут же поняв свою ошибку, цыганка мгновенно сменила пластинку: — Ай, юноша, подай мне ради той красавицы, что идет рядом с тобой.

Юноша тут же оставил спутницу и вернулся к цыганке.

— Пожалуйста. Ради этой девушки я не то что последнюю копейку, последнюю рубашку отдам, — весело сказал он и бросил цыганке монету.

— Храни тебя бог, храни тебя бог! Дай он вам счастья, дай вам состариться вместе!

Он вернулся к девушке, и они еще постояли, выслушивая ее пожелания, и продолжили свой путь лишь когда цыганка замолчала. Теперь юноша вел свою спутницу еще уверенней, а девушка плотней льнула к нему и почему-то громко смеялась.

Для проходившей мимо полной женщины цыганка нашла новые слова:

— Ради сына твоего, оставшегося на чужбине, помоги мне, сестра.

Женщина тут же остановилась и достала три рубля.

— Помнишь, я тебе недавно тоже три рубля давала? Твои пожелания достигли цели, вчера я получила от сына письмо. Помнишь, я тебе говорила, что он за границей работает? Так вот, пишет, что все у него идет превосходно. Так что возьми, заслужила эти деньги. Помолись, чтобы благополучно закончился для него этот год, и тогда он вернется ко мне, а я тебе дам десятку. И одежду твоему ребенку найду.

— Боже великий, всемогущий создатель наш, избавь от всех бед сына этой женщины! — тут же завела цыганка.

Полная женщина тоже молитвенно поднесла руку к лицу и пошла дальше.

Вдруг Кафар услышал, что сидевший с ним на одной скамейке старик говорит что-то себе под нос, бормочет, ни к кому конкретно не обращаясь: «Просто так, за ради бога, никто никому не хочет помочь, даже нищенке подать. И тот парень свой рубль, и эта женщина трешку, да и сам ты, — он посмотрел на Кафара, — все вы подали, только чтобы выгоду для себя извлечь. Ну, какой прок той женщине — ясно, какой тому парню — тоже, а вот какой тебе — знать не знаю: Надо же, отдает человек рубль, чтобы еще больше понравиться девушке, чтобы та подумала: ах, как он меня любит! Что же это получается, сам-то бог людям не нужен? Или это ему люди больше не нужны? Загадка!» Он снова посмотрел на Кафара. Кафар растерянно огляделся вокруг, но никого больше поблизости не обнаружив, пробормотал удивленно:

— Простите, это вы мне?

— Ну вообще-то, если честно... это я сам с собой. Хотя, с другой стороны, ответа и на самом деле для себя найти не могу. Может, ты мне объяснишь, что тут к чему?

— Я?

— Сейчас попробую объяснить... Я живу тут недалеко — вон мой дом, напротив сквера имени Ахундова, видишь? И вот уже несколько лет я каждый день часами сижу здесь днем. И иногда и по вечерам прихожу. Почему? Во-первых, потому, что далеко я уже ходить не могу. — Иссохшими от старости руками он погладил колени. — Ноги уже не держат, устают быстро. Было время — ни трамваями, ни троллейбусами не пользовался, только пешком ходил, а теперь мне и ста шагов без отдыха не сделать, будь она проклята, эта старость. Да, а во-вторых, как раз здесь проходит дорога на кладбище. Но об этом я еще скажу, а сейчас, пока не забыл, назову и третью причину. Очень я люблю отсюда наблюдать за нищими — кто им подает, сколько, по какой причине. Это, сынок, целый мир, особый. Ну так вот, теперь я вернусь ко второй причине. А именно к тому, что здесь проходит дорога на кладбище.

— Что-что? — Кафару показалось, что он чего-то недослышал.

— Я говорю, дорога на кладбище здесь проходит. Большую часть умерших именно этой дорогой несут к их последнему приюту. О чем только не думаешь, когда глядишь на проходящие или проезжающие здесь похоронные процессии. Я вот по числу идущих за покойником, по тому, сколько его провожает машин, сразу могу определить, кем он был — большим человеком или маленьким, богатым или бедным... Мир таков, сынок, что людей можно различать как при их жизни, так и после смерти...

Почему-то говорил он с закрытыми глазами. И трудно было понять — то ли это старик нарочно, то ли глаза у него закрывались сами по себе, от старческой немощи. Замолчав, он поднял веки, грустно посмотрел на Кафара, на редких прохожих в саду, на нищенку, все еще просившую свою милостыню, и снова закрыл глаза.

— Вчера здесь несли одного поэта, — продолжал он. — Столько народу шло... Правда, все же не собралось, я думаю, и пятой части людей, что пришли на похороны Самеда Вургун... Нет, дай перечислю по порядку: сначала на похороны Джафара Джабарлы, потом Узеирбека, а уж потом — Самеда Вургун. Наверное, за всю историю Баку не было таких многолюдных похорон, как похороны этих троих; людей на улицах было — как муравьев... Ты помнишь те дни, нет?

Кафар замялся:

— Н-нет... Я только похороны Самеда Вургуна видел...

— Этого вполне достаточно для того, чтобы иметь представление... Да, короче... всегда вот так — начинаю говорить об одном, а перескакиваю совсем на другое. Знаешь, почему это? Слишком много накопело на сердце. Сердце полно до краев... Но вернемся к похоронам поэта, о котором я говорил. Перекрыли дороги. Это они правильно делают — поэта в последний путь надо провожать торжественно, с почестями. Потому что поэт — это чудо. Возьмем хотя бы Физули... Ты любишь Физули?

— Конечно.

— Молодец. На пользу, видно, тебе пошло молоко матери. Потому что Физули может не любить только человек с камнем вместо сердца. Ты вот послушай, послушай внимательно, что он сказал, пророк Физули. — Старик что-то нараспев пробормотал себе под нос, а потом спросил: — Видишь, какие прекрасные строки?

Ничего не расслышавший Кафар вежливо ответил:

— Действительно прекрасно, очень мудрые строки.

— К чему я это тебе говорю?.. О чем я рассказывал, а? Видишь, что такое старость — не успев окончить рассказ, забываю, с чего начал.

Кафар улыбнулся:

— Вы говорили о похоронах поэта, которые наблюдали вчера, а потом вспомнили о Физули.

— Нет, не то, сынок, не то... Вспомни, я же с бога начал. И говорил о том, что люди не хотят помогать друг другу просто так, за ради бога. Думаешь, она первая побирается на том месте, эта цыганка? Да тут все время кто-нибудь руку протягивает... А почему? Потому, что это бойкое место, перекресток... Придет такая вот, посидит сколько-то, а потом, когда увидит, что люди к ней привыкли — на новое место переходит, а сюда другие садятся. Вот эта женщина, с ребенком, она здесь сидит уже четыре дня. Самое крайнее дня через два исчезнет отсюда, появится новая. Но вот что я заметил: все, кто подают — они подают ради себя, ради своих детей, ради родственников, друзей. Ну, конечно, есть и такие, кто просит, чтобы она за них помолилась. Но это старики вроде меня — чувствуют, что приближается то время, когда надо будет предстать перед богом, вот и раскошеляются. А есть и такие: грешат-грешат, о боге не думают — нет бы сказать себе: хватит, мол, пора и честь знать... И вдруг попадают в беду, в тяжкое положение, и вот тогда-то сразу вспоминают о боге: «О горе, меня ведь ждет божий гнев!» Ну и начинают раздавать деньги во имя бога. Я ведь не просто так все это тебе рассказываю, сынок, ты не думай: старый, мол, из ума выжил, совсем не понимает, что несет, и остановиться не может. Нет, сынок, нет. Я человек старой закалки, много на своем веку повидал, мои слова и тебе могут полезными оказаться... Ты мне только скажи, сынок, сам-то в бога веришь? — Кафар промолчал. — Ты коммунист? — Кафар отрицательно покачал головой. — А я вот большевик. С девятнадцатого года еще. И я, когда был молодым большевиком, не признавался, что в бога верую. Себе даже не признавался. Одно время был и членом «Общества безбожников». Слышал о таком обществе? — Кафар кивнул. — А ведь, если разобраться, мы не по своей воле в это общество записывались. Нам сказали: каждый большевик должен стать членом этого общества безбожников, вот я и вступил... Потом его ликвидировали, и очень умно поступили. Потому что это было очень глупое общество, это была бесполезная затея. Большевизм — сам по себе, а религия, вера — сами по себе. Я всю свою жизнь был по-большевистски честен, порядочен, ничего, даже своей жизни для страны не жалел. Что может быть для человека дороже глаз? Ведь свет этого мира ты только благодаря своим глазам можешь увидеть, верно? А я ради Родины одним глазом пожертвовал... Бандиты в тридцатом выкололи... И вот, видишь, один глаз у меня теперь стеклянный... Да, вот как я служил своей стране. Но, признаться, и бога не забывал. Ведь

если глубоко задуматься, сынок, над тем, что это такое — бог, то выходит, Что с самой древности для всех для нас бог — это правда, честность, милосердие, страх оказаться непорядочным или несправедливым. Когда человек не верит во все это — он теряет бога, а самое главное — перестает быть человеком... Ты что думаешь, я только тебе — случайному человеку, здесь, на лавочке, говорю об этом? Не-ет, я об этом могу сказать любому. И детям своим — тоже. Они у меня все коммунисты. У меня даже внуки уже партийные есть. И пусть будут. Но и бога пусть не забывают. Того бога, о котором я тебе сейчас говорил — совесть свою люди пусть не забывают. — И старик снова прикрыл глаза. — Поэтому, сынок, не обижайся, но я пугаюсь, когда вижу, как люди не хотят подавать нищенке за ради бога. Очень боюсь, разные мысли приходят ко мне. Да наполнится могила твоя светом, Физули, как прекрасно сказал ты...

Старик и на этот раз так тихо пробормотал стихи, что Кафар снова не разобрал ни слова.

Издали, под вой сирены, надвигалась на перекресток пожарная машина. Регулировщик остановил все движение, и пожарная пулей пронеслась на красный свет.

Старик воздел руки к небу:

— Спаси, господи.

Они посидели молча, наблюдая, как попрошайничает на своем месте цыганка с ребенком. Вдруг старик показал на высокого, как жирафа, худого мужчину, который направлялся от перекрестка ко входу в сквер.

— Обрати внимание на этого человека, сынок. Он сейчас подаст милостыню, и никто не увидит, сколько именно он подаст, потому что этот длинный постарается заслонить цыганку собой. Я-то его хорошо знаю, он в одном доме со мной живет, на одном этаже — у нас двери напротив. Знаешь, кем он работает? Начальником цеха на обувной фабрике. Поговаривают, что крепко проворовался, что сейчас его делом занимается милиция. Вот потому и вспомнил он теперь о боге, милостыню раздает. Раньше ему все нипочем было, а если в его дверь, упаси господь, стучался нищий, так он прогонял его или вообще не открывал дверей.

И в самом деле, этот худой и длинный мужчина подошел к нищенке и, загородив ее спиной, торопливо достал что-то из кармана, бросил цыганке в подол. Та быстро сунула это «что-то» за пазуху.

— Видел? Ты видел, все вышло, как я сказал! Не хочет, чтобы хоть кто-то знал, сколько он дает. И жена его, и дети такие же — все от всех скрывают. Обедать садятся — даже в Летнюю жару окна закрывают, занавески задергивают, чтобы никто не знал, что они едят. А все почему? — Кафар, как сонный, взглянул на него, пожал плечами. — Да потому, что и хлеб, который они едят, как и деньги, которые он дал нищенке, — все это нажито нечестным путем...

Старик вдруг начал задыхаться; Кафар посмотрел на него — его собеседник как-то вдруг посерел, то и дело торопливо облизывал губы, наконец, совсем помрачнев, взял трость, прислоненную к скамейке.

— Пора мне, — еле слышно пробормотал он, — мало того, что постарел, так еще и диабет заработал... Надо спешить, срочно укол делать. Вот видишь, и еще одна причина, по которой я не могу далеко уходить от дома. Ты уж прости меня, ради бога, за то, что я столько морочил тебе голову. Что же поделаешь — накопело, а поделиться не с кем. — Вставая, он улыбнулся, и лицо его покрылось тонкой сетью морщин.

Несмотря на кажущуюся ветхость, ходил старик быстро. Он торопливо пересек сквер, перешел улицу и скрылся во дворе здания, на которое показывал в начале разговора.

Кафар тоже встал, продолжил свой путь по улице, поднимавшейся в гору. «А что, — подумал он, — если пойти и посмотреть, что стало теперь на месте нашего старого дома?» Квартала их давно уже и в помине не было — словно и не занимал никогда здесь землю ни сам квартал, ни скромные двухэтажные домишки. Теперь на этом месте возвышалась махина нового семиэтажного здания.

Вдруг поднялся ветер — это был всесильный бакинский норд. Словно водяной поток, торопливо хватал он все, что подворачивалось, сметая, стремился унести с собой. Он швырял в глаза прохожим пыль и песок с мостовой, на тротуарах закружил хоровод из клочков бумаги и опавших листьев.

Закрывая глаза рукой, Кафар прошел еще немного вперед, пока совсем рядом не завизжали тормоза. Все еще прикрывая глаза, Кафар посмотрел в сторону мостовой — увидел там такси, высунувшегося чуть не по пояс шофера, какую-то растерянную женщину. Шофер такси кричал на нее:

— Ты что, ослепла, что ли? Машину не видишь? Себя не жалеешь — так обо мне подумала бы, из-за тебя семья без кормильца могла остаться!

Насмерть перепуганная женщина стояла перед самой машиной и никак не могла сдвинуться с места.

— Прости, братец, — сказала она наконец, — задумалась я, в самом деле тебя не заметила. Да тут еще этот ветер... — Опомнившись, она быстро поднялась на тротуар.

Ему живо припомнилось, как приговаривал профессор, выписывая его из больницы: «Жизнь другая стала, нервная, кого ни возьми — у всех нервы, у всех нервная система расшатана. А что же им еще делать, бедным нервам, коли мы сами только и делаем, что треплем их друг другу?..»

Женщина ушла, а такси осталось — заглох мотор, и шоферу пришлось, осторожно подрулив к самой кромке тротуара, вылезти из машины и поднять капот. «Черт бы тебя побрал! — ворчал шофер, копаясь во Внутренностях машины. — Старье — оно и есть старье, того и гляди на ходу развалится! Сколько уже механику говорил, завгару — нет, поработай еще, план надо гнать, потерпи — не сегодня завтра новые получим... Когда они только кончатся, эти „завтраки“! Да ты же труп, труп, а не машина! А труп разве может выполнять план?!»

Резко выпрямившись, шофер ударился головой о крышку капота, смачно выматерился и тут вдруг обнаружил наблюдавшего за ним Кафара.

— Извини, ради бога, — сказал он, заливаясь краской, — совсем замучила, проклятая.

Кафар, ничего не ответив, пошел своей дорогой.

В нижней части города ветер дул слабее. Правда, норд завывал и здесь, но пыли летело гораздо меньше — потому что это был уже центр, а в центре всегда чище, чем на окраинах...

Тут-то он и встретил одного из своих бывших университетских друзей, поднимавшегося с корзиной в руках по Коммунистической улице. Кафар преградил ему путь, и тот, слегка опешив, долго смотрел на него сердитым взглядом, никак не узнавая. Наконец лицо его немного смягчилось.

— Кафар, ты, что ли? — спросил он неуверенно.

— Кажется, я.

Они обнялись, потом университетский товарищ отстранился, продолжая разглядывать его с

жадным интересом.

— Что-то плоховато выглядишь, Кафар..

— Ай, приболел немного. А ты как? Надо же, столько лет не виделись. Помнишь, как договаривались в университете: начнем работать, все переженимся, забот у нас тогда станет поменьше, будем друг с другом по крайней мере раз в неделю встречаться — чтобы и жены наши дружили, и дети... Будем, мол, собираться все вместе, вспоминать студенческие годы... А на деле все иначе вышло...

— А на деле оказалось — главные заботы только после женитьбы и начинаются. Видишь, хожу с самого утра по магазинам. Дети — тому одно, другому — другое... А, ладно... Ты хоть где работаешь-то?

— Я?.. На стройке...

— Где-где? А какое ты к стройке-то имеешь отношение? Помнится я слышал от кого-то, что ты в аспирантуре, что у тебя тема интересная... Защитился хоть, нет?

— Нет, браток, нет...

— Да почему, что случилось?

— О, это длинная история. Чтобы всю эту эпопею рассказать, нужен такой крепкий саз, как у ашуга Алескера. Как-нибудь в другой раз, когда времени побольше будет, ладно? Кстати, о сазе... Ты играешь еще? Поешь из «Яныг Кереми»?

— Да что ты! Откуда время, Кафар, откуда оно, время, для этих забав! У тебя часов нет?

— Ты что — так сильно спешишь?

— Спешу — не то слово. Ну, так который там час?

— Четверть третьего.

— Вай! Я побежал! Извини, родной мой, спешу — гости у нас сегодня! Сегодня ведь праздник Последнего звонка. Тебе-то что, у тебя дети, поди, давно уже выросли...

— Ну, давно, не давно — младшая тоже в этом году школу окончила.

— Ох, идет время! А старший? У тебя ведь, кажется, сын был?

— А сын университет заканчивает...

— Ай, молодец! Да я тебе просто завидую! У тебя, по крайней мере, с одним уже все в порядке, а у меня все еще впереди... Ну ладно, родной, бегу, не то совсем меня дома загрызут. Такая капризная дочка выросла — не приведи бог. Меня нет, а она, наверное, уже дуется: почему это отец так долго с базара не возвращается?..

И он почти побежал вверх по улице, круто идущей в гору, часто перекладывая из руки в руку тяжелую корзину с покупками.

Кафар посмотрел ему вслед и пошел к крепостным воротам Ичери шехер.

Фарида приготовила сегодня любимую всеми долму — голубцы в виноградных листьях. Потирая от удовольствия руки, Кафар поискал на столе приправу из простокваши с чесноком — какая долма без этого замечательного соуса? Мацони с чесноком на столе не было, но стоило Кафару лишь заикнуться об этом, как Фарида сразу же взорвалась.

— Я что, из самой себя, что ли, должна для тебя кислого молока наделать?

— А что, разве не приходил сегодня разносчик из Маштагов? Ну, Мацони?

— Может, к кому и приходил, да только не к нам! Все, нету нам больше мацони — говорит, еле-еле для Гемер-ханум хватает.

— Что случилось-то? Что, у нас не такие же деньги, как у них?

— Такие, да не такие! Он тебе по восемьдесят копеек продавал, а Гемер-ханум ему теперь рубль дает. А потом этот теой Мацони говорит, что продал коров, одну только оставил. Уж не знаю, правду говорит, нет. К тому же, говорит, сам постарел, а дети к скотине и близко подойти не хотят — брезгуют. Они, эти твои деревенские, чем дальше, тем все наглее становятся!

— При чем тут деревенские, мама! Их тоже можно понять — я бы тоже, например, со скотом возиться не смог, — поморщился вдруг Махмуд. — Вон хоть тот же Мацони — он как войдет, так хоть из дома беги, так от него навозом разит.

И Чимназ вся перекривилась, как будто ее вот-вот вырвет.

— Ой, ради бога! Давайте о чем-нибудь другом, а то я тоже вспомнила, как от него пахнет... бр-р... Когда мы в первый раз у него купили — я вообще есть ничего не могла, не то что его простоквашу! Главное, если он здесь постоял хоть минуту — целый день потом все скотным двором пахнет, даже мамины обеды...

Разговор этот, неожиданно больно задевший Кафара, напомнил ему вдруг последний его приезд домой, в деревню. Он поехал тогда на свадьбу младшего брата. И все было хорошо, пока ему вдруг не захотелось простокваши из буйволиного молока. Соседи послали домой — посмотреть, не осталось ли от вчерашней дойки. Увы, ничего не осталось. А в округе, сказали они, кроме, как у них, и искать больше не у кого — никто буйволов теперь не держит. Была еще одна буйволица у них в деревне, да яловая, а у соседей что ж — соседям самим еле-еле хватает...

— Да что же это с селом-то стало? — посетовал Кафар.

— Ай, сынок, — грустно закивала головой мать. — Только одно название и осталось, что село, а так и масло, и сыр — все мы в городе покупаем...

— Но почему? Почему? Вот чего я понять не могу!

— О, можно подумать, ты сам не знаешь почему. — Мать посмотрела на него с сомнением. — Да потому, что молодые бегут в город, а сюда возвращаться никто уже и не думает. Ну, и кто остается-то? Старики, да вот такие, как твой младший брат. А этим уж совсем со скотиной возиться неохота. Сколько раз я ему говорила: сынок, давай наскребем денег, корову купим. А он мне знаешь что? «А кто будет за ней ухаживать?» Наверно, в чем-то мы и сами, старики, виноваты: маленькие были — жалели вас. В молодости — тоже. Надо, мол, им красиво одеваться, гулять, а уж потом, когда станут самостоятельными, когда свои семьи появятся, дети — вот тогда они и скотиной займутся, и землю распашут... Ну и что? Одеваться чисто привыкли, все в магазине покупать привыкли, а работать — разучились, забыли совсем, как пахнут коровы, буйволы, овцы, лошади. Знаешь, как твой покойный отец говорил, подходя к яслям? «Для меня нет большего удовольствия, чем вдыхать запах теплого навоза, запах конского пота...» Вот как! А какой у него конь был всегда ухоженный! Шкура — как шелковая! Да он скотину ласкал, как все равно детей малых — то погладит, то потреплет... Коня даже в глаза целовал. И вот, знаешь, как он, бывало, идет — так скотина его еще издали чует, такой сразу шум поднимается — блеют, мычат — вот как рады были. А вы? Вот хоть брата твоего

ВЗЯТЬ...

Младший брат сидел напротив в черном свадебном костюме, в белоснежной сорочке, при галстукке, рядом с ним сидела такая же красиво и торжественно одетая невеста. И оба они снисходительно усмехались, слушая этот разговор.

— Что-то не пойму, — сказал Кафар брату, — почему тебе, собственно, не обзавестись живностью? Ты теперь здесь хозяин, крестьянин, в город, вроде, не собираешься. Ну, а крестьянин тем и отличается от горожанина, что у него своя скотина, свой огород. Вон, смотри, из-за одной банки простокваши все село на ноги подняли, разве это дело? Сколько я себя помню, у нас никто и никогда в город за маслом или за мясом не ездил, как сейчас. Да что там в город — к соседям даже никогда не обращались. Вон, видишь, маслобойка на тутовом дереве висит — уж что-что, а молоко, сыр, масло — это у нас испокон века свое было... И двор наш — одно удовольствие утром посмотреть: коровы мычат, овцы блеют... Конь ржал...

Брат и его невеста снова усмехнулись. Брат положил ей руку на плечо и сказал:

— Об чем говорить, батя, — после смерти отца младшие звали Кафара «батей», — прошли те времена, нет уж тех героев, нету! Да если даже литр простокваши будет не рубль стоить, а десять — не буду я держать скотину, понял? Пусть хоть озолотят меня, а копать в коровьем дерьме у меня интереса нету. Может, ты захочешь? — спросил он у невесты. Та скорчила гримасу.

— Еще чего не хватало! Я что, для того шесть лет на врача училась, чтобы за коровой навоз убирать? Да у меня руки всегда стерильными должны быть. — Невеста протянула свои тонкие, белоснежные ручки. — По двадцать раз на дню с мылом мою, да еще и спиртом дезинфицирую, а вы хотите, чтобы я этими руками за скотиной ухаживала? Да что вы хоть говорите-то! — Невеста с искренним возмущением посмотрела на Кафара.

— Видишь, батя? — снова усмехнулся брат. — Не хочет. И я не хочу — зачем эти хлопоты? Были бы у человека деньги — а молоко, простокваша всегда найдутся. Раз своего нет — у соседей можно купить, а не будет у соседей — найдется в городе, у государства. Были бы деньги, а масло хоть в самой Москве покупать можно. Главное — это теперь деньги, деньги, понял?

Он говорил, а глаза его блестели каким-то странным блеском, которого Кафар никогда до сих пор не видел в глазах младшего брата. Впрочем, никогда он и не слышал, чтобы брат говорил при нем о деньгах, да еще с такой жадностью, с таким вождением...

Мать посмотрела на сыновей и вздохнула.

— Ну ладно, делайте, как знаете. Мне-то что, я свое уже отжила. А вот вы завтра сами обо всем пожалеете. Локти будете кусать, клянусь богом, будете кусать локти! Одного только себе не представляю, какими же будут ваши дети, если вы сами так жизнь начинаете.

Невеста вдруг оживилась, ударила в ладоши.

— А знаете что, мама Гюльсафа, у меня есть предложение!

Все трое посмотрели на нее с интересом, а мать с надеждой спросила:

— Какое предложение, моя родная?

— Хотите, я попрошу папу купить вам корову или даже буйвола? Хотите? В Гяндже можно отличную буйволицу купить.



— Мне?

— Да, да. Сама и будешь ухаживать...

— Деточка! Да, сейчас у нас в селе и пастухов-то не осталось, а те, у кого есть скотина — сами пасут, по очереди. Кто же вместо меня пасти-то будет?

— А зачем? У нас в Гяндже один продавец молока есть, так папа его всегда кормами снабжает. И для вас папа найдет, сколько нужно. Вот и все — привяжешь к стойлу, и пусть себе едят, сколько влезет...

Теперь все смотрели на Гюльсафу — что она скажет. «А что, — подумал Кафар, — ведь неплохое предложение делает невестка. Если все так пойдет — у матери и молоко будет, и масло и сыр...» Он чуть было не сказал это вслух, но мать его опередила.

— Ай, родная моя, если б я могла ухаживать за скотиной... Да где уж мне теперь...

— Да почему, мама? — горячо возразил Кафар. — Ты только посмотри, тебе ведь почти ничего делать не придется.

— Эх, сынок! Я ведь только теперь, как нашу Краснуху прирезали, и позабыла, как за ней ухаживать-то, за скотиной, только теперь отошла от всех этих забот: ночь, не ночь, буран, не буран, а ты ей корм задай, подои, навоз выгребь... Нет уж, детки, дайте мне спокойно мои последние дни дожить...

Невеста, а за ней и братья дружно расхохотались. Гюльсафа попробовала было осердиться, но махнула рукой и засмеялась вместе с ними...

«А как я сам, — подумал Кафар, — сам-то я смог бы держать скотину, если б снова в деревню вернулся?» Ответа на этот неожиданный вопрос у него не было...

Он посмотрел на Фариду, на детей. Они уписывали долму и без простокваши. «Ко всему привыкает человек, — подумалось ему. — Конечно, они знают, что без простокваши с чесноком долма уже не та, а все равно едят с аппетитом. Интересно, что с их аппетитом станет, если в этой долме не окажется и мяса?»

Он снова посмотрел на Фариду и детей и грустно подумал: «Как о многом мы уже забыли, а удастся ли потом вспомнить, восстановить то, что ушло? Вряд ли... Во всяком случае, это будет очень трудно...»

Он так и не доел свою долму. И когда Фаридка недовольно посмотрела на его тарелку, пробормотал:

— Что-то сегодня аппетита нет.

Фаридка каждый раз возмущалась, когда кто-то оставлял еду на тарелке. «Ну что мне теперь с этим делать — кошкам скормить? Не класть же обратно в кастрюлю?» Но выбрасывать рука не поднималась, и в гонце концов Фариде приходилось, как она сама говорила, подметать со всех тарелок. Наверное, оттого-то она и полнела не по дням, а по часам...

— Махмуд, а ты помнишь свадьбу дяди Вахи-да? — спросил Кафар, озадачив сына этим неожиданным вопросом.

— Помню. А что?

— Помнишь, как ты закричал, когда привели бычков — а они тогда купили на свадьбу бычков, — помнишь, как ты закричал: «Папа, смотри, какие большие поросята!»?

Все весело рассмеялись. Смеялся и сам Кафар, хотя думал при этом, что тут не смеяться бы надо, а плакать. Да, да, плакать: пятилетний сын крестьянина Кафара не мог отличить бычков от свиней. «Да я в его возрасте... Да я в его возрасте в любом стаде овец мог с ходу своих найти. А отец умел на ощупь определить, кого принесет матка — барашка или ярочку...»

— А что такое эйдирме, ты знаешь? — опять спросил Кафар, и Махмуд, вытирая слезы с глаз, недоумевающе посмотрел на него. Фарида и Чимназ тоже смотрели на него с недоумением.

— Что, даже в книгах никогда не встречал? Махмуд отрицательно покачал головой.

— Да неужели же ни в одной книге по фольклору об этом не написано?

Чимназ спросила нетерпеливо:

— Ну, так что же это такое? Скажи, не мучь нас загадками, папа!

Кафар вспомнил мать, вспомнил их Краснуху. Каждый вечер и каждое утро мама брала подойник, шла к Краснухе, сначала привязывала теленка, потом садилась к корове, зажав подойник меж колен, и тихим, ласковым голосом начинала напевать эйдирме:

Матушка коровушка наша золотая,

Поделись с нами своим молочком.

Ах матушка Краснуха,

Коровушка ты золотая, лебедушка дорогая...

Слушая эйдирме, Краснуха стояла тихо, иногда поворачивая морду, лизала мать в лицо. И Гюльсафа не упускала случая приласкать ее, потереться щекой о Краснухину морду... А когда молоко шло к концу, Краснуха снова лизала щеку Гюльсафы и напоминаясь взмывала. Гюльсафа отлично понимала, что все это означает, тут же убирала подойник и, глядя Краснухе шею, приговаривала ей на ухо:

— Что, боишься, что ребеночку твоему ничего не останется? Не бойся, не бойся, не такая я бессовестная, — и отвязывала теленка.

Тот, почувствовав, что его наконец освободили, тут же тянулся к материнскому вымени, начинал жадно сосать.

Кафар затуманившимся взглядом посмотрел на детей.

— Эйдирме — такая специальная песенка. Мама моя всегда говорила: как споешь эйдирме, так и молока больше, и настроение у коровы лучше...

Чимназ снова расхохоталась:

— Господи, папа! Да откуда ж корове знать, что такое песня?

— У, коровы все понимают, дочка, прекрасно все понимают. Живая ведь тварь. А все живые существа прекрасно отличают грубость от ласки... Слушайте, но не может быть, чтобы даже в книгах... Где-то у нас должна быть ваша старая «Родная речь»...

Он не вытерпел, встал, и ворошил старые книги до тех пор, пока не нашел «Родную речь». Пролистал раз, пролистал другой, но сколько ни смотрел — найти эйдирме ему так и не удалось. Не было эйдирме и в школьном учебнике литературы. Это его очень удивило.

— Как же так? Как же это так получается, что вас уже не учат тому, что у народа были когда-то эйдирме, были сая? Нет, этого не может быть! Во всяком случае, так не должно быть!..

И Кафар, вспомнив, как это делала мама, закрыл глаза, запел таким же ласковым, тихим голосом:

Ах, матушка Краснуха,

Коровушка ты золотая, лебедушка дорогая...

— Ну bravo, bravo, Кафар! Порадовал нас. — Фарида с трудом вылезла из-за стола. — Клянусь богом, зря ты приезжал в Баку, зря получал высшее образование и делал несчастными и себя, и нас. Да тебе надо было оставаться в своей деревне, быть пастухом или скотником — и был бы ты уже Героем Социалистического Труда, имел бы и славу, и почет...

А Кафар, слава богу, не слышал ее, он пел теперь другое:

Матушка моя, пятнистая овечка,

Овечка с медовым выменем...

Приоткрыв глаза, он посмотрел на детей.

— Это как раз называется сая.

Дети вслед за матерью встали из-за стола. А Кафар все напевал и напевал. Лицо его с закрытыми глазами было словно озарено сиянием счастья, и, ей-богу, увидь это лицо кто-нибудь пришедший с холода, с мороза — это сияние согрело бы его...

А на кухне Фарида ворчала без умолку: «Да разве можно с таким характером жить в городе? Что дома пустое место, что на работе. Ты еще дождешься, что твои рабочие тобой командовать начнут!»

Услышав последние слова, Кафар вздрогнул...

С самого утра носился Кафар по стройке в своем рабочем комбинезоне, а когда выдавалась хоть минута времени, поднимался к каменщикам, работал с ними.

В полдень он осмотрел первый этаж последнего блока дома — каменщики сработали на совесть. Сейчас здесь было тихо — все ушли на обед, сидели кружком в тени строящегося дома. Увидев проходящего мимо Кафара, каменщик Садыг окликнул его:

— Эй, прораб, иди с нами пообедай! Кафар сходил за своим свертком с едой.

Стол у рабочих был на славу — они застелили газетами каменную плиту, покрыли сверху полиэтиленовой пленкой, а уж на пленку выложили все, у кого что было...

Ели все молча, словно хотели молчанием дать отдых усталым мышцам.

День был ветреный, но сейчас это оказалось даже кстати — ветер дул со стороны моря, своим свежим дыханием разгонял зной.

После чая каменщик Садыг своей широкой огромной ладонью аккуратно смахнул со «стола» весь оставшийся от трапезы сор... Заметив, что Кафар с интересом наблюдает за ним, он прошептал ему:

— Этот камень кормит нас, сынок. И тот, кого камень кормит, должен это ценить...

Так же говорил когда-то и его отец. Они очень похожи — отец и каменщик Садыг; отец пахал землю до тех пор, пока быки не начинали ложиться от усталости, пока сын не начинал умолять: «Давай отдохнем немного».

Тут же, на своей пашне, они и садились рядом с последней бороздой, от которой поднимался пар. Земля пахла сыростью, перепревшей травой. И отец, руки которого были так похожи на руки каменщика Садыга — они были такие же большие, мозолистые, — нежно мял землю и так же шептал: «Знаешь, что крестьянина делает крестьянином? Земля, любовь к ней... Ты подумай только: она ведь предана человеку больше детей, больше родственников. Я знал людей, которых после смерти некому было даже похоронить, а земля их приютила, не дала зверью растерзать их тела. В тебе наше начало, прекрасная земля, в тебе же и конец наш... Завещаю тебе, сынок, никогда не бросай землю! Земля никого еще не оставляла в беде, не оставляла без надежды... И тебя не оставит своей помощью, но при одном условии: не окажись неблагодарным сыном, не грабь ее...»

Еще отец любил зачерпнуть из-под молотилки горсть золотистого пшеничного зерна, так же ласково помять в ладонях, а потом прижать к губам... Однажды Кафар не выдержал, спросил его: «Почему ты так часто благословляешь зерно, но ни разу еще не благословил нас?..»

Отец усмехнулся. «Человек бывает благодарен тому, что породило его, а не тому, что породил он сам...» Отец говорил, и лицо его было озарено точно таким же ясным сиянием, каким озарено сейчас лицо каменщика Садыга...

Садыг снова улыбнулся ему какой-то необыкновенно доброй улыбкой, хотел даже сказать что-то, но тут все сидевшие вокруг «стола» услышали голос начальника участка Ягуба.

— Ну, вы там еще не устали обедать? — Этот неожиданный резкий оклик заставил вздрогнуть — оказывается, Ягуб, никем не замеченный, давно уже наблюдал за ними. — А ну, вставайте, хватит расслаиваться. Конец квартала как-никак, пошевеливайтесь, пока план наш не сгорел!

Рабочие медленно поднимались. Самым последним встал Садыг-киши.

— Ну что ж, давайте за работу, ребята, — скомандовал он и посмотрел на Ягуба. — Между прочим, сначала бы надо поздороваться с людьми, а уж потом распоряжаться...

Ягуб хмыкнул и так ничего и не сказал.

Глядя, как рабочие расходятся по своим местам, Ягуб выбросил сигарету, которую только что прикурил, раздавил ее каблуком и посмотрел исподлобья на Кафара.

— Что-то не вижу активности, прораб... Ты, слава богу, выздоровел — надо бы поэнергичнее в работу включаться!

— Мы что — разве с прохладцей работаем?

— С прохладцей — не то слово. Твой дом тянет назад весь участок. Быстрее надо крутиться, быстрее! Я, знаешь, привык, чтобы в управлении, в тресте мой участок каждый квартал ходил в передовых. Запомни это, пожалуйста, как следует! А если кого-то такой темп не устраивает — пусть он лучше сразу пишет заявление по собственному желанию, понял? А то ведь я могу и по-другому разговаривать!

— Ну что ж... Хотите, чтобы стройка шла быстрее, будьте тогда добры вовремя обеспечивать нас материалами. Половины перекрытий до сих пор нет, отделочных материалов нет. Даже такой мелочи, как шпингалеты — а и тех нет. Сколько можно говорить вам одно и то же?

— Я тебе что, обязан шпингалеты доставать? Доски? Кто здесь прораб — ты или я? Не маленький, поищешь — найдешь.

— Где это я, интересно, найду? Что, у моего отца — фабрика стройматериалов? Дайте сначала материал, а потом уж с меня и требуйте...

— Э, нет, дорогой, так у нас дело не пойдет! Твоя забота — ты и ищи, где хочешь, а меня все это не касается. Как найдешь, где — это твое дело. Мне главное, чтобы план был. Ясно тебе?

И ушел, всем своим видом показывая, что не желает больше ничего слушать. Однако через несколько шагов обернулся и помахал пальцем:

— Имей в виду: мне управляющий тоже ничего не дает, а план требует. А я требую с тебя! — и полез в кабину самосвала, на котором сюда приехал.

Словом, день выдался такой горячий, что Кафару пришлось основательно задержаться на стройке. Он пришел домой позднее, чем обычно, но почему-то не увидел ни Фариды, ни Махмуда.

— Где мама? — спросил он у Чимназ.

— На поминки пошла.

— На поминки? А кто умер? Чимназ пожала плечами.

— Не знаю, — сказала она с легкой запинкой. — Кто-то с ее работы, что ли...

Фарида вернулась только в двенадцатом часу ночи. Он не ложился, ждал ее, но увидев, как тяжело ей дались эти поминки, спросил только:

— Кто там умер-то?

— Ты не знаешь, моя сотрудница, — сухо ответила Фарида.

— Молодая, старая?

— Пожалуй, молодая. Умерла, несчастная, разочарованная в жизни. Обидела ее жизнь...

Достав платок, спрятанный в рукаве платья, она вытерла глаза, но слезы вдруг полились еще сильнее и, не сдержав рыданий, Фарида бросилась от него в другую комнату.

Кто тогда умер, Кафар узнал много позже, едва ли не в тот самый день, когда с ноги наконец сняли гипс.

...Как-то Фарида проснулась ни свет ни заря; ей казалось, что она, как всегда, встает раньше

всех в доме, но окончательно открыв глаза, она поняла, что это не так: Кафар опять сидел на постели и раздирал свою опостылевшую повязку.

— Болит?

— Не то что болит — просто убивает. Я, кажется, даже согласился бы, чтобы мне ее отрезали — лишь бы избавиться от этого проклятого зуда. — Он уже успел расковырять большую часть верхнего слоя повязки и теперь пытался хоть как-то добраться до кожи карандашом. — Спроси у меня сейчас, о чем я мечтаю больше всего на свете, отвечу: пусть скорее снимут этот проклятый гипс, чтобы я мог вдоволь почесать ногу...

— Да? А я вот больше всего мечтаю о том, чтобы Чимназ сегодня пятерку получила!

Она торопливо оделась, поставила чай. Потом погладила Чимназ платье. Это было особое платье, она сама специально сшила его Чимназ для экзаменов — широкое, с двумя большими и глубокими карманами по бокам. Чимназ набивала эти карманы шпаргалками — еще в начале экзаменов Гемер-ханум велела ей брать с собой как можно больше шпаргалок и ничего не бояться...

Наконец пришло время будить Чимназ. Отдав дочке выглаженное платье, Фарида сама принялась готовиться к выходу на улицу. «Что ты с собой делаешь? — пробовал отговорить ее Кафар. — Ты же полная женщина, сердце у тебя больное... ведь тяжело же по такой жаре... Сиди лучше дома, все без тебя образуется...» Но Фарида пропускала все это мимо ушей.

— Это тебе все нипочем, у тебя каменное сердце! Сидишь себе спокойно и ждешь. Ладно, ладно, нечего тыкать мне своей ногой, это все отговорки. В этом году нога, а в прошлом что было — тоже перелом, что ты ни разу даже к институту не подошел? И это называется отец!

Уже выходя, Фарида остановилась в дверях, подняла глаза к небу. «Создатель, десять рублей в Нардаранском пире[7] пожертвую, если моя дочь в институт поступит».

Кафар осторожно прошелся по опустевшему дому, заглянул к сыну. Махмуд еще спал — гулял всю ночь на обручении у товарища, вернулся совсем поздно. Пришел такой веселый, такой счастливый, будто не друг собрался жениться, а он сам. «Махмуд вырос уже, — подумал Кафар, разглядывая лицо спящего сына, — действительно, самому пора жениться. Похоже, у него уже кто-то есть на примете — очень уж стал последнее время следить за своей внешностью, просто от зеркала не отходит...»

Тут напомнила о себе нога под гипсом — просто зашла вся от зуда. Кафар опять поскреб гипс — как мертвому припарки. Он еще раз прошелся по квартире в надежде, что это хоть немного отвлечет его.

Затрезвонил вдруг телефон. Кафар — благо был недалеко — доковылял до него, снял трубку. Просили Махмуда. «Что передать ему, когда проснется?» — спросил он. «Что, что? Когда проснется? Ну, клянусь богом, и лентяй же он!» — рассмеялись в трубке. Звонил тот самый товарищ, у которого было обручение; голос у парня был счастливый, радостный. Кафар усмехнулся: «Ну что ж, порадуйся пока, все поначалу радуются...» Но тут же ему самому стало неприятно от этой мысли — что он, в самом-то деле — пусть радуется, парень всю жизнь...

От нечего делать, он взглянул в окно и вовремя — у входа в проулок показался торговец простоквашей, он спешил, время от времени поглядывал в сторону их дома. Увидев Кафара, Мацони закивал ему.

— Как здоровье, муаллим? — спросил он, остановившись под окнами.

— Спасибо, теперь лучше...

— Ну слава богу, слава богу.

— Ты сам-то как? Есть от сына новости? Торговец глубоко вздохнул, видно, растрогался — это с ним всегда происходило, когда речь заходила о сыне, служащем в армии.

— Дай бог тебе долгих лет жизни, братец, на днях письмо получили.

— Ну, и что же он пишет?

— Да что пишет... пишет, что скучает. Не могу, говорит, я эту еду есть... — Торговец поднес руку к глазам. — Сидим с женой и плачем. А что делать, братец, не станешь же каждый день обеды ему отсюда посылать...

— Да ты не расстраивайся, привыкнет понемногу. По себе знаю... К, тому же молодой парень, пусть привыкнет к трудностям, не то потом, когда главой семьи станет, еще тяжелее придется...

— Конечно, братец, конечно. Я ему то же самое и написал — привыкай, мол... — Он позвонил в дверь Муршудовых. — Ты не обижайся, братец, не могу я теперь вам носить — всего одна корова осталась, молока меньше, вот и...

— Ну, ну, не беспокойся, спасибо тебе. Все в порядке — у нас ведь никто, кроме меня, без мацони не страдает... А я уж как-нибудь...

Дверь Муршудовых открылась, и Мацони скрылся за ней. А выйдя назад, он больше даже не посмотрел в сторону их дома.

Солнце уже поднялось из-за моря; наконец лучи его упали на лицо Кафара, и в первый момент это доставило ему несказанное наслаждение — они были теплыми, ласковыми; но постояв немного у окна, он понял, что не такое уж оно и ласковое, солнце — лицо начало гореть, зной, казалось, вытеснил весь воздух, да так, что сразу стало нечем дышать; Кафар даже почувствовал тошноту.

Он поспешил задернуть занавеску на веранде. Занавеска выгорела, стала такой прозрачной, что, казалось, дунь посильнее — и она прорвется. И тут он увидел, что по тупику несется Чимназ. Взлетев под перестук каблучков по лестнице, она вбежала в комнату.

— Папочка, папочка! — кричала она от восторга.

Забыв обо всем на свете, она схватила отца за руки, как будто собралась с ним танцевать, и Кафар не устоял от этого натиска на ногах, сел на пол, пытаясь уберечь поврежденную ногу. Чимназ опустилась рядом с ним на колени, обняла его за шею.

— Давай поздравляй меня! — Глаза дочери светились от счастья. — Я пятерку получила, папа! Всего у двоих баллы лучше, чем у меня. Понял?! Это значит, что я уже могу считать себя студенткой.

Кафар попытался встать, но махнул рукой, прижал дочь к себе:

— Поздравляю, доченька! От всего сердца поздравляю. А где же мама-то, как она?

— Мама сейчас будет. Она просто в магазин зашла, встала в очередь за тортом.

Наконец они оба поднялись с пола. Чимназ, вытаскивая пригоршнями шпаргалки из своих широченных карманов, разбрасывала их по комнате.

— Все! Прощайте, шпаргалки! Слава богу, избавилась я от вас!

Пришла и Фариды. Снова она тяжело дышала, по лицу ее струился пот, но теперь она даже и не думала жаловаться на жару, улыбалась так же радостно, как и дочь:

— Слава богу, теперь все тревоги и страхи позади. Сделав знак рукой — сидите, мол, сидите, я сама, она подошла к зазвонившему телефону.

— Ах, спасибо, Гемер-ханум, большое вам спасибо, огромное! Да, да... Я тоже поздравляю вас. Что вы, мы же вам так многим обязаны! Никогда не забудем вашей доброты. Кафар? Ну... утром он чувствовал себя неплохо, а вот сейчас пришли с экзамена — ему, бедняжке, много хуже. Ну о чем вы говорите, Гемер-ханум, неужели вы думаете, мы сами не хотим, чтобы он поскорее выздоровел?! Он глава семьи, опора для детей... Хватит с нас и того, чего мы натерпелись за время его болезни. Ну, конечно, конечно, что сделано, того не исправишь. Да, да, мы готовы завтра... Этот проклятый гипс так измучил нашего бедного Кафара, что мы бы в любой момент его сняли... Пусть только придет профессор, посмотрит, свозит его на рентген... Если можно — мы прямо сразу... А? Ну, конечно, конечно, как же можно без магарыча. Нет-нет, это все за мной. До свиданья, дорогая!

Едва она положила трубку, сладкая улыбка сползла с ее лица.

— Вот что... прежде всего — Иди и ляг в постель, эта старая жаба сейчас прибежит проверять, правда ли ты себя плохо чувствуешь... Ну, и потом вообще... Как раз теперь, мне кажется, и пришел момент кончать со всем этим...

— Можно подумать, дело во мне. Я уже давно...

— Ну ладно, ладно, разошелся. Да если бы я тебя не заставила терпеть — Чимназ и в этом году за бортом бы осталась. Держи себя с ними посуровее, построже. Пусть не думают, что весь этот переполох из-за Чимназ был поднят.

— А разве...

— Ради бога, не действуй мне на нервы. Ну, полежал ты ради дочери пару месяцев в постели — что страшного произошло? И еще немного их помытарим. Другие мужья, между прочим, ради своей семьи из кожи вон лезут.

Кафар, опираясь на костыли, ушел к себе в спальню и лег.

— Нет, ты слышал? — закричала с веранды Фариды. — Они еще на угощение рассчитывают. Крошки хлеба они от меня не получают! Если уж так приспичило попасть на угощение, пусть покупают барана, ящик масла, риса, пять-шесть цыплят! Вот тогда я, пожалуй, приготовлю им плов.

— Господи, да неужели тебе не стыдно? Ты что, окончательно хочешь нас всех опозорить перед ними?

— А, чего от тебя другого и ждать! — начала было Фариды, но тут же сдалась. — Ладно, согласна. Такое событие — гостей и в самом деле пригласить не мешало бы. Да и вообще, люди они, эти Муршудовы, нужные, у них, проклятых, такие связи, такие связи!.. Ну ничего, завтра я возьмусь за них: во-первых, пусть Махмуда оставят в аспирантуре, а во-вторых, пусть помогут ему защититься. Не то он таким же ученым станет, как ты...

— Мне все это противно, — вздохнул Кафар. — А ты... а ты — как знаешь.

— Ну, конечно, «как я знаю»! Ведь если б я все сделала, как «знаешь» ты, — мы бы давно уже умерли с голоду, а дети наши остались бы на улице...



Профессор Муршудов приехал в тот же день. И тогда же Кафару сделали рентгеновский снимок, а уже на следующее утро профессор сообщил им радостно, что все отлично, что перелом сросся — лучше и не бывает.

Тут же сняли наконец и гипс. Правда, Кафар страшно намучился, когда дело дошло до этого радостного избавления: гипс местами так прилип к волоскам на ноге, что когда его отдирали, Кафар то и дело вскрикивал: «Осторожнее, как будто кожу с ноги сдираете!»

А когда был удален последний слой гипса, когда профессор протер ему ногу спиртом, он на мгновение даже не поверил глазам — такой бледной, такой тонкой была теперь эта многострадальная нога... «Ладно, — улыбался он, глядя на освобожденную ногу, — это все восстановится, будет, как прежде...» Он еще раз посмотрел на ногу с сомнением: а правда, сможет ли он ходить на такой тонкой ноге, поднимать тяжести? Было такое ощущение, что при малейшем напряжении нога переломится пополам, рассыплется... Он не удержался, спросил об этом профессора. Тот взял его под руку, помог встать.

— Ну, а теперь иди! Не бойся, смелее! Ну, а ты боялся! Конечно, нельзя сразу давать большую нагрузку. Расхаживай понемногу, потом будешь удлинять маршрут. Самое большее через месяц совсем о переломе забудешь. Ну-с, на этом позвольте мне покинуть вас — у меня на двенадцать назначена операция...

Кафар стал горячо благодарить его, но Фарида при этом не произнесла ни слова — больше того, в какой-то момент посмотрела угрожающе: не особенно, мол, распинайся...

Не успел профессор Муршудов выйти — прибежала Гемер-ханум, уединилась с Фаридой на кухне. И Фарида, выслушав, сказала ей всего два слова: «Будьте уверены...»

А уже утром следующего дня Кафар, опираясь на костыль, вышел в тупик. Нота вела себя неплохо, и для первого раза Кафар решил доковылять до моря.

Ходить, конечно, было труднее, чем он предполагал сначала, но само ощущение, что он наконец может свободно идти куда захочется, как бы подталкивало его вперед. Он останавливался через каждые десять — пятнадцать шагов, оглядывался, определяя, далеко ли — и уже отошел от дома.

Перейдя через проспект Нефтяников, он оказался на бульваре. Народу здесь было по-летнему много: молодежь, старики, дети... На газоне играли два бульдога — то один валил другого, вставал на него лапами, то другой, и тут же оба вскакивали, мчались куда-то наперегонки, и хозяйки — две красивые девушки — бежали за ними следом.

Он нашел свободную скамейку у самого берега под развесистой ивой, сел и... увидел, что рядом сидит Гасанага. Отчего-то сейчас Кафар обрадовался этому.

— А, здравствуй, здравствуй, — он хотел было обнять парня, но Гасанага отстранился. — Ну, ну, зря обижаешься. Думаю, если поразмыслишь как следует, поймешь меня. Что это за подарок, если он унижает достоинство другого? — Гасанага промолчал. — Что-то ты, братец, так сильно похудел?

Гасанага хотел было встать, но Кафар силой удержал его.

— Посиди, посиди, Гасанага. Я давно хотел поговорить с тобой, да все не мог зайти... Она вот не давала. — Он показал на ногу. — Ты ведь слышал, наверное?

— Слышал.

— Ну, а что же не пришел ни разу меня навестить, а?

— С какой стати? Ты же ни разу не пришел к нам.

— К кому? — растерянно посмотрел на него Кафар.

— К нам.

— А что-нибудь случилось?

— Можно подумать, ты ничего не знаешь!

— Клянусь жизнью, не знаю. Я ведь объясняю тебе, что был болен. Больше двух месяцев провалялся.

Кафар произнес это так искренне, что Гасанага смягчился.

— Отец умер...

— Что?! Когда умер?..

— Да уж скоро три месяца будет...

— Я этого не знал, Гасанага! Клянусь твоей жизнью, жизнью твоего брата Махмуда — я не знал, веришь?..

Но Гасанага лишь недобро посмотрел на него.

— А мама была. Все первые семь дней приходила. И на сорок дней пришла. Все равно мама его больше, чем тебя, любила, понял? Не веришь? Она и себе место рядом с могилой отца оставила. Так и сказала: велю перед смертью, чтобы меня рядом с Джабаром похоронили. Не веришь? Пойдем, я тебе покажу, где она себе место оставила! Ну?

Кафар не знал, что должен сейчас сказать Гасанаге. Первой его мыслью было крикнуть: «Молчи, щенок, ты лжешь! Этого не может быть! Замолчи, или я сейчас изобью тебя! Замолчи!»

Но поразмыслив, Кафар постепенно успокоился — а что ему мешает действительно пойти с Гасанагой? А что, если Гасанага говорит все это нарочно, чтобы вывести его из себя? Нет, на ложь это не похоже. Нельзя лгать с такой страстью! Пойду, пойду... И если это все окажется неправдой — я его задушу, этого подлеца!

Он сказал тихо:

— Ну что ж, пойдем, поклонимся твоему отцу. Поздновато, правда, но, думаю, бог мне простит... — И произнес все это, почувствовал, что у него как-то смягчает на душе. — Одна только просьба: знаешь, у меня еще нога побаливает... Ты иди, останови такси, я заплачу.

Гасанага искоса посмотрел на него хмуро-недоверчивым взглядом, но через минуту уже стоял с поднятой рукой на проспекте Нефтяников...

...Такси миновало старое кладбище. Проехали Волчьи ворота в верхней части поселка Патамдар, свернули направо и подъехали к новому городскому кладбищу. Могилы здесь тянулись утомительно ровными рядами. Было много готовых, но еще пустых ям — это зрелище Кафар видел впервые в жизни. И все эти пустые пока могилы были одного размера. А что будут делать, если один из покойников окажется слишком длинным или слишком толстым? Их что, несчастных, силком будут втискивать в могилу? А если умер младенец — его что, в такую ямищу бросят?

Могилу Джабара они нашли справа от дороги. Кафар посмотрел вокруг: чуть поодаль, в

нижней части кладбища, поблескивало озерцо, в нем плавали три лебедя. Кафар удивился: во-первых, для чего на кладбище эта неуместно прекрасная картина? А во-вторых, лебеди здесь плавали не просто так — ведь в это время года они должны бы уже отбыть в другие края...

На могиле Джабара еще стояла деревянная дощечка с его фотографией, еще не убраны были засохшие цветы, венки с полинявшими лентами. Да и фотография уже пожелтела, поблекла от дождей, от безжалостного бакинского солнца. Правда, все равно чувствовалось, что человек, изображенный на фотографии, был некогда красавцем мужчиной. Справа от Джабара был похоронен какой-то старик. Кафар обратил внимание на возраст — девяносто семь лет прожил человек!

Так есть тут все-таки могила Фариды или нет? Кафар боялся переступить что-то в себе, спросить об этом напрямую у Гасанаги, боялся, что все сказанное им окажется вдруг правдой. Оттого, наверно, он так и отвлекался, все старался смотреть по сторонам. Может, у Гасанаги и хватит такта не возвращаться к этому разговору? О господи, хоть бы это было так! Если он промолчит, я тоже ничего не скажу; он, наверно, там, на лавочке, был слишком зол...

— Вот где будет мамина могила, — прервал молчание Гасанага, показывая на место рядом с могилой отца. — Ну, теперь видел? Поверил, что мама любила отца больше, чем тебя, если даже и после его смерти хочет быть рядом с ним похороненной? А тебя она даже мужчиной не считает!

Кафару захотелось сейчас кинуться на Гасанагу, избить его до полусмерти, выместить на нем все зло, что причинила ему за эти годы Фарида. Ничего, что Гасанага заматерел, стал мужчиной — он бы с ним справился!

С перекошенным лицом повернулся он к Гасанаге; тот хоть и побледнел, но не отступил даже на шаг, более того, он смотрел на Кафара с откровенным презрением. «Не-ет, — подумал Кафар, — это будет для тебя слишком жирно: если я начну с тобой драться — я только вдвойне себя унижу. Фарида оскорбила меня — и уж если я кого оскорблю, унижу, так только ее! Спокойнее, Кафар, спокойнее! Пусть этот мерзавец почувствует, что вся эта история меня нисколько не волнует. Да ведь и впрямь мне уже все равно! Потому что я и сам ее не люблю и никогда не любил! Это она, Фарида, сама за меня цеплялась».

Неожиданно для Гасанаги он снисходительно улыбнулся:

— Ну, ничего страшного, Гасанага, — сказал он, — твоя мать принадлежит мне живая, так пусть хоть мертвой она твоему отцу достанется. Мне, честно говоря, она так успела надоесть на этом свете, что на том я вовсе не прочь оказаться подальше от нее, хоть немного отдохнуть от ее ворчания. Ты говоришь, она меня не любит? Ну что ж, и я ведь тоже не люблю твою мать, и никогда ее не любил... Ты уж не обижайся — сам вынудил меня говорить откровенно.

Кафар чувствовал, что Гасанага готов разрыдаться: он с трудом сдерживался, кусая губы, судорожно сглатывая. Кафару не жаль было Гасанагу: «Сам виноват, — подумал он, — никогда бы я не докатился до такого немужского поступка — бы сами вынудили. Вы с матерью, только вы виноваты в этом!»

Участок кладбища, на котором находилась могила Джабара, обрывался оврагом. Кафар заглянул туда. Земля в овраге вся была изрезана сбегавшими вниз дождевыми потоками; одна из таких расселин взорвалась вдруг стайкой голубей, потом там появилась худая, дранный лисица. Она увидела Кафара с Гасанагой, но, кажется, бежать от них даже и не помышляла — грустно посмотрела сначала на чних, потом на улетающих голубей.

Кафар вернулся к такси. Открыв дверцу и сев в машину, он увидел: Гасанага, стоя на коленях у могилы отца, подносил иногда к глазам руку. Он даже пожалел чуть-чуть, что пришлось так расстроить парня. «Нет, я все же должен был держать себя в руках... Хотя, конечно, я бы на его месте таких жестоких, таких мстительных слов себе не позволил! Если б не он — ничего бы и не было...»

Вместе с Гасанагой вернулся к машине и шофер, прогуливавшийся между могил. Глаза Гасанаги были сухими, ненавидящими, лицо мрачным.

— И что за существо такое — человек?! Только попав на кладбище, мы и вспоминаем, что есть на свете смерть. — Видно, шофера от одного вида кладбища потянуло на разговоры; он ехал совсем медленно. — Есть люди — думают, наверно, что вечно будут жить на свете. За все хватаются. Конь его налево несет, направо, а он только во все стороны шашкой сверкает. И не думает даже, что и его ждет смерть, что все на свете свой конец имеет!

Ни Кафар, ни Гасанага не отозвались, и шофер замолчал. Теперь он прибавил было скорость, но тут же и скинул ее — на кладбище появилась новая похоронная процессия. Впереди съезжала вниз грузовая машина. В кузове ее стояло трое или четверо молодых парней. За грузовиком следовало множество легковых машин. К антеннам, к боковым зеркалам машин были привязаны траурные черные ленты.

Когда похоронная процессия миновала их, шофер вздохнул:

— Вот и еще одного повезли... Да, только на кладбище человек и вспоминает, что всех нас ждет смерть, а в другое время никто о ней и не думает! Я вот — каждый раз на кладбище даю себе слово, что всегда буду о ней помнить, а как увижу свадьбу, веселье, музыку, танцы — тут же и забываю... — Видя, что пассажиры упорно не хотят вступать в разговор, он, словно подводя черту, пожал плечами. — Поразительное все-таки дело...

И резко увеличил скорость.

Полный решимости, он вернулся домой, совсем забыв о том, что сейчас день, что Фарида еще на работе. Не было и Чимназ — дома оказался один Махмуд — тоже собирался куда-то, гладил на веранде свои брюки, что-то напевал про себя. Он весело посмотрел на отца, но тут же лицо его стало тревожным.

— Ты что, плохо себя чувствуешь? Кафар улыбнулся через силу.

— Н-нет...

— Что-то ты бледный... Смотри, папа, и дрожишь весь. Тебя что, знобит?

Подчиняясь внезапному порыву, Кафар обнял сына и неожиданно для себя сказал то, что давно уже было у него на языке:

— Сынок, эх, сынок! Только ты меня и понимаешь в этом доме. Тоже не до конца, но понимаешь...

И Махмуд, как маленький, прижался к отцу.

— Папа, у тебя такой озноб... — пробормотал он.

— Да? Может быть. Но это ничего, это, наверное, от свежего воздуха... Слишком долго для первого раза пробыл на свежем воздухе. Два с лишним месяца провалялся дома... И вообще, знаешь, устал я что-то очень. Пойду, пожалуй, прилягу, и все пройдет.

Он и впрямь собирался лечь, но один вид опостылевшей за два месяца постели наводил

такую тоску, что он предпочел присесть рядом с кроватью на стул. Отсюда, из спальни, он слышал, как зазвонил телефон, как Махмуд счастливым голосом закричал кому-то в трубку:

— Да, да, конечно, иду! — Потом он вошел к отцу. — Папа, меня тут... т товарищи... в кино приглашают, ты не обидишься, если я пойду, а?

Кафар посмотрел на его сияющее лицо, усмехнулся про себя: «Товарищи!»

— Иди, конечно. Не сидеть же дома в такую жару...

Махмуд переоделся и убежал, а он, тяжело опираясь на трость, прошелся из комнаты на веранду, потом обратно; его так и тянуло к окнам — в нетерпении поглядывая на тупик, он ждал Фариду.

Время тянулось нестерпимо медленно, болели отвыкшие ходить ноги, но все равно он был полон какой-то горячей, злой энергии — сейчас, именно сейчас он должен что-то делать, что-то предпринять.

«Вот, значит, ты как со мной, Фарид-ханум? — Ему хотелось крушить все вокруг, кричать в голос. — Стало быть, ты все эти годы хранила в сердце своего ювелира! Значит что же — жила со мной, а сама всю жизнь раскаивалась в том, что развелась с ним?! Ай, молодец, Фарид-ханум! И я-то, главное, ни о чем не подозревал! Думал... Нет, ты и Джабара своего не любила, врешь! Ты любила его деньги, мечтала о его золоте! Будь и я так же богат, вряд ли бы ты вспомнила о Джабаре, вряд ли захотела бы на том свете быть к нему поближе! Да, да, Фарид-ханум! Так оно и есть на самом деле! Никого ты никогда не любила — только деньги, деньги, деньги!..»

Перед глазами стояла какая-то пелена, Кафар искал свои очки — их нигде не было. Тогда он открыл шифоньер, искал в карманах пиджака. Но вместо очков в руки ему попали два лотерейных билета. Однажды кассир дал ему эти лотерейные билеты вместе с зарплатой — не было мелочи, вот и сунул он вместо мелочи два тридцатикопеечных билета, да еще при этом и пошутил: возьми, мол, на один «Волгу» выиграешь, а на другой — тысячу рублей, чтобы машину украсить...

Он тогда сгоряча чуть было не выбросил их, но прочел на обороте, что может проверить билеты До конца года, и сунул их в карман пиджака. Тираж уже прошел. Интересно, выиграли они, нет?..

Положив билеты на прежнее место, он снова подошел к окну. В тупике было все так же безлюдно, только иногда мелькали у самого въезда торопливые прохожие и тут же скрывались из вида. Первый человек, который за все это время свернул в тупик, был сын академика Муршудова, Малик; он осторожно покосился в сторону их дома и юркнул в свою дверь.

Странно, при виде Малика ничего не шевельнулось в душе Кафара; ему даже смешным показалось: чего это парень так опасается? Впрочем, сейчас Кафар был безразличен ко всему на свете, кроме одного — кроме Фариды. Скорее бы она пришла, скорее бы он смог выложить ей все, что накопело на сердце, а там — будь что будет!

Наконец в тупике появилась и она Тяжело переваливаясь, Фарид, видно, шла с базара — в каждой руке у нее было по большой, доверху нагруженной покупками корзине.

Он сдержал себя, с нетерпением поджидая, когда она разгрузит корзины. Настроение, судя по всему, у Фариды было отличное — ну еще бы, готовилась принимать гостей, да еще по такому радостному поводу. Покончив наконец с покупками, она опустилась на стул и только тут обратила внимание на него.

— Ты что это хмурый в такой радостный день? Мне кажется, ты должен сегодня танцевать от радости.

— Помнишь, я лежал вот тут больной, а ты на поминки ходила? Ну, еще целую неделю потом из траурного платья не вылезала, помнишь?

— Конечно, помню, в чем дело! — Пухлые щеки Фариды вдруг дрогнули, и только сейчас она обратила внимание, что муж бледный как полотно, без кровинки в лице. — Ну, так что из того?

— Кто, ты говорила, тогда умер?

— Ты спросил — я тогда же тебе и ответила.

— Нет уж, будь добра, скажи еще раз — кто тогда умер?

— Ну, сотрудница... девушка, молодая... А что? Что это тебе приспичило вдруг из себя следователя изображать? Что ты меня допрашиваешь! Или это твоя благодарность за все те муки, что я из-за вас всех принимаю?!

Голос Фариды дрожал, как будто она и впрямь негодовала. Кафар вдруг понял, что все то, что говорил ему сегодня Гасанага, — это все правда. Холод-нос безразличие вдруг овладело им. Он был сейчас так спокоен, что даже сам поразился этому. И глядя в ее широко раскрытые, полные страха глаза, Кафар понял, что больше ничего, кроме презрения, к ней не испытывает, что больше она ему не жена, и никакая сила на свете не заставит его жить с ней под одной крышей... Словно сидела перед ним совершенно посторонняя женщина, с которой он по какой-то страшной случайности оказался рядом...

— Надо же, а я слышал даже, что ты себе уже и место для могилы выбрала, верно это, нет?

— Какое место? Какая могила?! У тебя что — и в самом деле с головой не все...

— Да нет, голова моя тут ни при чем, никогда еще она так хорошо не работала, никогда еще я так отчетливо не представлял себе все до конца... Значит, на — всякий случай готовишь себе могилу рядом с Джабаром? Ты, наверно, побоялась, что когда умрешь, тебе и места не найдется, верно?

Лицо Фариды побагровело.

— Что это ты меня хоронить взялся? Я пока умирать не собираюсь. Откуда только, интересно, у тебя взялись такие идиотские мысли...

— Откуда? Ну что ж, могу и это сказать. Твой сын сообщил. Твой любимый сын Гасанага. Показал даже место твоей будущей могилы, которая будет рядом с могилой ювелира Джабара. Поздравляю тебя, Фарида-ханум, без могилы не останешься.

И засмеялся каким-то деревянным смехом. — Ха-ха-ха!

Фариде стало не по себе. А что, если он сошел с ума? Сошел с ума и в любой момент может броситься на нее, начнет душить... Она хотела встать, уйти от него куда-нибудь подальше, но Кафар закричал не своим голосом:

— А ну, сядь на место!

Но тут же ему самому стало стыдно своего крика: а что, собственно, ему еще от нее надо? Нет, ему нужно сейчас пойти в комнату... Так, что он должен взять?.. Очки? Очки он только что положил в карман пиджака. Ага, вот трость... Очень кстати ее купили, ему без нее никак

не обойтись на первых порах. Одежда — она все равно никому здесь — не понадобится, ее даже продать нельзя. И все. Кроме одежды, он ничего с собой не возьмет. Ничего не возьмет... Вот разве что диссертацию? Да, ее он прихватит. Правда, теперь и она ему не нужна будет, но в любом случае — это его многолетний труд, память о юношеских мечтаниях...

Фарида изумилась, когда увидела Кафара, выходящего из комнаты с чемоданом в руках.

— Это еще что? — начала было она, но осеклась, спросила упавшим голосом: — Куда ты?

— Ухожу. Ухожу отсюда, ясно?

— Но почему, Кафар, что случилось?

— Что случилось? — усмехнулся он. — Случилось то, что я в этом доме больше не нужен. Случилось то, что я презираю тебя. Да, да, презираю! Ты погубила мою жизнь, источила ее, как червь, Я презираю тебя! Презираю! Теперь поняла, что случилось?

Она кивнула.

— А... А заявление? В милицию?

— Заявление! — снова горько усмехнулся он. — Можешь не волноваться, все написал, что нужно, и оставил на столе. Так что ты свободна — трать спокойно те деньги, за которые продавала мою кровь!

Фарида замерла, боясь встретиться взглядом с его страшными глазами, не произнесла больше ни слова.

Но когда стук его трости послышался во дворе, Фарида не выдержала, подбежала к окну. «Мужчина называется, — шипела она, глядя ему вслед, — обиделся! Ну ничего, ничего, дней через пять-шесть вернешься и еще умолять будешь, чтобы простила! Нет, вы послушайте только, что он мне наговорил... — все больше распялась она теперь, когда муж совсем скрылся из виду. — Презираю! Ты меня источила! Да что там было точить-то — и без того весь насквозь трухлявый был, с молодости! Ай, горе какое — муж мой обиделся и ушел от меня! Да пошел ты к черту! У меня есть дом, есть Дети, есть деньги на черный день — чем меня презирать, лучше бы себя пожалел! Что ты будешь делать в этом возрасте один-одинешенек? Кому ты нужен? Ну, я еще тебе припомню, как ты здесь мужчину изображал! Придешь, придешь еще в ногах валяться, приползешь!»

Ворча, она ходила из комнаты в комнату и не знала, за что взяться. В доме словно бы все опустело, и пустота эта — странное дело — нестерпимо давила на нее...

Махмуд и Чимназ заявили домой одновременно — встретились где-то случайно в городе — и оба сразу сунулись на кухню. Чимназ с ходу заглянула в кастрюлю и простонала:

— Мама, умираю с голоду, что у тебя покушать?

— Яд змеиный!

Чимназ живо подхватила, решив, что это шутка:

— Могу и змеиный яд съесть, такая голодная! Покажи только, где он у тебя лежит.

Махмуд схватил кусок хлеба, пошел в спальню.

— Мам, а где папа?

— К чертям ушел! — Фарида кивнула в сторону окна. — Вот по этому самому тупику отправился прямо в преисподнюю.

— Да ну, я же серьезно спрашиваю... Где папа? В первый раз в жизни Фарида подумала о том, что боится сына, боится его гнева. Что с ним будет, когда он обо всем узнает? Ведь он так любит отца... А вдруг и он ее бросит?.. Но молчать больше было нельзя, и она ответила ему печально;

— Ушел твой папа...

— Что значит — ушел? Куда?

— Не знаю. Ничего не знаю. Сказал только, что ноги его здесь больше не будет. Больше, говорит, я вам не нужен.

Из кухни послышался беззаботный голос Чимназ, жевавшей что-то:

— Ну вы даете! Опять, небось, что-то не поделили, да? А ты его как всегда обидела. Да ладно, ты так не переживай — у папы сердце отходчивое, по-обижается и вернется...

— Нет, дети, не вернется... Вы плохо его знаете... — грустно сказала Фарида. — Ну и что? Жизнь, что ли, кончилась?

— Если он не вернется, — угрюмо сказал Махмуд, — я тоже здесь жить не стану. Слышишь, мать?

— Ну ладно, хватит болтать глупости! — Фарида потянулась, чтобы обнять сына, но Махмуд решительно отстранился.

— Я не болтаю, а говорю серьезно. Если он и впрямь совсем ушел из дома, то это только из-за тебя! Это ты довела его! — Фарида замахала на него руками: «Что ты, что ты говоришь, сынок!» — И я уйду. Я его не оставлю одного на старости лет. — Махмуд вдруг заплакал и, устыдившись слез, выбежал вон.

Чимназ так и застыла с недожеванным куском.

— Махмуд! — не на шутку встревожилась Фарида. — Куда ты, Махмуд?! — Она бросилась за ним, но догнать не смогла, а выбежав на улицу, увидела, что сын уже садится в такси.

Тогда она вернулась домой и разрыдалась. «Господи, ну за что ты создал меня такой несчастной? — причитала она, воздевая руки к небу. — Что плохого сделала я тебе? За что ты наградил меня такой злой судьбой? За что я терплю все эти муки, о господи?!»

Чимназ утирала слезы с ее щек и плакала вместе с ней.

Махмуд возвратился только в половине первого ночи. Мать и Чимназ не спали — стояли на веранде, ждали. Обе тут же радостно повисли у него на шее, не спрашивая о том, где он был до сих пор, что делал. Мать еще долго не выпускала его из своих объятий, только все шептала, шмыгая носом:

— Свет очей моих, украшение этого дома... Дыхание мое, сынок.

Махмуд отстранился от нее.

— Весь город обошел, на вокзале был, даже последний поезд весь проглядел — нигде его нет.

Сказал — и ушел в свою комнату.



А Фарида еще долго бродила по квартире, не решаясь войти в спальню: не могла она сейчас видеть ни пустой кровати, ни костылей, прислоненных к стене, сердце ее сжимала такая тоска, что спать она решила на веранде. Но все равно всю ночь снился ей Кафар, с которым она непрерывно спорила, доказывала что-то, а сердце и во сне заходило от тоски.

Кафар распахнул маленькие деревянные ворота и ему показалось, что сейчас он, как когда-то, снова услышит мычание Краснухи или увидит отца, идущего навстречу со скребницей в руках, и отец радостно скажет: «Приехал, сынок...»

Но никого не было во дворе, кроме кур и цыплят, клюющих зерна, отсюда ему была видна распахнутая дверь хлева, но и там было пусто, только запах навоза говорил о том, что когда-то здесь держали животных... Непривычно пустой выглядела и крыша хлева — не громоздился на нем обычный стог сена, крыша теперь была покрыта шифером, уже изрядно ветхим; некоторые плиты растрескались, кое-где видны были дыры. И ни звука, одно озабоченное квохтанье кур, беспрерывно тюкающих клювом по земле.

Только когда он уже совсем подошел к дому, до него вдруг донесся откуда-то голос матери, а следом за ним тихий детский смех. Он обошел дом и понял, что и голос, и смех доносились со стороны черного инжира.

Поставив на землю чемодан, положив на него трость, Кафар, крадучись, пошел к дереву. Ребенок говорил:

— Ты не бойся, бабушка, я тебе обязательно построю дом...

А мать отвечала:

— Только двухэтажный, ладно?

— Конечно, двухэтажный. Что ты смеешься, думаешь, не построю? Не веришь, да?

— Верю, сердце мое, верю. Почему не верить. Ведь ты мужчина, а у мужчины слово всегда твердое.

— И папа говорит, что я мужчина. У меня даже усы растут, вот посмотри.

— О, и правда растут, я даже палец оцарапали Молодец, аи да молодец! Настоящие мужские усы растут! Вырастут — будут густые, черные, как у дедушки Махмуда.

— Папа тоже так говорит... Вот, смотри, вот здесь я тебе построю двухэтажный дом, на месте старого, ладно? Двухэтажный с шестью комнатами... Три будут на нижнем этаже и три наверху. Мы с тобой будем вместе жить, ладно? Мы с тобой на верхнем этаже будем. И еще я тебе корову куплю. Или лучше буйвола. Мама говорит, что у нас в Гяндже самые лучшие буйволы...

— Да, сердце мое, если купишь, не прогадаешь. Во-первых, буйволиное молоко и простокваша гораздо вкуснее, чем коровьи. Во-вторых, корову-то теперь и пасти негде, пастбищ не осталось. Где ты будешь ее пасти? А корова, как и овечка, любит побродить, самой попасть, поискать траву повкуснее. Ну, а буйвол — совсем другое дело, совсем другое... Ты его накорми, дай выпастись, поухаживай за ним — вот и все, и он уже доволен. Накормишь его, загонишь в хлев — пусть стоит, если работы нет. Дашь раз в день ему напиться — вон, из арыка, что там, в саду... Пусть из арыка пьет.

— А знаешь, бабушка, еще коня куплю.

— Купи, сердце мое. Наш дедушка Махмуд тоже очень любил коней. Просто дня без своего коня прожить не мог.

- Куплю, посажу тебя на этого коня и буду катать. Даже в Гянджу съездим, да?
- В Гянджу? Да что ты, сердце мое, я уже старенькая, я теперь, наверно, не смогу сесть на лошадь. А если хоть раз свалюсь с нее — так и умру без моллы.
- Да? Ну тогда я куплю машину. Папа говорит, что подарит мне свои «Жигули», только я хочу «Волгу». Посажу тебя на переднем сиденье и повезу прямо на Гек-гель.
- Повези, сердце мое, повези. Я Гек-геля никогда не видела. Слышать — часто слышала, а вот, поди же, самого озера-то так и не видела.
- Ну ты даешь! Тебе уже столько лет, а ты до сих пор Гек-геля не видела?
- Что же делать, сынок, никто меня не свозил...
- Ну ладно, бабушка, ничего. Ты потерпи, я тебя сам отвезу... Надену вельветовые джинсы, сяду за руль... А тебе куплю вельветовое платье, ладно?
- А что это такое, сердце мое?
- Ну, бабушка! Ты что, правда, не знаешь? Чего-то ты ничего у меня не знаешь!
- Почему не знаю! Знаю, но только то, сердце мое, что нужно знать крестьянам: о скоте, о зверях, о том, как сеять-пахать. Ты меня спроси, а я тебе все, что хочешь, скажу...
- Ну, в общем, ладно. Сядем в машину и поедем прямо на Гек-гель. Может, даже поставим там палатку и будем жить, да?
- А как же наш дом, сердце мое? На кого же мы здесь оставим все наше имущество?
- Да мы ненадолго, бабушка, дней на десять или пятнадцать. Съездим, а потом вернемся. А захочешь — еще лучше сделаем.
- Как это лучше?
- У другого дедушки, в Гяндже, есть большой бассейн... Бабушка, а буйволы рыбу едят?
- Вот не знаю, сынок... Клянусь богом, ни разу не слыхала, чтобы буйволы рыбу ели.
- Тогда все в порядке. Мы возьмем нашего буйвола и пустим его в этот бассейн, пусть вместе с рыбами плавают. И корм для него дедушка привезет, а мы с тобой будем спокойно гулять. Только еще возьмем с собой Айнур, ладно?
- А кто это, сердце мое?
- Это?... Это... ну, соседская девочка у нас в Гяндже... Знаешь, бабушка, какая она красивая!
- Да-да, припоминаю, припоминаю, твой папа мне рассказывал, что у вас по соседству есть такая девочка — ну прямо полумесяц.
- Вот когда вырасту, бабушка, я на ней женюсь, ладно? Она тоже со мной дружит. И мама ее всегда говорит: выдам ее только за тебя. А еще, бабушка, другие тетки тоже говорят, что своих дочерей только за меня выдадут. Вот как много девочек меня любит. Правда, хорошо, бабушка?
- Правда, правда, сердце мое родное, ведь ты у нас красавец, настоящий мужчина...

— Нет, я еще не настоящий мужчина, я знаю... Вот вырасту, кончу этот... ну, в общем, стану прокурором — вот тогда и буду настоящим мужчиной. Это мама так говорит. Ты, бабушка, еще увидишь, что я тебе напокупаю, когда настоящим мужчиной стану.

— Ничего мне не надо, сердце мое, ты только дом мне построй, ладно?

— Ну, дом — это ерунда. Вот увидишь, какой громадный дом я тебе построю. Такой дом, что никогда не треснет. А хочешь, целых пять этажей построим? Мама говорит: будешь прокурором, так хоть десятиэтажный дом себе построить сможешь. Мама-то знает, правда? Я себе десять этажей построю, а тебе пять — хочешь?

— Нет, родной, что ты, мне такой не надо. Мне в таком доме тоскливо становится, сердце сжимается.

— Да? А нам вот не тоскливо в пятиэтажном... Ну ладно, как хочешь, построю тебе двухэтажный.

— Построй, родной мой, построй... Не дай мне уйти из этого мира без радости...

Кафар как замер на одном месте, так и стоял, не в силах ни сдвинуться с места, ни слушать больше этот разговор. Его душили слезы. «Значит, на нас мать уже не надеется, теперь вся ее надежда на внуков... Да и с внуком, конечно, просто так говорит... чтобы утешить себя...» Он робко кашлянул. Голоса под черным инжиром смолкли. Быстро отойдя на несколько шагов назад, Кафар громко крикнул:

— Мама! Ты где, мама?

Гюльсафа, а за ней и внук заспешили к Кафару, и он не выдержал, припадая на больную ногу, рванулся к ней.

— Наконец-то, сынок, ты приехал, наконец-то приехал... С приездом тебя, сынок... — Гюльсафа крепко держала сына за руки, взволнованная дрожь ее маленьких, сухоньких холодных ладоней передалась Кафару. — Ты один? Почему детей не привез?

— Я один, мама, — сказал Кафар, стараясь выдержать пристальный, всезнающий взгляд матери. — Один приехал.

— Ну пойдем, пойдем, ты с дороги, проголодался.

— Голодный как волк, — улыбнулся Кафар. Он и вправду проголодался — в последний раз ел еще вчера.

— А это наш Бахадур, видишь? Младший Вахидов. Самый младший из моих внуков, настоящий мужчина. В будущем году в школу пойдет, выучится, большим человеком будет.

Бахадур, хоть и видел дядю в первый раз, сразу бросился ему на шею.

— А мы знали, что ты приедешь! — кричал он. — Знали!

Кафар удивился:

— Откуда это вы знали?

— А бабушка вчера сказала: «Сердце мое чувствует, что приедет твой дядя Кафар». — Бахадур морщил брови, старался говорить солидно, как настоящий мужчина. — А если бабушкино сердце что-то чувствует — значит, так оно и будет. Правильно сделал, дядя, что приехал.

— Почему правильно, Бахадур?

— А потому что бабушка без тебя очень скучала. — Да откуда ты только все знаешь? — растроганно спросил Кафар.

— Как это откуда? Вижу. Что я, маленький, по-твоему?

Кафар поднял Бахадура и расцеловал его в щеки.

...В курятнике тревожно закудахтали, забили крыльями куры, а через минуту вышла Гюльсафа с двумя петушками в руках.

— А ну, Бахадур, — распорядилась она, — сбегай-ка за ножом, сейчас твой дядя зарежет их.

Бахадур сполз с дядиных рук.

Кафара разбудил собачий лай, и, просыпаясь, он долго не мог сообразить, откуда здесь, в их бакинском тупике, взялась собака и с какой стати она лает чуть ли не у них на веранде... Но увидев краем глаза в окне старые деревья, он сразу все вспомнил. Быстро оделся, вышел во двор и увидел, как мать отгоняет двух огромных псов и вполголоса кричит на них:

— Пошли, пошли прочь, проклятые! Детей перебудите!

— Доброе утро, мама, — сказал он, потягиваясь.

— Доброе утро, родной. Не дали тебе поспать, да?

— Да сколько же можно спать в такую замечательную погоду. Наоборот, хорошо даже, что они тут разгавкались... О-ха-ай, до чего же у нас в деревне замечательный воздух!

Прихрамывая, он пошел в сад. Деревья уже начали понемногу терять свой зеленый цвет. Листья еще не опали, но в их зелени больше не было той, весенней, сочности: понемногу начала жухнуть, желтеть и трава под деревьями. В нижнем конце сада, там, где деревья росли редко, мать всегда сажала баклажаны, фасоль — теперь от них остались только сухие стебельки. «Перед самым твоим приездом, — успела рассказать мама, — три дня подряд дождь шел. До того вовремя полил, до того вовремя, а то деревья уже просто измучились». Он подумал, что этот дождь, наверно, отодвинул лето чуть назад, приблизил надвигающуюся осень. Мама, конечно, не случайно заговорила о дожде, как не случайно обронила она вчера, что уже постарела и не может носить воду из арыка, к тому же на воду из этого маленького арыка было столько желающих, что чуть ли не каждый сосед отвел себе от него рукав. Стоило теперь матери отойти, как соседи тут же направляли воду к себе.

— Ничего, — успокоил ее Кафар, — теперь рядом с тобой двое мужчин. Я буду следить за арыком, а Бахадур будет поливать сад. Правильно я говорю, Бахадур?

— Конечно, правильно, дядя Кафар. Я сейчас пойду, такое устрою тем, кто воду у бабушки забирает!

Они с матерью рассмеялись.

...Сейчас Бахадур сладко спал. Вот так же беспомощно и крепко спал этой ночью и сам Кафар. Обо всем на свете позабыл он, и все дальше отходили от него городские заботы и горести...

Услышав какой-то странный треск в конце сада, Гюльсафа не вытерпела, пошла посмотреть, что там, возле дороги, затеял сын. Кафара она застала за странным занятием: повыломав с изгороди старые колючки, он охапками таскал их к хлеву, складывал у дверей. Она спросила

удивленно:

— Родной мой, зачем же ты наш забор рушишь?

— Да разве это забор, мама! — весело ответил тот. — Весь уже прогнил. И потом, посмотри вокруг — кто теперь такой забор у дороги ставит? Я уже договорился, сегодня вечером или завтра с утра придут рабочие. Вот здесь выкопаем траншею, а потом я поставлю забор из речного камня. Вот это будет забор!

— Нет, ты правду говоришь, родной мой?

— Конечно, правду!

— Ай, какой ты молодец! Я ведь даже мечтать о таком боялась... Тут даже беда не в том, что забор развалился — пусть хоть твой новый закроет наш дом от чужих глаз, а то стыдно мне уже людей. Нет, правда, ты только посмотри, какие все вокруг себе дома построили, а на наш просто страшно смотреть...

— Все, мама! Теперь ты никого стесняться не будешь. Вот разберусь с забором и сразу же возьмусь за дом...

— Ай, сынок, ты правду говоришь?

— Конечно, правду! Разве плохо то, что я говорю, Бахадур-киши? — Он подмигнул племяннику. Шестилетний «киши» сделал серьезное лицо.

— Хорошо, дядя. Я тоже буду тебе помогать: я камни таскать буду, воду тебе носить.

— Ну вот и молодец! Раз так — иди пока, помогай бабушке. Приготовьте вдвоем завтрак, а я разделаюсь с этими колючками.

— А ты костер разведешь?

— Ну как же без костра!

— Ура-а-а! — закричал от счастья Бахадур. Однако Гюльсафа не уходила, о чем-то все время думала. Наконец, спросила осторожно:

— Сынок, а как же твоя работа?

— Работа?... А что работа? Ну... я отпросился, разрешили на три-четыре месяца взять отпуск за свой счет. Так что никуда я отсюда не уеду, пока не приведу в порядок наш дом.

— Ну бог тебе в помощь, сынок, бог в помощь... Храни господь всех и нас вместе с ними. Лишь бы он не забирал тебя у меня-. — Мать вдруг опустилась на колени и воздела руки к небу. — О господи, хвала тебе, не умерла я, дождалась наконец-то этого дня!..

К обеду со старым забором было покончено, и Кафар поджег отслужившие свой век колючки. Сначала повалил густой дым, застлал все вокруг так, что в двух шагах ничего не было видно, и вдруг пламя охватило ветки, рванулось вверх, и дым как-то разом рассеялся.

— Ур-ра-а!.. — опять закричал от восторга Бахадур.

Гюльсафа стояла тут же, устремив взгляд в огонь, думала о чем-то своем и время от времени поглядывала в сторону соседей...

Рано утром прикатил трактор «Беларусь», а следом подошла и машина с речным камнем. Трактор Кафару безо всяких разговоров дали в совхозе. «Ты строй дом, — сказал ему

директор совхоза, — а трактор я тебе дам на столько дней, на сколько будет нужно». Камень же привез его бывший одноклассник Октай. «О чем разговор, — сказал Октай, когда Кафар зашел к нему, — привезу, какой закажешь, ты только грузчикам заплати».

Под фундамент «Беларусь» прорыл траншею — от ворот и по всему периметру участка. А Октай успел за это время, до вечера, привезти еще три машины камня.

Чуть ли не целый день мать стояла у дороги и рассказывала всем, кто проходил мимо, что Кафар строит новый дом. Правда, сначала он поставит забор, чтобы придать дому приличный вид, чтобы не выставлять на всеобщее обозрение строительный материал. А как только поставит забор — тут же и возьмется за дом, да не какой-нибудь, а двухэтажный. «Разве не так, родной?» — поворачивалась она к сыну.

— Так, так, — отвечал увлеченный работой Кафар, не особенно и вслушиваясь в ее слова.

А вокруг Бахадура собирались соседские дети — он им рассказывал примерно то же: «Видите, наш дядя дом строит. Как только кончим — сразу позову вас всех в гости...»

Ближе к вечеру «Беларусь», закончив зачистку траншеи, уехал. Кафар, оставшись один, только собрался разровнять песок на дне траншеи, как к нему подскакал на своем деревянном коне Бахадур, сказал, запыхавшись: «Дядя, иди скорей, тебя бабушка зовет!»

— Ты скажи ей, сынок, что я скоро приду. Скажи, дяде на час всего работы осталось. Ладно?

— Да нет, бабушка велела, чтобы ты скорее шел, прямо сразу.

— А ты не знаешь, зачем она меня зовет? — спросил Кафар, с сожалением втыкая лопату в землю. Бахадур отрицательно замотал головой. — А где она, бабушка?

— Вон, под черным инжиром.

— Где, где?

— Да вон же, смотри, под черным инжиром... Кафар быстро выбрался из канавы. «К чему бы это? — подумал он. — Зачем это она сейчас-то меня под черный инжир зовет?»

Мать сидела, прислонившись спиной к стволу. Увидев их вместе, сказала Бахадуру:

— Внучек, сердце мое, иди скорей, не дай соседским ребятам растащить наши камни!..

— Пусть только попробуют! — грозно сказал Бахадур, разворачивая своего «скакуна». — Я их тогда всех поубиваю!

— Что случилось, мама? — встревожено спросил Кафар.

Гюльсафа улыбнулась успокаивающе:

— Ничего, ничего, мой родной, все хорошо. Садись, — похлопала она по земле рядом с собой, — у меня к тебе есть небольшой разговор.

— Но, мама! Давай сначала построим дом, а там уж сколько хочешь поговорим...

— За дом я уже не беспокоюсь, сынок, за дом не беспокоюсь. Нет, нет, за это я уже больше ни капельки не волнуюсь... Я тебя совсем для другого позвала. Садись же. — Она опять постучала ладонью по земле.

Кафар подогнул под себя ногу, сел напротив матери.

— Сейчас, сейчас скажу тебе кое-что... Только не пугайся, ладно?

— Ой, мама, да говори что хочешь, с чего мне пугаться?

О чем она могла заговорить? О Фариде, о его семье, о детях? И вдруг его пронзила догадка, он враз почувствовал, как шевелятся на голове волосы, как покрывает все тело холодный пот, как сжимает сердце тоска...

— Сегодня же пригласи сюда всех своих братьев и сестер...

— Зачем это тебе, мама? — запинаясь, пробормотал Кафар. — Давай сначала хоть забор поставим...

— Нет, вызови их как можно скорее, а сам приготовься... — Казалось, на глазах слабеет свет в ее взоре — словно кончался в светильнике керосин...

— К чему готовиться, мама? О чем ты?.. Гюльсафа снова из последних сил успокаивающе улыбнулась ему.

— Ничего особенного, родной, пришел мой час, иду к вашему отцу.

— Ты что, хочешь сходить на кладбище?..

— Ай, сынок! Сходить, да только на этот раз насовсем... Хватит ему там одному лежать...

— Мама...

— Не перебивай меня... До сих пор я все беспокоилась за наш дом, потому и не могла уйти, а теперь вот ты приехал, и я...

— Я насовсем приехал, мама, навсегда!..

— Знаю, сердце мое родное, знаю, даже если б ты и не говорил мне этих слов — все равно бы я знала, что навсегда приехал... Ну что ж... теперь я спокойна: не погаснет очаг моего мужа, в его доме всегда будет гореть огонь, значит, я могу спокойно уйти к твоему отцу...

— Да что ты, мама, зачем этот разговор? Ты только посмотри, как все хорошо! Я приехал, теперь мы с тобой будем вместе, будем разговаривать, смеяться... По вечерам бы я тебе, как в детстве, клал опять голову на колени, а ты бы...

— Прости, сердце мое, но отец твой меня там уже заждался... Он, поди, бедный, так соскучился... Каждую ночь во сне вижу, как он меня упрекает, что бросила его одного... Я ему уже обещала, что скоро приду. Только тебя и ждала, а теперь пришло мое время... И вот какая у меня к тебе еще просьба, сынок... Последняя просьба, ты не можешь ее не исполнить. Обязательно похороните меня рядом с отцом. Не смотри на меня так, знаю, что места рядом с ним совсем мало, но это ничего... Обещаешь? — Кафар сейчас не мог бы выговорить ни слова — чувствовал, что стоит ему только открыть рот, и он разрыдается. — Так и знай: я прокляну молоко, которым тебя вскормила, если ты меня не похоронишь рядом с ним!

«Да она же и правда готовится к смерти, — пронзило вдруг его, — уже умирает!.. И как спокойно... Умирает и радуется. Тому, что соединится наконец с отцом. Ведь она и вправду любила его больше всех на свете. Еще сильнее, чем нас, своих детей...»

На мгновение глаза старой Гюльсафы загорелись прежним, живым блеском. Протянув свою иссохшую, почти детскую руку, она погладила Кафара по голове.

— Ну, иди, сынок, готовься, а то потом растеряешься. И прямо сейчас пошли кого-нибудь дать телеграмму братьям и сестрам. Всем родственникам сообщи, знакомым — пусть приезжают, пусть ты не будешь один... Ну, ну, не бойся, время у нас еще есть... думаю, до темноты ничего не произойдет. А на закате я уйду к твоему отцу... Сам откроешь сундук, там много денег — я все эти годы пенсию за него откладывала. Могилу выроете только на эти деньги, других никаких не надо! И молле заплатишь, и тем, кто меня обмывать будет. А остальное истратишь на поминальный обед. Да, ты помнишь плешивого Мамеда, ну, того... родственника твоего отца?..

— Помню, конечно, — Губы у Кафара пересохли от волнения.

— Имей в виду — у него пять наших баранов. Дай ему бог жизни, сколько уж лет держит их. Давали ему в стадо одного, а теперь их уже пять... Ты ему скажи, чтобы продал этих баранов — тебе ведь понадобятся деньги на стройку, верно? Когда похороните меня, когда все разъедутся — собери своих братьев, посидите, посоветуйтесь, пусть они тебе помогут, чем смогут. Скажи, такова была моя воля... Я же не ребенок, знаю, как тяжело строить дом. Одному тебе не справиться... Договорились, сердце мое?

— Договорились, мама. — Кафар ответил ей машинально, как во сне; ему казалось, что все это невзаправду, все это только снится и сейчас он очнется, а всего этого ужаса уже не будет...

— ...Да, вот еще что забыла... Меня тоже обмоете вот здесь, под этим черным инжиром. — Глаза матери вдруг заблестели ярче. Больше всего на свете хотел бы сейчас Кафар, чтобы они такими же яркими и остались, но он чувствовал, что уже никто, ни один человек на свете не в силах сделать этого. Никогда еще в жизни не ощущал он себя таким бессильным... — Тогда вы были маленькие, не давали мне даже толком поговорить с отцом... Пойду теперь, наговорюсь с ним за все эти годы... Да, вот еще что: ни родственникам, ни знакомым — я ничего не должна. У меня — да, одалживали. И яйца, и хлеб, и деньги... Но я все эти долги прощаю... Ну иди, готовься. И не вздумай ставить поминальные палатки, не нужно ничего этого! Да и жарко, кто в такую жару будет в палатке сидеть! К тому же и дождя не будет, можешь об этом не волноваться, все это время сушь будет стоять. Вели достать хоть один самовар из тех, что стоят в чайхане. Риса у нас маловато — вели риса купить. Плов делать не обязательно, можно обойтись и без него, так даже лучше — где ты найдешь столько масла... А вот бозартму[8] подай обязательно — купишь бычка... Ну, а уж если не найдешь — вели тогда зарезать наших баранов, которые у Мамеда...

Гюльсафа посмотрела прощальным взглядом на черный инжир, на трещину в стене их дома, на место, где будет забор, на сваленные там камни, и сказала:

— Да будет мама твоей жертвой, дай я тебя поцелую... Ну, смотри, веди себя, как подобает мужчине, при людях не плачь. О чем ты горюешь, сынок! Слава богу, сыновья мои женаты, дочери замужем... Внуков целая армия. Я всем довольна, что отпустил мне господь. Очень довольна. Ну же, улыбнись. Улыбнись, улыбнись! Если не улыбнешься — немедленно отправлюсь к твоему отцу, ну! Вот так...

Мать и сын обнялись, но тут же Гюльсафа сама отстранилась от него.

— А теперь, позволь, я пойду, полежу немного. Устала я что-то. Вели позвать бабушку Эсмер, мне надо кое-что сказать ей. — Она медленно, тяжелым шагом ушла в дом, а он кликнул Бахадура, и тот поскакал за соседкой, бабушкой Эсмер.

Кафар ходил от дерева к дереву, не зная, за что взяться, что ему вообще теперь делать — что, в самом деле, что ли, готовиться к похоронам?! Ну и как он, интересно, сообщит родственникам: идите помогите мне приготовить поминальный обед, поскольку моя мать скоро должна умереть? Чушь какая-то... А телеграмму — какую телеграмму он пошлет



братьям, сестрам?

Кафар взялся было опять за лопату, но дело у него совсем не шло, и он пошел к дому, узнать у старой Эсмер, как там дела, что она по всему этому поводу думает.

И тут где-то в доме послышался голос старой соседки, а потом появилась в дверях и она сама.

— Скончалась, — горько сказала Эсмер, — отдала богу душу...

Отстранив соседку, он вбежал в дом. Мама лежала в постели спокойная, даже улыбающаяся чему-то. Нет, никак нельзя было поверить в то, что она умерла...

— Мама, мама! — осторожно потряс он ее за плечо. Но руки матери бессильно упали с груди. — Но почему? Почему ты это сделала, мама?! Ты же обещала, что с тобой ничего не случится, пока не кончится день, пока не стемнеет! Почему же ты поторопилась, мама? В чем наша вина, почему ты не дала детям собраться около тебя?!

— Просто не хотела пугать тебя, родной, вот потому и обманула, что умрет на закате. Она тебя так ждала, Кафар. — Старая Эсмер подошла неслышно и стала рядом с ним. — Ведь время ее давным-давно уже пришло, только вот тебя все не было, и она не могла себе позволить умереть... Она так и говорила: «Не могу умереть, не увидев Кафара». — Кафар всхлипнул. — Плачь, родной мой, плачь. От всего сердца плачь, досыта. Для материнской души нет молитвы дороже, чем слезы ее детей. Лучше сейчас облегчи свое сердце, а на людях будь сдержанным... — и старая Эсмер деликатно прикрыла за собой дверь.

Обняв мать, Кафар зарыдал в голос...

Когда минуло семь дней, Кафар, с утра, собрал под черным инжиром братьев. Позвал он сюда и сестер с их сыновьями, не запретил присутствовать любопытствующим невесткам. Те только все дивились между собой, что нет на поминках его собственной жены и его сына. Кафар Догадывался об этих пересудах, догадывался он также и о том, что они потому ни о чем его и не спрашивают, что не хотят ненароком обидеть. Сами видят, что и без того он мучается...

Специально для припоздавших немного невесток Кафар повторил то, что сказал чуть раньше:

— Так вот, еще раз... С этого дня нет в доме нашей мамы. А потому честь его с этого дня должны хранить мы с вами.

Он обвел взглядом родственников. Все, даже малые дети, сидели в торжественном безмолвии. Кафар протянул руку в сторону трещины в задней стене дома.

— Все вы видели уже и видите эту знаменитую трещину. Всю жизнь мама мечтала только об одном: построить здесь, на месте старого, новый двухэтажный дом.

Тут все-таки не выдержала, вставила свое слово младшая невестка:

— Вы думаете, легко сейчас построить дом? Это же мука, самая настоящая мука... Стройматериалы стали такие дорогие... неимоверно дорогие...

Все вздохнули. Одна из сестер всхлипнула, но потом быстро подавила слезы, сидела, стараясь не смотреть на него. Братья опустили головы. Эту тяжелую тишину опять нарушил Кафар:

— Я согласен, дом построить будет нелегко. Но мы не можем его не построить. Не можем! Я

для того и собрал вас здесь, чтобы передать вам мамино завещание. Она хотела, чтобы мы сделали все возможное и невозможное, а дом построили. В ее память. Она велела нам оказать друг другу любую посильную помощь... Но что же делать, если уже сейчас понятно, что ни один из вас не сможет ни заниматься этим, ни помогать другим... Ладно, я сам буду строить дом, один. Когда? Как? Пока не знаю. Но построю, и если понадобится — буду строить его хоть до конца жизни!..

— Легко говорить, — услышал он шепот жены старшего брата. — Интересно, сколько же денег удалось собрать на поминках?

— Спасибо людям, они нам очень помогли, — глядя на нее, ответил Кафар. — Не знаю, сколько было собрано, знаю, что сейчас осталось тысяча сто пятьдесят рублей. Но ведь это деньги не на дом — на них мы должны поставить на маминой могиле памятник... — Он снова обвел взглядом братьев и сестер. Все сидели потупившись, боясь даже взглянуть друг на друга. Чтобы избавить их от мук совести, Кафар легко сказал, улыбаясь: — Ну да ничего, построю! Не забывайте, что я ведь и сам строитель — могу каменщиком, могу штукатуром, даже плотничать могу немного. А потом здесь, в селе, еще один каменщик есть, мой друг детства. Я с ним уже договорился: сначала я им помогу бесплатно, а потом они мне... Так что не расстраивайтесь! Когда дом будет готов — можете каждое лето приезжать ко мне в гости, каждому оставляю его долю фруктов. Так что знайте: с этого времени я живу здесь...

Братья и сестры немного оживились, но все же смотрели на него с недоверием. Кафар снова легко улыбнулся:

— Да-да, что тут такого! Теперь я буду жить здесь.

И только тут все действительно почувствовали какое-то облегчение. А младшая сестра со словами: «Да буду я твоей жертвой, брат, да будет душа моя твоей жертвой!» — даже бросилась ему на шею и заплакала. Но когда Кафар утер ей слезы, сестра быстро успокоилась...

Кафар встал, и тут же все начали расходиться — о чем еще говорить?.. А через час уехал младший брат со своими. «У нас ведь ребенок болен, — сказала невестка, — я его бросила на мамино попечение. Так беспокоюсь, так беспокоюсь...» И раньше всех в машину забрался Бахадур, забыл даже попрощаться с дядей...

Потом засобирались сестры, жившие в соседних деревнях. «Сколько дней уже дома не были, — приговаривали они, — дом-то ведь без присмотра остался, Кафар...»

Под вечер уехали поездом средний брат и старшая сестра. Сестра — в Сумгаит, а брат — в свой Гобустан...

«Ну, вот и все, — подумал он, — нет больше мамы...» Вернули соседям посуду, которую брали на поминки, разобрали поставленную на всякий случай палатку — чернела теперь лишь продырявленная земля в тех местах, где были колышки...

Не сняли пока только ни одной стосвечевой лампы — так до сих пор и горели. Кто-то хотел вывернуть, но Кафар не дал. «Пусть горят, — сказал он, — пока не пройдет сорок дней со дня маминой смерти...»

Теперь, когда разъехались братья и сестры, Кафар еще острее чувствовал ее отсутствие; двор казался таким запущенным, словно здесь никогда и не жили люди, а его, Кафара, занесло сюда неведомо откуда по какой-то странной случайности... Он бесцельно входил в дом, снова выходил, кружил по двору, шел к воротам, но, не находя и там противоядия душевной смуте, снова возвращался в дом...

Из глубины сада слышна была собачья возня, лай, рычание. Вчера собакам бросили требуху зарезанных к поминкам животных, видно, не все сожрали, осталось и на сегодня — вот и не могут поделить между собой поживу. «Надо бы завести хорошего пса, — подумал он, — тогда и соседских от нашего двора отважу, да и у меня будет помощник... — Эта мысль неожиданно расстроила его. — Значит, отныне помощником мне будет только собака... — Правда, он тут же постарался отогнать эту мысль: — Да ну, зачем ты так... Будут каждое лето съезжаться сюда братья, сестры, племянники. Может, и мои ребята тоже приедут — уж Махмуд-то выберется обязательно, он ведь любит меня. А то и Чимназ нагрянет. Махмуда вообще можно попробовать уговорить перебраться сюда на работу...»

Он зачем-то опять вошел в дом, и снова, не вынеся его пустоты, безлюдия, вышел во двор. Постоял у ворот. Фундамент забора так и остался брошенным. «Надо бы поторопиться, — подумал он. — Надо хотя бы фундамент до начала дождей закончить... Фундамент ладно, это я сделаю... но как все же в одиночку построить дом? — Он достал из кармана оставшиеся деньги, пересчитал — шестьдесят семь рублей. Деньги, собранные на поминках, он своими считать не мог. — Ну ладно, даже с ними — все вместе составляет тысячу двести семнадцать рублей. Что я могу сделать на эти деньги? Что?»

У него еще со студенческих времен была привычка рассовывать по три, по пять рублей в задний карман брюк или в нагрудный карман пиджака и забывать об этих «зачачках». И когда потом он находил вдруг эти деньги — он всегда радовался находке, потому что не было еще случая, чтобы она была не ко времени... Для очистки совести он и сейчас проверил карманы. И вдруг, сунув пальцы в нагрудный карман, почувствовал, как что-то шуршит там. Он вытащил бумажки — это были те самые два лотерейных билета...

Он так им обрадовался, словно нашел целую пачку денег. И тут же, не раздумывая, собрался в районный центр. Ехал и молил: «Господи, ну сделай так, чтобы я выиграл приличную сумму. Ведь вот, написано же здесь, что можно выиграть пять тысяч рублей... Если бы я выиграл эти пять тысяч... А если повезет — можно выиграть и машину... Не все же другим счастье, я тоже могу выиграть... Возьму деньгами. Или, еще лучше, продам билет. Если он машину выиграл — он стоит ого-го сколько! Мало ли таких, у которых денег невпроворот, а не знают, что с ними делать — только что стены ими не обклеивают, а тратить боятся: деньги-то ворованные. Да эти за такой лотерейный билет сколько угодно выложат... Нет, это все-таки алчность... Не дай бог, милиция еще узнает... Нет, нет, не надо мне нечестных денег, хватит и того, что выпадет по лотерее. Если пять тысяч — уже хорошо, смог бы половину дома поднять... А там устроился бы на работу, начал зарплату получать... Мне бы только нижний этаж поднять, накрыть крышей — и можно жить спокойно. Спешить ведь некуда, лет за пять все и закончу... Господи, сделай так, чтобы я пять тысяч выиграл...»

Он давно уже доехал до райцентра, давно уже дошел до городской сберегательной кассы, но все оттягивал момент, когда надо будет войти туда, проверить лотерейные билеты. Он доходил до дверей и думал в нервном ознобе: «Эх, пустое это все... разве мне когда-нибудь везло? Сколько уж лет, а выигрывал всего три раза, да и то по рублю... Или на этот раз мне должно повезти? Может, я уже выиграл, только еще не знаю об этом... Собственно, почему бы мне и не выиграть? А что, если на этот раз даже рубля не выпадет?..»

Он так и не смог заставить себя войти в сберегательную кассу — не хотелось расставаться с надеждой. «Ничего, завтра утром проверю... Да, да, лучше завтра, тем более, что сегодня понедельник, тяжелый день, несчастливый. Завтра зайду — все равно надо будет приехать за покупками».

И когда он уговорил себя, на душе сразу стало легче. Спешить ему теперь было некуда, и он решил, что не будет ждать автобуса, а пройдетя пешочком по дороге, по которой не ходил чуть ли не с самого детства. Здесь и было-то всего километра три.

«Нет, ты только посмотри, — то и дело говорил он себе, — как тут все переменялось!» Жизнь здесь кипела — больше стало домов, и строились люди вдоль дороги как-то теснее — ни клочка земли не гуляло вхолостую. И сами дома, и дворы, все теперь было богаче, аккуратнее. И что ни двор, то либо цветы, либо овощи. Многие уже убирали эту зелень, росшую во дворах, укладывали в машины. «На продажу, — подумал он. — Надо же, и район наш тоже теперь превратился в Баку, на всем люди зарабатывают. Раньше такого не было... Хотя я, конечно, посажу у себя и зелень, и цветы... Нет, не для продажи — для себя... Ну, если только цветы... Их можно посадить побольше и продавать прямо у калитки, чтобы не возить никуда. Но все это потом, сейчас бы выиграть немного денег, поднять нижний этаж...»

По дороге ему встретился газетный киоск, и он обрадовался, вспомнив, как давно не держал в руках газеты. Купил целую пачку, но на ходу, естественно, читать их не стал, поберег до дома...

Но не проверил он свои билеты и во вторник. Во-первых, пришлось с самого утра опять заниматься забором, а во-вторых, произошло нечто такое, что заставило его — в который уже раз — не на шутку задуматься над тем, правильно ли он живет... Вчера, вернувшись домой, он первым делом взялся за газеты и обмер, сразу же наткнувшись на портрет своего друга Фараджа Мурадова в черной траурной рамке. Тут же был и некролог. Он долго смотрел на веселое, живое лицо друга, но странное дело — не печаль чувствовал он в этот момент, а какое-то... облегчение. Ему даже показалось на миг, что и Фарадж, тот, что на портрете, тоже почувствовал это, сказал обиженно: «Так ты что, радуешься, что ли, моей смерти?» Кафар надолго задумался. Нет, конечно, это было не так... Незаметно для себя он начал разговаривать с Фараджем вслух. «Нет, брат, я вовсе не радуюсь твоей смерти... Точнее сказать, я не радуюсь смерти Фараджа — моего друга. Того Фараджа, которого я знал как очень принципиального человека, того Фараджа, который руководствовался в своей жизни высокими, настоящими идеалами. Но был и Фарадж, которого я узнал потом... Тот, кто мог ради собственной славы, собственного покоя разрешить сдачу недостроенного дома, кто жил, обманывая самого себя... После смерти того, второго Фараджа, для меня снова воскрес Фарадж первый, друг моей юности... Хочешь обижайся, хочешь — не обижайся, но именно поэтому я и почувствовал облегчение в первый момент... Он, этот второй Фарадж, он, брат, убил в моем сердце первого, и это все время причиняло мне мучения... И вот теперь ты для меня снова прежний Фарадж, и навсегда останешься в моей памяти большим человеком, не боявшимся схваток с теми, что душили молодое, честное, здоровое. Тем Фараджем, который мог прийти в снежную ночь на могилу матери...»

Сейчас, расчищая траншею, он снова и снова вспоминал свой последний визит к другу, и воспоминания эти так выводили его из себя, что он от злости выбрасывал землю чуть ли не на середину дороги.

— Здравствуй, Кафар! — услышал он вдруг и, подняв голову, увидел Гаджи-муаллима, своего школьного учителя, ставшего теперь заведующим районным отделом народного образования. Он вышел только что из остановившегося неподалеку «уазика». Вытерев правую руку об рубаху, Кафар поздоровался.

— Здравствуйте, Гаджи-муаллим. — И, радуясь, что больная нога слушается его все лучше и лучше, одним рывком выбрался из канавы.

— Ну, как твои дела? Ты уж меня прости, пожалуйста, что не был на похоронах... В Сочи отдыхал, в санатории, вчера вечером только приехал. Приехал, а мне тут же и доложили, что бабушка Гюльсафа... Если б ты знал, как я расстроился... Прими мои соболезнования, дорогой... Но что же делать — смерти ведь никто еще не избегал...

— Да, это так, — вздохнул Кафар. — Горько, Гаджи-муаллим... Да еще и другое мучает: так ведь я и не сумел воздать маме за все ее страдания, за все то, что она перенесла...

— Ну-ну, не убивайся, это тоже ведь не от тебя зависело... Что, забор решил поставить?

— Мама хотела перед смертью... Старый-то у нас совсем развалился.

— Ну что ж, молодец. Я слышал, ты и новый дом строить собираешься?

— Собираюсь, не знаю еще, что из этой затеи выйдет.

— Выйдет, выйдет, дорогой. Стоящее дело затеваешь... Ну, как у тебя дела в Баку? Защитился?

— Н-нет.

— Нет? Это жаль, жаль. А почему?

— А! Так все двумя словами не расскажешь... Жизнь... А потом надо было столько порогов обивать, что меня это в конце концов измотало. Так измотало, что на все плюнул.

— Совсем?

— Совсем.

— А писать-то хоть начал?

— Можно сказать, была уже почти готова...

— Да что ты! — Гаджи-муаллим оглянулся на свою машину; шофер, включивший радио на полную мощность, искал передачу поинтереснее и, конечно же, не мог слышать их, но Гаджи-муаллим все-таки понизил голос. — Эх, мне бы твои знания, твою диссертацию... Уж я бы... Чертова работа! Сам знаешь — времени ни на что не остается. Сражаешься целыми днями, то с детьми, то с учителями — особенно с молодыми... Не то что читать, газеты просмотреть — и то некогда. Да еще смену присылают по распределению... Ни в одно село, а особенно если дальше, не загонишь. Все меня рвут на части: либо ты его в родное село направляй, либо в райцентр... Их, конечно, тоже трудно в чем-нибудь обвинять — ну в самом-то деле, как он будет в селе жить: дома своего нет, продуктов купить негде... Ох, до чего все надоело! Клянусь богом, сил моих больше нет... Вот если б мне эту твою научную работу...

— Да что бы вы с ней сделали-то, Гаджи-муаллим? — удивился Кафар.

— Что сделал бы? Ну, брат, уж я бы нашел ей применение! Да я тут же защитился бы, вот бы что я сделал!

— Ну, допустим... А дальше-то что? Ведь насколько я понимаю, кандидатская степень на вашу зарплату никак не повлияет...

— А кто тебе сказал, что я остался бы здесь, если бы кандидатом стал. Зачем? Я бы поехал в Кировабад. Мне уже один очень влиятельный, очень уважаемый человек пообещал, что если я стану кандидатом — он устроит меня для начала в институт — рядовым преподавателем. А потом, говорит, сделаю заведующим кафедрой или даже деканом, а то и проректором... Господи, да с каким удовольствием избавился бы я от всего этого хозяйства, от этой грызни за уроки, за процент успеваемости! Одни только сезонные работы какой крови стоят — ведь каждый год учеников в колхозы посылаем. И попробуй не выполни разнарядку... — Он опять посмотрел в сторону машины. Шофер упивался каким-то эстрадным концертом и даже не смотрел в их сторону. — Клянусь богом, Кафар, если б нашелся человек, который написал бы за меня хоть половину диссертации — клянусь честью, ничего бы ради него не пожалел!

Кафар, до которого дошел наконец смысл этого разговора, смотрел на него пораженный. Он чуть было не спросил напрямую: «А сколько бы ты дал, Гад-жи-муаллим? Предположим, я даю тебе свою диссертацию — сколько ты мне за нее отвалишь?»

И сам Гаджи-муаллим, поняв, что, видно, для начала зашел слишком далеко, промямлил:

— Ну... Во всяком случае, если ты бросил работу недописанной — значит, она тебе уже не нужна, верно?.. Вряд ли ты к ней вернешься...

Кафар не ответил ему и, делая вид, что ничего особенного не произошло, сменил тему разговора:

— Гаджи-муаллим, уж вы-то, наверное, знаете, как сейчас в районе с лесом...

— Ох, тяжело, тяжело! Желających строиться с каждым годом все больше, а леса, как ты знаешь из газет, все рedeют...

— Ну, хорошо. Во сколько, по-вашему, могут обойтись всего две комнаты?

— Во сколько? — Гаджи-муаллим надолго задумался, соображая, нет ли тут намекa на цену диссертации, но простодушное лицо Кафара заставило его отмести это подозрение. И он ответил осторожно: — Ну, во-первых, когда я строился сам, стройматериалы дешевле стоили, а во-вторых, часть их досталась мне так... слева... Знаешь, всем ведь что-то нужно... Думаю, тысяч десять тебе надо обязательно. Да, десять тысяч уйдут безусловно. Сейчас что каменщики, что плотники — все дорого берут.

— А если без них?

— Как это — без них? Ты что, привезешь из Баку бесплатных мастеров?

— Да нет, зачем. Все, что надо, я и сам сделаю.

— Да? Ну если так — тогда, конечно, обойдется дешевле. — Чувствовалось, что Гаджи-муаллиму этот поворот разговора нравится все меньше, он сразу заторопился, то и дело поглядывая в сторону машины. — Ну ладно, Кафар, я, пожалуй, поеду, в десять надо быть в райкоме...

Машина Гаджи-муаллима давно уже скрылась из глаз, а Кафар все стоял, опершись на лопату, словно забыв о траншее. «Интересно, — думал он, — а что если и вправду даст он мне за мою диссертацию десять тысяч? Ну, не десять, хоть семь-восемь. Даст? Если у меня будет столько денег — дом я, конечно, построю...»

На какое-то мгновение мысль эта согрела Кафара, но тут же радость его и погасла. Нет, это совершенно невозможно! Ну, продаст он свою недописанную и действительно больше не — нужную ему диссертацию, и что потом? Ведь ему же будет неприятно даже встречаться с Гаджи-муаллимом, да и сам этот двухэтажный дом не принесет никакой радости от одного сознания, что где-то рядом живет такой человек, от сознания, что он торговал собственной душой, мечтами, молодостью... Эту пустоту в сердце не заполнить ничем... Хотя, вообще-то, почему именно он должен терзаться душой? Это пусть Гаджи-муаллим мучается, что за его, Кафара Велизаде, счет стал ученым, а потом заведующим кафедрой, деканом или же проректором... Нет, тут даже и думать не о чем; стесняться все же будет он, Кафар, а Гаджи-муаллим в душе будет потешаться над ним: вот, смотри, как я купил твою голову... А может, все-таки выиграла его лотерейные билеты? Может, выиграла?

Но и в среду не поехал он проверять свои билеты. «Тройка, — подумал он, — Тоже невезучее число, тут уж надо наверняка...»

В четверг, прохаживаясь в нерешительности перед входом в сберегательную кассу, он снова молил неизвестно кого: «Ну сделайте так, чтобы мои лотерейные билеты выиграли деньги или машину... Пусть даже хоть две с половиной тысячи, я согласен... Лишь бы выиграть деньги. Две тысячи пятьсот...»

Наконец он все-таки решился. Сердце готово было выскочить из груди, цифры в таблице выигрышей прыгали перед глазами. Он надел очки — никакого толку. Неужели он перепутал очки, взял какие-то чужие? Нет, это его собственные очки. Он протер их платком, снова надел. Ну, наконец-то... Он пробежал колонки цифр один раз. Еще... Ничего похожего, даже близко, как говорится, не лежало!

Он тупо застыл с таблицей в руке. Одна из девушек за стойкой не выдержала, сердито сказала ему:

— Товарищ, поторопитесь, у нас обед.

Кафар так растерянно посмотрел на нее, что она смутилась.

— Нет, вы, конечно, можете... Мы подождем, просто...

А когда он побрел к выходу, та же девушка опять крикнула ему вслед:

— Товарищ, товарищ! Ну куда же вы таблицу-то понесли?

Кафар удивленно посмотрел на газетный лист, стиснутый в руке, вернулся и отдал его девушке. На улице он разорвал лотерейные билеты пополам, потом еще раз, еще и с сердцем швырнул клочки по ветру... Мутная пелена стояла перед глазами, и хоть светило солнце, все вокруг видел он сквозь какой-то серый, непроглядный туман...

Возвращаясь поздно вечером домой, Гаджи-муаллим увидел Кафара, все еще возившегося со своим забором, и остановился рядом.

— Успехов тебе, Кафар, — заискивающе поприветствовал он.

— Спасибо, — буркнул Кафар.

— Ты не обидишься, если я спрошу тебя об одной вещи...

Кафар почувствовал, как екнуло сердце.

— Пожалуйста, спрашивай, — сказал он, по-прежнему не поднимая головы.

— Ты собираешься дописывать свою диссертацию?

— А чего ее дописывать? Конец у меня в голове...

— Это прекрасно, это прекрасно. Ну, и что ты намерен делать дальше?

— Дальше? Да вот, подарю ее вам, и дело с концом...

— Нет, ты серьезно?

— Серьезно.

— Ай, дорогой, дай я тебя поцелую. Честно говоря, сразу тебе хотел предложить продать ее мне, да вот уж который день все никак не решусь... Ты только не обижайся, дорогой, не думай про меня плохо, но ведь если...

— Да, да! Если она не нужна мне, хотите сказать? Не нужна... Могу подарить ее вам.

Гаджи-муаллим огляделся вокруг, но никого, кроме игравших вдалеке детишек, не было видно на улице.

— Ты не думай, я перед тобой в долгу не останусь. Дам столько, сколько скажешь, честное слово! Чего-чего, а в деньгах у меня, слава богу, недостатка нет. — Он криво усмехнулся. — Да... Твой Гаджи-муаллим — это уже не тот Гаджи-муаллим, что прежде... Ну ладно, это все лирика... Так, может, занесешь, посмотрим?

— А чего заносить... Вон она, смотрите хоть сейчас...

— Где? Куда смотреть? — А вот сюда...

— Здесь, в... канаве?

— Даже не в канаве, а под ней.

— Ты... ты что — шутишь? Или, может, решил поиздеваться надо мной?

— Да ну... зачем мне это. Совершенно серьезно гворю. Уложил диссертацию в фундамент и забетонировал.

Гаджи-муаллим долго смотрел на него, и недоверие в его глазах мало-помалу сменялось то ли жалостью, то ли презрением.

— Но почему? Почему ты сделал эту глупость? Зачем хоронить?!

— Зачем хороню?... Не хороню, прячу до лучших времен... Если сейчас никому моя наука оказалась не нужна — то, может, в будущем..

— Станет нужна?

Гаджи-муаллим снова пристально посмотрел на Кафара, и тот опять не понял, что в его глазах: ирония или жалость? Похоже, Гаджи-муаллим все-таки жалел его...

...И когда в ту же ночь Кафар, готовый задушить Гаджи-муаллима, бросился на него, удержали его все те же боль и сожаление в глазах бывшего учителя... А еще остановил Кафара странный свет, озаривший мамино лицо.

Кафар ужинал в маленькой полутемной кухоньке во дворе — приготовил себе глазунью из двух яиц. С трудом, безо всякого аппетита проглотив половину, он вышел, чтобы бросить остатки собакам, и обомлел: в этот самый момент «Беларусь» вонзала свой клыкастый ковш прямо в основание его будущего забора. Гаджи-муаллим стоял неподалеку и сосредоточенно наблюдал за происходящим. Не веря глазам, Кафар, как был со сковородкой в руке, подошел поближе, но когда ковш «Беларуси» поднялся вверх с куском бетона, вырванным из фундамента, он не выдержал. «Что вы делаете! Вы что, с ума посходили?!» — закричал он не столько парню, сидящему в кабине «Беларуси», сколько Гаджи-муаллиму. Он бросился, готовый от ярости огреть Гаджи-муаллима сковородкой, но Гаджи-муаллим посмотрел на него очень спокойным, полным боли взглядом, и вот тут-то Кафар почувствовал в этом взгляде не уверенную насмешку, не злобу, а жалость. И, отшвырнув сковородку в сторону, Кафар снова спросил его: «Зачем же ты это делаешь-то, Гаджи-муаллим?» И Гаджи-муаллим произнес в ответ всего три слова: «Мне твоя мама разрешила». «Кто-о?» — переспросил Кафар, не в силах скрыть своего удивления. Гаджи-муаллим кивнул куда-то в сторону: «Вон, посмотри-ка налево!» И Кафар, посмотрев в ту сторону, увидел мать. И тут же ему показалось странным, как это он до сих пор не заметил ее светлого, почти пылающего лица. Хоть было уже темно, хоть не было на небе ни луны, ни даже малой звездочки, лицо матери



было непостижимо светлым, сияющим. Кафар жалобно взглянул на нее, и, поняв значение этого взгляда, мама ободряюще улыбнулась ему: «Да войдет твое горе мне в сердце, сынок! Разве Гаджи-муаллим делает что-нибудь плохое? Ведь если бы он захотел, то вполне мог бы купить себе ученую степень. А он, видишь, настолько добр, что готов даже твою недоученность взять, да благословит его бог, да приведет он его к успеху во всех делах. Подумай сам: ведь если бы он не согласился купить твою недоученность, от которой тебе самому никакого прока, ты не смог бы построить наш дом, да войдет твое горе мне в сердце...»

Но когда сам Гаджи-муаллим сказал, что делает все это лишь по доброте, лишь во имя их старого соседства, Кафар снова не выдержал: «Ты лжешь, лжешь!» — закричал он что есть силы.

Может, на этот раз Кафар и ударил бы Гаджи-муаллима, да что там ударил — задушил бы его, швырнул в ров, в ковш «Беларуси».. Но мама снова улыбнулась и сказала: «Он не лжет, сынок, да войдет твое горе мне в сердце. Гаджи-муаллим очень добрый человек и прекрасный сосед. Не было еще случая, чтобы он не протянул любому руку помощи... Ведь он же понимает, что с шестьюдесятью семью рублями дома не построишь!..»

А ковш «Беларуси» тем временем выворотил еще один кусок бетона, и из-под него разлетелись по траншее листки бумаги. Гаджи-муаллим бросился подбирать эти листки, торопясь, чтобы парень за рулем «Беларуси» ничего не понял.

«Будьте вы все прокляты!» — закричал Кафар и бросился прочь, но, не пробежав и пяти-шести шагов, споткнулся обо что-то, упал и тут же почувствовал во рту солоноватый вкус крови — кажется, выбил себе зубы...

...Проснувшись, он первым делом сообразил, что зубы у него и впрямь ноют, как от удара. Со страхом поднес он руку ко рту, с опаской посмотрел на ладонь, на пальцы. Нет, крови на них видно не было. Кафар почувствовал, что лежит весь в поту. И хотя в комнате и без того было прохладно, он все же распахнул окно. Легкий ветерок быстро осушил пот, но тут Кафара начал бить озноб.

Дрожа, он стоял у окна. На дворе была темень — и в самом деле не видно было на небе ни луны, ни единой звездочки, и в этой кромешной темноте он снова увидел мать, ее непостижимо светлое лицо. И вернувшись в свой давешний сон, Кафар спросил себя, что же это за свет, которым так ярко светилось, почти пылало материнское лицо? Только теперь он понял, что свет этот, падавший на ее лицо, струился откуда-то с неба, словно мама стояла сейчас выше солнца... И наконец сообразил: свет тот шел из маминых рук. Из рук?! Но как же так? Погоди, погоди, кажется, она держит что-то... Так и есть, в маминых ладонях целая кипа денег... Скорее всего деньги эти дал ей Гаджи-муаллим. Так вот, значит, что это за яркое, непостижимо яркое сияние! Это всего лишь отсвет несправедливых денег!..

...Не в силах оторваться от этого сияния, он понял вдруг, что тихо и жалобно плачет. И чем горше он плакал, тем сильнее ощущал в сердце своем, в сознании какую-то ужасающую, безнадежную пустоту.

Вдруг показался в дальнем конце сада на своем золотистом коне отец. Широко раскрыв глаза, утирая с них едкие слезы, Кафар смотрел, как мелькает между старых деревьев всадник. Отец неспешно ехал через сад — видно, мамины мысли передались и ему, раз он появился, видно, тоже думает, что Кафар сам никогда не сможет построить новый дом...

Он еще раз промокнул глаза и, вздохнув, плотно укутался в одеяло. Он согрелся, руки и лицо его теперь пылали, понемногу снова начал выступать на теле пот, но холод и озноб в душе никак не хотели проходить...

## Об авторе

Сабир Али оглы Азери родился в 1938 году в селе Дагкесаман Казахского района Азербайджанской ССР.

В 1961 году окончил отделение журналистики филологического факультета Азербайджанского государственного университета. После завершения учебы работал в республиканской молодежной газете, на Гостелерадио, в журнале «Улдуз».

Печатается с 1959 года.

Автор более двух десятков сборников повестей и рассказов, в том числе трилогии — цикла повестей «Глухая скала», «Свадьба в пути» и «Желтый конь» (1972), удостоенных премии «Золотой серп», сборника «Глухая скала» (1973), повести «Первый толчок» (1982), а также киносценария («Старый причал») по мотивам своей повести «Сказка серой горы» и пьесы «Туман рассеивается», поставленной в одном из театров республики.

Произведения С. Азери переведены на английский, немецкий, турецкий, испанский, польский, хинди, финский языки.

## Примечания

1

Ичери шехер — досл. «внутренний город», старая часть Баку.

2

Баджи — сестра, уважительное обращение к женщине.

3

Чемберекснда — старый район Баку.

4

Хызыр — бог ветров.

5

Кубинка — толкучка в Баку.

6

Кестебек — здесь: «бочонок», низенький, толстый человек.

7

Пир — место религиозного поклонения.

8

Бозартма — мясное рагу.